НЁМАН

3/2018
МАРТ

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Издается с 1945 года
Минск

СОДЕРЖАНИЕ

Учредители: Министерство информации Республики Беларусь;
общественное объединение «Союз писателей Беларуси»;
редакционно-издательское учреждение «Издательский дом «Звязда»

Адрес редакции

Юридический адрес: 220013, Минск, ул. Б. Хмельницкого, 10а.
e-mail: info@zvyazda.minsk.by

Почтовый адрес: 220034, Минск, ул. Захарова, 19.
Тел.: главного редактора — 325-85-25, заместителя главного редактора — 319-79-85;
отделов прозы, поэзии, публицистики, критики, зарубежной литературы — 304-80-91.
e-mail: neman-lim@mail.ru

Подписные индексы:

*74968 — индивидуальный; 00235 — индивидуальный льготный для учителей;
749682 — ведомственный; 00728 — ведомственный льготный.*

Свидетельство о государственной регистрации средства массовой информации
№ 11 от 10.12.2012, выданное Министерством информации Республики Беларусь

Издатель
Редакционно-издательское учреждение «Издательский дом «Звязда»

Директор – главный редактор
Павел Яковлевич СУХОРУКОВ

Технический редактор, компьютерная верстка: *С. И. Староверова*
Компьютерный набор: *Е. Г. Кахновская*
Стильредактор: *Н. А. Пархимович*

Подписано в печать 15.03.2018. Формат 70 ×108 1/16. Бумага газетная.
Печать офсетная. Усл. печ. л. 16,80. Уч.-изд. л. 16,95. Тираж 1416. Заказ

Республиканское унитарное предприятие «СтройМедиаПроект». ЛП 02330/71 от 23.01.2014,
ул. В. Хоружей, 13/61, 220123, Минск.

Юрий КОЗЛОВ



Белая буква

Повесть

1

О литературном русском языке размышлял, сидя поздним вечером в кафе на двадцатом этаже гостиницы «Лида», приехавший в Беларусь на международную научно-практическую конференцию писатель Василий Объемов. Современному состоянию русского литературного языка, еще недавно подобно парниковой пленке покрывавшему необозримые просторы СССР, была посвящена международная конференция. После ликвидации парника пленка расползлась по разделенному пространству лохмотьями. Из-под них воинственно вылезали острия, лезвия и пики других языков. Уже клубился над некогда ответственно сберегаемой *общей речевой почвой* отвратительный туман *разно-*, а в конечном итоге *безъязычия*, прорывались сквозь мутные клочья три отчетливых звука: грозное рычание, тупое мычание и трусливое блеянье. То были три источника, три составные части *доречевого* и — получалось — *постречевого* самовыражения человеческих особей.

Объемова удручало то, что «великий и могучий» ветшал и грязнился, как истоптанный коврик, даже там, где у него, казалось, не было для этого причин, а именно в самой России, пока еще не отказавшейся от родного языка. И здесь его, как кроткую домохозяйку в темном подъезде, настигали языки-мигранты. Хищный гортанный клекот летел из дворов, со строек, из супермаркетов, поликлиник, общественного транспорта, не говоря об автосалонах, банках, кофе-хаусах и судебных присутствиях. Русский язык стелился под ним, как заяц под крестовой орлиной тенью, не обогащался тюркско-кавказско-таджикскими заимствованиями, а напротив, обдирался как липка, как тот самый заяц, когда беркут вонзает в него кривые желтые когти.

Но не только мигранты, гастарбайтеры и трусливые природные носители уродовали великий и могучий. Его накрывала, душила, держала за жабры, если уподобить язык сказочной золотой рыбке, презревшая орфографию и грамматику Сеть. Косяки пользователей плотно застревали в виртуальных ячеях уже цифровой разновидности *безъ-*, точнее, извращенно *-язычия.* Там тоже рычали тролли, мычали, тупо разглядывая бесконечные водопады фотографий, *фейсбучные стада,* испуганно *блеял,* чуя надвигающуюся беду, *офисный планктон.*

Компьютерная цифра черной змеей жалила белую лебедь книжной буквы. Лебедь-буква рвалась в синее пушкинское небо, но не было неба в Сети, потому что Сеть сама определила себя небом. Даже в терминологии — «облака тегов», «облачный сервис», «облачный хостинг» — Сеть вызывающе и нагло копировала небо, совсем как (если верить священным книгам) грядущий Антихрист Спасителя.

Языки как люди, задумчиво смотрел в темное осеннее, напоминающее экран выключенного компьютера, окно писатель Василий Объемов. Когда человек (народ) полон сил и надежд, его речь расцветает, как весенний луг. На этот луг приходят священные коровы смыслов. Вот только где, мысль, как дурной солдатик на плацу, вдруг сбилась с ноги, скрываются эти самые смыслы, неужели… в вымени? Когда человек (народ) устает, изнашивается, вернул мысль в строй Объемов, язык сохнет и колется, как сорняк. Священные коровы уходят с такого луга, брезгливо поджав вымя, пометив его навозными лепешками.

С этого, решил он, и начну свое выступление. Кажется, Горький, посмотрел в темное окно писатель Василий Объемов, полагал мерилом цивилизации отношение к женщине. А вот мерилом адекватности государства, мысленно он уже стоял на трибуне, строго и в то же время доброжелательно (Объемов был опытным лектором) вглядываясь в лица слушателей, следует считать отношение власти к народу и языку.

Перед Объемовым привычно обозначился неуничтожимый (и *неупиваемый,* если вспомнить дружеские посиделки после «круглых столов», заседаний и обсуждений, посвященных судьбе России) дискуссионный круг. С середины восьмидесятых, то есть уже большую часть жизни, он бегал по нему, как цирковая лошадь. Когда-то — задорно вскидывая гривастую в султанах голову, сейчас — еле таская сбитые копыта.

Нечто тревожно-мистическое наличествовало в четвертьвековом (с момента распада СССР) дискурсе о судьбе России. За столько-то лет можно было бы прийти к чему-то конкретному. Своей (в смысле определения приемлемого сценария) обреченностью он напоминал дискурс о неотвратимости конца света.

Как будто некие просветленные, но грустные исследователи наблюдали за развитием диковинного мутанта. В силу своего очевидного атавистического вырождения (а как еще называть первоначальный, беспощадный к «малым сим», то есть к народу, капитализм?) и дьявольского уродства мутант, казалось, не имел шансов выжить. Но злобная тварь не просто выжила, а сама стала жизнью, присосалась к *природным и трудовым* (определение другого писателя — Глеба Успенского) богатствам тысячелетней России, выплюнув, как обглоданную кость, народ на голый берег. Более того, казалось, что тварь остановила само время, превратила его в клейкий — из костей народа — студень, слегка присыпанный кристаллами образованного сословия — солью земли русской. И жрала, жрала этот студень, не ведая насыщения, стыда и страха.

«Бытие определяет сознание, а деньги определяют бытие», — по такой формуле существовала страна. Но беда была в том, что у лишенного природных и трудовых богатств народа отсутствовали деньги, а потому не они, а ненависть к тем, кто их у него отнял, определяла бытие народа. Встречную ненависть мошенника к лоху, который почему-то не уходит, а топчется рядом, смотрит собачьим каким-то, ожидающим чего-то взглядом, испытывали к обобранному народу и новоявленные владельцы богатств. Но если они твердо определяли жизнь как деньги и как могли (в основном уродливо и истерично) наслаждались ею, то народ все еще не был готов окончательно смириться с тем, что его, народа, жизнь — это *безденежное ничто* в мире, где за все надо платить. Бытие, сознание и деньги в России, таким образом, определялись ненавистью. Правда, *народная ненависть* вынужденно охлаждалась, разбавлялась насущной необходимостью выживать, *длить безденежное ничто*. Кажущаяся пассивность, социальная обезволенность народа принималась

властью за *неисчерпаемую покорность*. «Неужели и это стерпишь?» — изумлялась власть, вводя «санитарный» — на пользование унитазом, или «тротуарный» — на износ под ногами пешеходов уличной плитки налог. «Стерплю!» — бодро, как солдат Швейк садисту-врачу на медкомиссии, отвечал народ.

Никто не знал, когда из куколки народного смирения выпростается огненная бабочка революции. Да и выпростается ли? Вдруг куколка невозвратно окаменела? Вдруг уже растворилась в клейком студне?

Марксистская историческая наука основывалась на поступательном в плане общественного и экономического прогресса движении цивилизации — от первобытно-общинного строя к рабовладению, феодализму, капитализму, социализму и, наконец, к коммунизму, как пределу мечтаний человечества. Как должно вести себя общество, двинувшееся в обратном направлении — из социализма в капитализм, марксистская историческая наука не знала. Как раб, вдруг оказавшийся среди неандертальцев в племенной пещере? Или как клерк, узнавший, что отныне он — собственность директора конторы и тот может безнаказанно убить его, допустим, за опоздание на работу?

Какой, к черту, народ, какой литературный язык, расстроился Объемов, зачем я приехал на эту конференцию? Разве только посмотреть по сторонам, узнать, как тут у них — в *предполье* (термин еще одного писателя — создателя теории этногенеза Льва Гумилева) *Европы* — обстоят дела с народом, литературным языком, деньгами и… революцией?

Объемов был единственным посетителем кафе, где ему был заказан устроителями конференции ужин. В данный момент он ожидал, что принесет из неосвещенных кухонных глубин шустрая черноволосая, южнославянского обличья буфетчица. Она успела сообщить Объемову, что на сегодня ему был заказан еще и обед, но он его пропустил, поэтому, если проголодался, ужин может быть *усилен*, она так и сказала: *усилен*. Прислушиваясь к звяканью тарелок и гудению СВЧ-печи — буфетчица почему-то орудовала в кухне, не включая света, — Объемов прикидывал, возможно ли *усилить* ужин (хорошо бы в счет пропущенного обеда) двумя-тремя рюмками водки, а если нет, примет ли буфетчица российские деньги?

Дело в том, что писатель Объемов приехал на конференцию в Лиду своим ходом — на машине из соседней с Беларусью деревни в Псковской области. Там он жил летом в оставшемся от родителей, неровно обложенном белым кирпичом бревенчатом доме. От деревни до границы с Беларусью было двадцать семь километров.

Дом требовал ремонта, но Объемов тянул, не зная, нужен ли ему вообще этот дом — с дощатым, продуваемым ветром сортиром во дворе, маловодным колодцем в крапивных зарослях, полуразвалившейся русской печью, не просыхающим, чавкающим глиной погребом? Каждый раз, вылезая из пасти погреба, Объемов выносил на галошах (только в них или в сапогах можно было там перемещаться) по килограмму, не меньше, рыжей глины на каждой ноге. В эти мгновения ему вспоминались знаменитые слова отказавшегося эмигрировать и вскоре отправленного на гильотину деятеля Великой французской революции Дантона: «Нельзя унести Отечество на подошвах своих сапог!» Можно, мрачно возражал французскому революционеру русский писатель Василий Объемов, еще как можно. И ведь… сколько еще… Отечества останется в погребе. На миллион сапог, не меньше.

На участке помимо дома имелась древняя покосившаяся — издали она напоминала черный параллелограмм — баня под серо-зеленым от нарос-

шего мха и нападавших веток и елочных иголок шифером. Словно в надвинутой на лоб косматой папахе угрюмо высилась она на пригорке. Самое удивительное, что баня до сих пор исправно функционировала, и Объемов иногда парился в ней, предварительно натаскав ведрами в бак над печью дождевой воды.

Другие участники конференции должны были сначала прибыть в Минск, а уже оттуда на автобусе переместиться в Лиду. Объемову показалось как-то не с руки нестись из деревни в Москву, вместе с другими членами российской делегации выдвигаться в Минск, потом снова возвращаться в Москву, а из Москвы — в деревню. Он рассудил, что из деревни проще. Эта простота сказывалась и на внешнем виде Объемова. Он не держал в деревенском доме приличествующей для международной конференции одежды. А потому выглядел сейчас как писатель, не только победительно (или пораженчески, большой разницы тут не было) переживающий нищету, но еще и стилистически застрявший в конце девяностых годов, когда простые граждане России ходили в необъятных, как свалившаяся на них *свобода,* штанах, тусклых футболках и куртках с покатыми плечами. Гадкая и совершенно неуместная надпись *«Sexyboy»* украшала футболку Объемова. Он прикрывал ее полой куртки, как если бы скрывал во внутреннем кармане пистолет. Буфетчицу, впрочем, это мало беспокоило. Должно быть, в гостиничный буфет заглядывали разные посетители.

Объемов не любил суету, полагал естественным состоянием для писателя одиночество. Вынужденные — под чужую дудку — путешествия нарушали гармонию пусть убогого, но привычного и устоявшегося бытия. Добровольные, напротив, скрашивали и разнообразили прижизненное (и, вероятно, пожизненное) ничтожество и одиночество — удел большинства русских писателей в первой половине XXI века. Словно сам Господь Бог переворачивал для успокоившегося в ничтожестве, обретшего в нем самодостаточность путешественника страницы огромной, с картинками, живой книги. Чужая дудка стесняла и раздражала. Своя — божественная? — навевала иллюзию, что мир не так уж и безнадежен, что еще не все потеряно, есть порох в пороховницах и песня до конца не спета. Собственно, это и было истинной и, по мнению великого реформатора Мартина Лютера, *правильной верой* в Бога, потому что больше человеку не во что верить в его стремительно пролетающей жизни.

Объемов с удовольствием и без спешки (потому и не успел на обед, о котором, впрочем, не подозревал) проехал через всю Беларусь, глядя на желтеющие осенние леса, ухоженные городки и поселки, пробивающееся сквозь облака, как сквозь тонкое рваное ватное одеяло, слабеющее солнце.

Он слышал, что у России и Беларуси какое-то союзное государство. Однако могуче оборудованная — в терминалах, развязках, пунктах досмотра и смотровых вышках, не хватало только собак и колючей проволоки, — граница невольно наводила на мысли об *исчисленных сроках* этого государства. Пока что машины свободно сновали в обе стороны, а камуфляжные и фуражечные люди по обе стороны границы занимались какими-то своими делами. Никто не проявил ни малейшего интереса к семилетнему объемовскому «доджукалиберу», не потребовал предъявить паспорт или приобретенную за семьсот пятьдесят рублей в одной из многочисленных приграничных будок автомобильную страховку.

Объемов сверял маршрут с картой, уточнял путь у знающих людей на заправках, думал, как и положено в путешествии, о чем-то не сильно серьезном и необязательном. Даже внезапный вечерний, простучавший по крыше

машины ледяными пальцами град на подъезде к Лиде не смутил Объемова, не «смазал» благостную «карту будня». Он легко отыскал гостиницу — она находилась в центре города на берегу озера напротив тщательно отреставрированной, как будто вчера возведенной краснокирпичной крепости с башнями, поставил машину на платную охраняемую стоянку, отметился на *reception*, отнес сумку с вещами и книгами в незамысловатый, как честная жизнь, номер.

После чего отправился ужинать в кафе на двадцатый этаж, где его поджидала приветливая буфетчица в вязаной кофте и обтягивающих (не по возрасту!) коротких черных брючках. У нее был выпирающий утюжком живот, которым она, хлопоча вокруг стола, несколько раз как бы невзначай натыкалась на Объемова. Это его не то чтобы смутило, но слегка озадачило. Он и в мыслях не держал разгладиться под этим утюжком. Ладно, выпьем водки, рассудил Объемов, а там видно будет.

Он давно заметил, что *зрелые*, как они классифицируются в неисчерпаемых, как вещь в себе*, порноглубинах* Интернета (а буфетчице точно было за пятьдесят), женщины часто становятся странно и на первый взгляд немотивированно экзальтированны даже в абсолютно ничего не обещающем, бытовом, можно сказать, *внеполовом* присутствии мужчин. На суровом и зачастую тоже *внеполовом склоне лет* женщины за пятьдесят фантазируют и мечтают, как девочки, только взбирающиеся на сияющую вершину этого опасного и скользкого склона.

Самый искренний, вдохновенный, можно сказать, поэтический, но при этом решительно никак не связанный с реальностью монолог о любви Объемов (невольно) услышал много лет назад в… дощатом, разделенном на две секции «М» и «Ж» сортире в деревне Костино Дмитровского района Московской области. В этой нечерноземной глуши он трудился летом в строительном отряде. Была такая практика в СССР — в обязательном порядке отправлять студентов после первого курса на *стройки пятилетки.* Кому выпадал героический БАМ, железная дорога Тюмень—Сургут, газопровод Уренгой—Помары—Ужгород, а вот юному Объемову выпало мешать раствор в бетономешалке при возведении трансформаторной подстанции на краю полузаброшенного, с васильками и жаворонками поля.

Помнится, как-то ночью он задумчиво курил, устроившись на корточках над *очком* в секции «М», смотрел сквозь широкие просветы в досках на яркие звезды в бессмертном небе. Но тут послышались девичьи голоса, в соседней секции «Ж» ударила дверь.

«Я его люблю, люблю! Ты не представляешь, Нинка, какое это счастье просыпаться утром и знать, что он есть. Я сразу начинаю думать о нем, что он сейчас делает, с кем разговаривает. Вижу Славкино лицо, глаза, слышу голос. Понимаешь, он как будто все время со мной! Весь мир — это он! А когда он идет навстречу по коридору, мне хочется зажмуриться, чтобы не ослепнуть, знаешь, как бухает сердце? Как я раньше жила, когда не знала, что живет на свете такой человек… Славка…» — «Да, Мань… — неопределенно отозвалась подруга, — а сам-то он… как?» — «Не знаю, Нин, он есть и все, больше мне ничего не надо!»

После чего отвлеченный от созерцания звезд Объемов услышал сквозь мощный фыркающий шум (видать, девушки хорошо напились за ужином чаю) фразу: «Черт, надо же, трусы перекрутились», удар двери и рассыпчатый затихающий топот. Он, естественно, узнал влюбленную ночную посетительницу дощатого заведения — комсорга их группы. Знал Объемов и *«человека Славку»* — мрачного, не по годам пьющего сутулого паренька в неснимаемых

очках с выпуклыми стеклами. Тот был удивительно молчалив и неулыбчив. Угреватое, словно посыпанное перцем лицо его оживлялось только когда в обеденный перерыв собирали деньги на портвейн, решали, кого послать в магазин. Славка, как пионер, был *всегда готов*, но его не посылали, потому что до магазина было километра три, а Славка ходил медленно и как-то бочком. Даже делая скидку на провинциальный (кажется, она была из Липецка) background Маши, Объемов не представлял, как можно ослепнуть от созерцания Славки. Только если в солнечный день смотреть ему в очки, как в увеличительные стекла…

Неужели, он поискал взглядом юркнувшую, как мышь в нору, в кухонный сумрак буфетчицу, я сейчас… выступаю в роли Славки?

По части выпить — точно. А вот по части любви…

Объемов давно превратил себя в объект собственного же насмешливого наблюдения, полагая, что таким образом спасается от маразма. Больше ему по причине неизбывного одиночества наблюдать было не за кем.

Судя по тому, что он по-прежнему был в кафе один, а освещена была только стойка бара, Объемов сделал вывод, что гостиница не переполнена постояльцами. *Предполье Европы* определенно не казалось привлекательным разного рода искателям лучшей жизни и западной толерантности.

Буфетчица вынырнула из кухонных глубин с приколотым к свитеру бейджем «Каролина». Объемов сначала подумал, что так называется гостиница, но потом вспомнил, что гостиница называется «Лида». Каролиной, стало быть, звали буфетчицу. Она не возражала *усилить* ужин водкой, но за стойкой, выбирая, из какой бутылки налить в графинчик, вдруг как-то задумалась. Объемов быстро подкрепил просьбу двумя российскими сотенными купюрами.

— Тогда я вам… от души налью, — обрадовалась буфетчица, ставя перед ним одну за другой тарелки с *усиленным* ужином.

— Я столько не съем, — предупредил Объемов. Похоже, невостребованные едоками в гостиничном кафе ветчинные и сырные нарезки, щедро сдобренные неестественно белым майонезом салаты, запаянные в пленку, как в прозрачные доспехи, сосиски приближались к исчерпанию срока годности.

А собственно, что здесь такого, расправил плечи писатель Объемов, каждый мужик хоть раз в своей жизни побывал *Славкой*, а некоторые, так… — он подумал про брачных аферистов — много, много раз. Кто сказал, что зрелые женщины не могут влюбляться с первого взгляда? Перед глазами Объемова замельтешили картинки из соответствующих разделов интернетовских порнохабов. При чем здесь это, ужаснулся он.

Вдруг я ей просто понравился? — оторвался от неуместных, абсолютно, как давние мечтания комсорга их группы в секции «Ж», не связанных с реальностью видений Объемов, с отвращением посмотрел на свою дремучую — когда успела выгореть на солнце? — куртку. Предложение *усилить* ужин водочкой в счет пропущенного обеда, даже с присовокуплением двухсот российских рублей, вряд ли могли *усилить* симпатии шустрой буфетчицы к незнакомому посетителю в позорной, исключающей всякие романтические иллюзии куртке.

Но бесповоротно смириться с этой мыслью Объемову не позволяли остатки мужского самолюбия.

Или она от меня чего-то хочет? Но чего? Я абсолютно неперспективен по всем направлениям. Разве только… включилось писательское воображение — оно почему-то неизменно работало у Объемова в режиме изначального, на грани шизофрении, недоверия к окружающим людям, от которых он ожидал

любых, в том числе труднообъяснимых с точки зрения здравого смысла мерзостей — она… хочет меня отравить. Зачем? А… в экспериментальном порядке, возможно, ей надо кого-то отравить, а на мне проверит действие яда…

Писательское воображение было весьма изобретательно, как сталинских времен следователь в поисках доказательств несуществующего заговора. Но без него жизнь Объемова превратилась бы в пустоту. Собственно, литература и была для него поисками доказательств несуществующего (не только заговора, а… чего угодно), точнее, существующего исключительно в его сознании. Другое дело, что найденные им доказательства не убеждали массового читателя в существовании объемовского *несуществующего*. Но это была персональная беда Объемова, как, впрочем, и многих других писателей, чьи произведения отскакивали от сознания массового читателя, как мячики, и улетали неизвестно куда.

Бред!

Надо быть добрее и проще, вздохнул Объемов, смутно припомнив строчки из Уолта Уитмена. *Если ты увидел человека, и тебе захотелось поговорить с ним, почему бы тебе не остановиться и не поговорить с ним?* Примерно так. Но воображение не желало отключаться, зловеще мерцало, как вышедший из повиновения, не реагирующий на кнопки компьютер. А может, так? *Если ты встретил буфетчицу, и тебе показалось, что она хочет тебя отравить, где гарантия, что она не хочет тебя отравить?*

Гарантии не было. Был закон больших чисел. В соответствии с ним подавляющее большинство буфетчиц честно (насколько это возможно в их профессии) делали свое дело, не являясь последовательницами Екатерины Медичи.

Выходило, что не столько *усиленно* ужинающий Объемов, сколько Каролина следовала (пока что насчет *поговорить*) совету великого американского поэта, о существовании которого она наверняка понятия не имела. И (скорее всего) не следовала другому (в духе Екатерины Медичи) коварному плану насчет *отравить.*

Но это уже были детали.

Они показались Объемову совершенно малозначащими после того, как он молодецки хлопнул стопку водки, закусил кисленькой (явно перегостила в уксусе) селедкой с лучком. Тут же истаяла, как будто ее и не было, мысль об отравлении. Я — идиот! — привычно констатировал Объемов. Самокритичное признание не вызвало у него никакого душевного дискомфорта.

Наливая вторую рюмку, он вознамерился было пригласить к столу весело порхавшую за стойкой буфетчицу. Но не успел, потому что в кафе заглянул неопределенного возраста господин с широкой, но короткой бородой, напоминающей истрепанную щетку на деревянной ручке, которую он как будто недовольно держал в зубах. Тоже на конференцию, дружественно (он и ему был готов предложить выпить) посмотрел на господина Объемов, отметив братскую потертость его плаща и непрезентабельность ботинок на толстой подошве. Но тот, мазнув злым взглядом по столу, сухо сглотнул, дернув рубильником кадыка на горле, и вышел из кафе, чуть сильнее, чем требовалось, захлопнув за собой дверь. Молодец, завязал, вздохнул Объемов, а я вот никак…

После второй рюмки буфетчица и вовсе предстала грациозной, доброжелательной бабочкой, почти что ангелом, сошедшим с небес по его грешную душу.

Это было необъяснимо, но Объемов уже не возражал быть отравленным. Только… без мучений. По *эвтаназийному*, так сказать, варианту. Иногда

собственная жизнь казалась ему исключительной ценностью, и он был готов защищать ее всеми имеющимися в его распоряжении средствами. Иногда же, например, как в данный момент, после двух рюмок водки в городе, где он никогда прежде не был, в обществе дамы, которую никогда прежде не видел, он был готов легко расстаться с жизнью. Объемов сам не вполне понимал столь резких перепадов в своем отношении к священному и бесценному дару Божьему. Должно быть, его измученное, генерирующее ненужные массовому читателю смыслы и образы сознание определялось еще чем-то, помимо бытия. Быть может, такой вот внезапно-пронзительной (или пронзающей) алкогольной ясностью. Мир как будто ужимался в точку, а безмерно заострившаяся мысль Объемова упиралась в эту точку, как копье. Однако же, упершись в истину (во что же еще?), копье всякий раз ее калечило, превращало в какого-то жалкого уродца, от которого брезгливо отворачивались нормальные люди. Массовый читатель, чьей любви Объемов алкал, вдруг увиделся ему в образе того самого *Славки*, в которого безнадежно была влюблена комсорг Маша в деревне Костино. Объемов мучительно вглядывался в угреватое, тупое, в выпуклых очках лицо *массового читателя*, и ненависть слепила его, потому что он понимал: ничто не заставит это существо взять в руки его, писателя Василия Объемова, книгу. *Славка* никогда не полюбит *Машу*.

Копье в очередной раз сразило истину. Вместе с ней в бубновое (прихоть плотника) очко дощатого сортира с шумным фырканьем устремились мечты Объемова.

Вслушиваясь в льющуюся, как… вода из крана (возвысил над бубновым очком сравнение Объемов), речь буфетчицы, он подумал, что жизнь, в сущности, прожита. Он написал все, что хотел, точнее, что смог. Славы (Объемов не уставал изумляться величию и могуществу русского языка, играючи отвечающему на все задаваемые и не задаваемые вопросы) не было и не будет. Впереди то же, что и сейчас: одиночество, болезни, безденежье и тоска. А еще — изумление перед непреходящей лживостью и мерзостью мира, от которого он, тем не менее, ждал признания, потому что признание являлось одним из условий существования пишущего человека как неотъемлемой, но почти всегда отпавшей частицы словесного стада.

Но признания быть не могло. Словесное стадо двигалось динозавровым путем к концу времен, подсвечивая дорогу светящимся маячком айфона. Оно решительно не замечало путающегося под ногами писателя Василия Объемова. Ледокольного, чтобы взломать мир, вывести человечество на *чистую воду*, таланта Господь ему не дал. Таким, преобразившим мир талантом, обладал Сын Божий, даровавший людям прощение и жизнь вечную. Тоже ледокольным, но внутри другого — земного — измерения, талантом обладал Сталин, преобразивший Россию *наказанием.* Как иначе можно расценивать многотысячные *лимиты* на выявление и уничтожение врагов народа, спускавшиеся в конце тридцатых годов из центра на места? Злые семена падали на подготовленную почву. От местных *агрономов* потоком шли требования увеличить *квоты.* А что если, привычно травмировал истину копьем Объемов, это и есть… высшая справедливость? Сказано же одним из апостолов: *нет наказания без преступления!*

Вот почему, успокоился Объемов, литературе не дано перевернуть мир. Ей дано выродиться. Путь ее — от жгущего сердца людей глагола к веселящему зажравшегося обывателя-потребителя комиксу. Но я, гордо расправил плечи над столом с закуской и остатками водки в графинчике, отказываюсь следовать этим путем! Господь дал мне талант тихий, лепечущий, носимый

ветром над неясными смыслами, одним словом, не замечаемый миром талант. Я могу писать что угодно, но в вакууме, в темной душной пустоте — там, где слова и мысли складируются, как тюки войлока до лучших (или худших) времен. Скрывая меня в безвестности и ничтожестве, Объемов ощутил размягчающее, предшествующее слезам тепло в глазах, Господь простирает надо мной сберегающую руку, которую я, как вздорная собачонка, пытаюсь… *тяпнуть.* Что же мне остается? — тупо уперся он взглядом в графинчик. Недостойная возраста суета, гневные статьи на полуживых оппозиционных сайтах, редкие поездки по зачищаемому от русского языка некогда общему литературному пространству. Когда не находится (Объемов отдавал себе в этом отчет) более именитых и известных авторов. Или когда эти авторы ставят условия, какие организаторы мероприятия не могут выполнить. Не имеющее исхода ощущение проигрыша, мрачно подвел он итог тому, что остается. Страх даже не перед своим, а коллективным — вместе со словесным стадом — будущим, перед неизбежной катастрофой, от которой не уйти, не спрятаться, потому что она по душу и тело каждого. А там… за *точкой,* заинтересованно смерил уровень водки в графинчике — благословенная тишина, покой, абсолютное, то есть неподвластное времени и вирусам *вечное здоровье* в земле или в урне с прахом, исчезновение всех мыслимых и немыслимых тревог, предчувствий, рвущих душу и сердце переживаний, а главное, упоительная свобода от собственной принадлежности-отъединенности к (от) *словесно-телесному(го) стаду(а).* Там то, что выше и первичнее… *всего,* что было до моего прихода в мир и пребудет в нем после. *Великое отсутствие* — так Объемов определил извилисто, как дождевая капля по стеклу, скользящую, но никогда ни от кого (и чего) не ускользающую точку. А вот водочка, с грустью посмотрел на графин, ускользает, еще как ускользает…

Объемову стоило немалых трудов преодолеть магнитное, точнее, вселенско-гравитационное притяжение *точки,* вернуться в реальность, вникнуть в то, что говорила буфетчица.

Она сыпала словами, как крупой, говорила на русском, но каком-то особенном, как бы уже и не вполне русском языке. Это был упрощенно-технический язык-передвижник, язык-переселенец, язык-*выживала*, помыкавшийся в новых государствах, ободранный недружественными границами, обтертый пластиковыми сумками с барахлом и продуктами, сточенный в оптово-ярмарочных, автобусных, вокзальных, таможенных, полицейско-миграционных и прочих *«терках».* Но он еще хранил фантомную память о советских школьных уроках литературы, прочитанных отрывках из хрестоматии, заученных в далекие пионерские годы стихотворениях. Он давно шел (куда?) своей дорогой, но еще тянул за собой исчезающую тень СССР, где все были хоть и скромно, но равно обихожены государством и никому (разве только носителям пресловутого *пятого пункта*) не были закрыты пути вперед, а если удачно сложится, то и наверх.

…Вдова офицера-летчика. Шестнадцать лет назад разбился на истребителе. Только-только присвоили майора. Второму пилоту приказал катапультироваться, а сам до последнего пытался спасти машину. Самолет упал на поле с подсолнухами, никто внизу не пострадал. А мужа… не нашли, как и не было его в кабине. Сказали, всхлипнула, он, как это… аннигилировался, то есть бесследно испарился.

Объемову как-то некстати припомнились рассказы о похищении Гагарина инопланетянами, телепередачи о неопознанных летающих объектах. Буфетчица, похоже, входила в состояние психоза, как в древнегреческую реку, в

которую якобы нельзя войти дважды. В реку — нет, а в психоз — сколько угодно. Человеческая жизнь вдруг увиделась писателю Василию Объемову в виде коридора, по бокам которого в разные стороны приглашающе вращались винтовые ушастые двери. Люди шмыгали в них, как мыши. Некоторые, прокрутившись в этих дверях, возвращались, ошалевшие, в коридор, а некоторые исчезали… куда?

…Представили посмертно к герою республики, — продолжила буфетчица, не позволяя Объемову однозначно определить, где она — в коридоре или в пространстве за винтовыми ушастыми дверями, — но дали только орден Мужества. Здесь, под Лидой, самая современная советская авиабаза. К каждой взлетно-посадочной полосе подведен под бетоном топливный терминал, чтобы сразу всем взлетать без задержки. Такого нигде в СССР, да и в Европе, не было. Тут и запчасти делали в мастерских по ремонту, и свое хозяйство со свинофермой имелось. Раньше вокруг жизнь была, а теперь только два предприятия работают — лакокрасочный завод и комбинат химудобрений. База пустая стоит, пока охраняется, а офицерский городок разобрали на блоки в конце девяностых. Теперь там лес, грибов много. С грибами ведь как? Год на год не приходится, а там всегда. Подосиновики, белые, а по осени рыжики. Она и солит, и маринует, только есть некому…

— Хотите, завтра принесу? — предложила буфетчица. — Вы ведь здесь будете обедать?

— Не знаю, — пожал плечами Объемов. — Я еще не смотрел программу.

— Принесу, — как о деле решенном сказала буфетчица, — и с собой дам банку. Куда мне их девать?

— Всегда есть куда. Родственникам, детям, — посоветовал Объемов.

…А она одна здесь живет. Дочь в Одессе, у нее семья, своя жизнь, работала в фирме по установке домофонов, недавно сократили. Зять — водила, упертый хохол, и раньше злой был на москалей и *жидив*, а после Крыма совсем озверел. Живут плохо, на четверых — у них двое детей — меньше семи тысяч гривен выходит. Если бы он курятину из фур ящиками не таскал, вообще бы голодали. Она здесь, в Лиде, через день работает, и то получает почти четыре тысячи. Хотя там у них все дешевле, а здесь уже почти как в Европе. До Польши час езды, Литва вообще под боком. Народ туда-сюда снует. Бензин, правда, в Беларуси дешевле, но его только две канистры разрешают, хорошо если на обратную дорогу хватит, не по два же евро за литр брать.

В речь буфетчицы, как цветная тесьма в косу, вплетались белорусские и украинские слова. Объемов обратил внимание, что она хоть и живет в Беларуси, почему-то оценивает уровень достатка окружающих в гривнах и долларах, а не в белорусских или российских рублях.

…Последний раз к дочери и не заезжала. Сразу в Умань, там дом, где она жила в детстве. Раньше деревня была, гуси траву щипали, везде цветы, а теперь городская окраина — ни цветов, ни гусей. Мать и отец померли, а дед живой, восемьдесят пять, в разуме, не болеет, сам о себе заботится. В магазин ходит, баню топит, две теплицы держит на огороде. Руки — золотые, всю работу по дому делает. Следит за собой — бороду подстригает, волосы из носа, чтобы, как клыки, не торчали, дергает, пятки напильником трет, потом весь пол белый, как в муке. У него две пенсии — от хохлов тысяча триста гривен и еще от немцев двести пятьдесят евро — за то, что работал в оккупацию на их продуктовом складе, а потом в нашем лагере сидел. Она в этом году почти все лето у него жила. Дед — молодец! До сих пор курит, самогон пьет, книги читает. Телевизор вообще не смотрит, не держит дома телевизор. Раньше смотрел, а однажды вынес в огород и… из ружья прямо в экран. Участковый

приходил: чего, дед, хулиганишь? А он: лучше так, чем по-настоящему, пусть эти, которые там мордами светят, живут, а телевизор не жалко. Она хотела новый — плоский — купить, скучно вечером, он не разрешил. Сказал, лучше книги читай. А она от книг давно отвыкла. Какие книги, когда такая жизнь? К новым не подступишься, самые дешевые, как бутылка водки, а старые — про людей, каких уже нет. Может, только этот, который топором старуху зарубил, остался и... размножился. Каждый второй сейчас такой — зарубит и не чихнет. Дед, как мужик, наверное, еще… способен. Ходит одна к нему, шестьдесят пять, худенькая такая, чистенькая, губки в ленточку, носик остренький, в очочках, в школе завучем работает… Никак на пенсию не выпрут, некому в районе детишек учить. Якобы за старыми журналами, у деда в подвале подшивки «Роман-газеты», когда-то выписывал. Лохматые такие, когда наводнение было, подвал подтопило. Просушил, не выбросил. Я ему: дед, я тебе не сторож, только не вздумай этой указке ничего отписывать, убью! Она к тебе не за журналами ходит! В них мыши туннели прогрызли, хоть метро запускай! У нас чернозема сорок соток! Евро он тоже не тратит, копит на счете. К нему летом немецкие журналисты приезжали, на камеру снимали, он последний остался в Умани, кто видел Гитлера, когда тот в августе сорок первого по рынку ходил. Еще Муссолини был, но тот помалкивал, видать, чуял беду. Дед и его запомнил: глаза, как черносливы, лобастый, губастый, как бык, челюсть лоханью.

— Какой еще… лоханью? — с трудом выпутался из липкой словесной паутины Объемов.

— Какой-какой, — недовольно пробурчала буфетчица. — В какой новорожденных поросят купают!

— А их… разве купают? — растерянно спросил Объемов.

— У нас нет, — отрезала буфетчица, — немцы привезли, приказ на ферме вывесили, за грязных поросят расстрел!

— Это… Гитлер на рынке объявил?

Некоторое даже противоестественное уважение к фюреру немецкого народа, мгновенно ухватившего быка за рога, с математической точностью вычислившего формулу приобщения неарийского населения на занятых вермахтом территориях к традициям европейского животноводства ощутил писатель Василий Объемов. И только потом до него дошло, что буфетчица порет дикую чушь.

— Какой Гитлер? Какой рынок? Что он там делал?

— Ходил, смотрел, с народом общался. Дед сказал, что переводчик переводил, высокий такой, чуб из-под фуражки, как пена, и с царским Георгиевским крестом на кителе, дед определил, потому что его отец в первую германскую воевал, у них два таких же в красивой коробке из-под царских еще конфет вместе с документами лежали. «Русалка» назывались, я в эту коробку свою любимую куклу Бусю спать укладывала, думала, что ночью русалка со дна морского конфеты пришлет и хоть Буся их попробует. Наверное, из казаков-белогвардейцев был переводчик. Но дед и без переводчика все понимал, у него в школе учительница была из колонисток, ее сразу, как война началась, наши арестовали. Операторы на аэродром умчались, где «юнкерс» ждал, генералы под крылом выстроились. А Гитлер увидел людей на площади, велел остановиться, прошел по рядам, посмотрел, чем торгуют. Подсолнухи его заинтересовали, там одна баба огромные, как тазы, подсолнухи, в тот год урожай был бешеный, никогда больше такого не было, меняла на сахар. Советские деньги уже не ходили, немецких еще не было, а румынские люди брать не решались, не знали, что это за деньги такие.

А дед, ему тогда десять лет было, на мешках сидел. Баба, когда в туалет приспичило, туда его посадила, чтобы вроде как присмотр был. Волосы светленькие, глаза голубые, любопытные, смышленый, наверное, был парнишка. Она Гитлеру сразу мешок хотела с перепугу всучить, но тот не взял, сказал только, что никогда таких больших не видел. Здесь земля, переводчик перевел, как музыка Вагнера. Потом Гитлер деда на мешках приметил, потрепал по голове, сказал, запомни, пацанчик, этот день. Долго будешь жить, увидишь новый мир, за который мы сражаемся, вспомнишь меня. Как в воду смотрел, — задумчиво добавила буфетчица.

— В какую… воду? — запнулся Объемов.

— Я про новый мир, — хлопнула глазами буфетчица, — который сейчас.

— За этот мир Гитлер не сражался, — возразил Объемов. — Он бы точно ему не понравился.

— А что дед будет жить долго, угадал, — быстро нашлась буфетчица. Похоже, она не сомневалась, что любые произнесенные слова автоматически (на лету) наполняются смыслом, а поэтому не имеет большого значения, какие именно слова вылетают у нее изо рта.

— Тут не поспоришь, — развел руками Объемов. Он вдруг засомневался в существовании уманского деда. Частицей ландшафта стремительно меняющегося мира показался Объемову загадочный дед. Беларусь — уже не Россия, а наследница Великого Литовского княжества, той самой *белой* (европейской) Руси, которую кроваво и тупо задавила Русь *черная*, московская, татаро-монгольская и угрофинская. Украина — «ревет и стонет» от ненависти к России. Европа — в маразме, мигрантах, толерантности и отказе от христианской веры. А Гитлер… Гитлер, конечно, душегуб, злодей, *преступник номер один,* но ведь и к нему сейчас отношение меняется… В Прибалтике, например, или на той же Украине… И про Румынию он что-то такое читал. Уманский дед, подумал писатель Василий Объемов, сродни тыняновскому поручику Киже, товарищу Огилви из «1984» Оруэлла. Эти персонажи — не из текущей жизни. Они — фантомы жизни новой и страшной, которая в данный исторический момент замещает привычную текущую, давит и месит ее, как скульптор глину. Но не стал делиться с Каролиной сложной и спорной мыслью. — Ленин тоже, — почти весело подмигнул ей Объемов, — в воду смотрел, а что видел?

— Что? — растерялась буфетная дама.

— Коммунизм! — назидательно произнес Объемов. — А где он?

— Где?— она, как изваяние, замерла над его головой с пустой тарелкой в руке.

— Там же, где и тот мир, за который сражался Гитлер, — многозначительно понизил голос Объемов. — Нигде и… везде! — осторожно увел голову из-под летающей тарелки.

— В Умани возле кино «Салют» стоял памятник Ленину, — легко, как черная бабочка, перелетела с Гитлера на вождя мирового пролетариата буфетчица. — Сломали. Только нога в штанине, как кочерга, осталась торчать. Ботинок в желтый потом покрасили, а штанину — в голубой. Голову лысую в парк, в павильон ужасов откатили.

— Не повезло Ильичу, — Объемову вдруг сделалось как-то тревожно. Как и всегда, когда он слышал то, что не хотел слышать, или был вынужден говорить о том, о чем не хотел говорить, но о чем постоянно и *безытогово* думал. Такой, пока отсутствующий в русском языке, но мощно присутствующий в русской жизни термин тут был уместен. — И Гитлеру тоже.

Зачем я это сказал, расстроился Объемов, почему я все время об этом думаю, с кем… вообще… разговариваю? Наверное, так было в сталинском

тридцать седьмом. Люди не смели говорить о необъяснимых репрессиях, но о чем бы они ни говорили, они *по умолчанию* говорили о них. Ему вспомнился школьный физический опыт, когда на электропроницаемую пластинку сыпали железную пыль. Ее можно было сыпать как угодно, но когда пропускали ток, пыль мгновенно укладывалась в один и тот же, напоминающий совиную морду рисунок.

Казалось бы, ничто (кроме алкоголя) не могло (ментально) сблизить русского писателя Василия Объемова и неизвестной национальности буфетную даму по имени Каролина. Но дама была абсолютно трезва, да и Объемов выпил пока что весьма умеренно. Стало быть, не алкоголь, а невидимое напряжение нового (совиного?) мира необъяснимо воздействовало на *пыль* произносимых Объемовым и Каролиной слов. Совиная морда угрюмо смотрела на них с электропроницаемой пластинки нового мира.

Объемов допускал, что Гитлер превратился в миф, что он, как и Сталин, по мнению генерала Де Голля, *не умер, а растворился в будущем.* Хотя Объемов сильно сомневался, что Де Голль это говорил. Сомневался он и в истинности знаменитого, как будто списанного из монолога Петра Верховенского в романе «Бесы» Достоевского, плана Даллеса по поэтапному уничтожению России. Или (в преддверии выборов) цитируемого на застекленных уличных стендах умозаключения Бисмарка, что Россию одолеть военным путем невозможно, победить ее сможет только внутренний враг. Даже если Бисмарк ничего подобного не произносил, в данном изречении, по мнению Объемова, заключался глубокий конспирологический смысл. Потенциальному избирателю предоставлялся шанс самостоятельно определить — не сам ли этот *внутренний враг* победительно и не таясь декларирует свои намерения, принимая потенциального избирателя за законченного идиота? Гораздо большее доверие у Объемова вызывала другая (подтвержденная) цитата железного канцлера: *«Россия опасна мизерностью своих потребностей». «По воле управляющего ею внутреннего врага»,* — творчески дополнял цитату Объемов.

Но все равно странно было рассуждать на эту тему с малосведущей в историко-политологических изысканиях буфетчицей в независимой Беларуси, спустя без малого век после смерти фюрера немецкого народа, истребившего в этой самой Беларуси, кажется, треть населения.

А может, очень даже не странно, подумал Объемов. Миф обретает необходимую для преобразования действительности динамику именно тогда, когда спускается с выморочных научных высот в пышущую живой глупостью и жизненной силой толщу масс. Они или реагируют на него, начинают, как брага, пузыриться и бродить, чтобы затем взметнуться в революционно-военный (это неизбежно) змеевик и сцедиться по капле в новом качестве в подставленную посуду, или отвергают, точнее, не вступают в реакцию, оставаясь в первозданной, с библейских времен определенной, как *труд и повиновение,* управляемой тишине. Временно невостребованные массами мифы, подобно штаммам бактерий, рассеиваются в книгах и среди безразмерных пространств Интернета, заражая умы отдельных отщепенцев. Они — *везде и нигде.*

Объемову не нравилось будущее, где растворенные Гитлер и Сталин были готовы материализоваться подобно кристаллам в перенасыщенном соляном растворе. В нестихающих диспутах о судьбе России Гитлер был темным, как ночь, как дым из концлагерной трубы, кристаллом, а Сталин незаметно, но упорно *напитывался* белокрылым ангельским светом. Объемов сам видел в одной кладбищенской часовне икону с отцом народов. Генералиссимус,

втоптавший церковь в пыль, так что она до сих пор не могла отряхнуться, кощунственно стоял в длинной до пят шинели, как митрополит в рясе, рядом с Богоматерью, угрюмо уставившись на оробевшего младенца-Христа. Наверное, внутри соляного раствора в очереди на кристаллизацию скрывался и Ленин. В данный момент Ильич пропускал вперед Гитлера и Сталина, но это была очередь без порядковых номеров. Фюрер и Отец народов были понятны и (каждый в свое время) бесконечно любимы массами, в то время как Ленин… Способны ли вообще массы, то есть *малые сии* без понуждения понимать и любить человека с собранием не художественных сочинений в пятьдесят четыре тома? Даже если этот странный человек задался неисполнимой целью превратить *малых сих* в *больших*? Сделать того, кто был *никем*, — *всем. Новый (совиный) мир* стремился к простым, как смерть, в духе Гитлера и Сталина, решениям, а потому Ленин с его беспокойными мыслями об электрификации, коммунизме, отмирающем государстве, главное же о том, *что делать* и *кто виноват,* был *сове*, как говорится, *мимо клюва.*

Но как-то эти три кристалла таинственно взаимодействовали, возможно, предуготавливая раствор к переходу в новое, не известное человечеству, качество. Объемов склонялся к мысли, что это будет *всерастворяющая* существующий мир кислота. Призрачная *кристально-кислотная совиная тройка* пронеслась, шелестя крыльями, перед его испуганным взором и растворилась в темных заоконных белорусских небесах. В ночи и *в водке* — наполнил очередную рюмку Объемов.

Все-таки не молдаванка и точно не белоруска, подумал он, закусывая белой от уксуса селедкой, про взявшуюся протирать салфеткой пивные стаканы буфетчицу. Точно — украинка. Наверное, из Галиции, там много *Каролин*. За такие воспоминания ее бы зацеловали на майдане. Сколько, она говорила, было годков в сорок первом мифическому деду, десять? Ему бы в пионеры-герои, а он — под юбку к бабе, меняющей подсолнухи на сахар. Где он всю войну работал — на немецком продуктовом складе? Значит, не голодал! И силушку сберег, если к нему очкастенькая завуч — губки в ленточку — бегает, и пенсию от Меркель получает! Парень — не промах! А что телевизор в огороде расстрелял и подшивки «Роман-газеты» хранит — это… правильно, наш человек, как-то сбился с мысли Объемов.

— Дед с немцами, которые фильм снимали, по Умани ходил, показывал место, где стояла баба с подсолнухами. Там сейчас бензоколонка. Они ему пятьсот евро заплатили.

— Мало! — возмутился Объемов. — Кто живого Гитлера видел — по пальцам пересчитать, сколько их осталось? — Объемов вдруг замолчал, как подавился, вспомнив, что однажды, и не через *вторые руки*, как сейчас, а напрямую, общался с одной такой личностью. Фюрер как будто навязывал ему свое общество.

Зачем?

Писателю Василию Объемову одновременно хотелось и не хотелось исследовать процесс возвращения мифа, выяснять, говоря по-простому, откуда у мифа ноги растут.

Они отрастали вполне естественно, как у ящерицы, в соответствии с природой мифа. Пока что это были замаскированные, как и сам возрождающийся миф, ноги. Внимательному и пытливому наблюдателю он (если) открывался в виде *голого короля* в *новом формате*. Этого *короля* окружающие изначально полагали *голым,* и следовательно, невозможным для публичного появления в толерантном мультикультурном пространстве, а потому — в упор не видели.

Он не существовал, не мог существовать, поскольку после Освенцима нельзя было сочинять стихи о розах. В исторических музеях разных европейских городов Объемову доводилось читать немецкие листовки времен Второй мировой войны. На обратной стороне там обычно уточнялось, что если некто, сдаваясь в плен, предъявит листовку, ему гарантируется гуманное отношение, а если предъявитель листовки до начала войны проживал на оккупированной в настоящее время вермахтом территории, ему, возможно, будет позволено вернуться домой и заняться мирным трудом во славу тысячелетнего рейха. Сдавшихся с этими листовками в плен советских бойцов расстреливали тысячами, точно так же, как и тех, кто сдался без листовок. *Голый король* не видел между ними разницы. Ему было плевать, кто считал его голым, кто — одетым, а кто — вообще его не видел. Приговор обжалованию не подлежал. Это был опыт, вокруг которого, как кот вокруг плошки со сметаной, кругами ходил, облизываясь, *новый мир.*

Но так дело обстояло раньше, когда король был в силе. Сейчас, *не существуя,* он составлял другие адресные листовки.

На немецком языке: немцы не хотели войны, их втянули в нее, чтобы погубить, согнать со столбовой дороги на безнациональную и постхристианскую обочину, перемешать с различными позорными меньшинствами, чтобы немцы навсегда забыли про *триумф воли.* И вообще, они хотели добра, но Сталин и русская армия вынудили их превратиться в зверей.

На всемирном, как некогда латынь, английском: Гитлер был *хорош,* потому что, проиграв войну, на долгие годы (во всех смыслах) *опустил* Германию, превратил в дойную корову для новой объединенной толерантной и мультикультурной Европы. Гитлер был *плох*, потому что, перед тем как самому быть уничтоженным, он не смог уничтожить СССР.

На русском: Сталину нет и не может быть прощения за то, что он сделал СССР великим и могучим, оснастил ядерным оружием, добился того, что никакая *свинья* не могла просунуть *рыло* в его *социалистический огород.* Но войну выиграл не Сталин, как главнокомандующий, и не русский, а обобщенный, проживавший на территории тогдашнего СССР *советский* народ. За что теперешний, опять же обобщенный, но уже *российский*, — народ ему благодарен не меньше, чем за разрушение проклятого СССР. А больше ни за что не благодарен, потому что все остальное — рабство и позор!

— А потом он посмотрел в небо на самолеты, которые летели над Уманью бомбить Киев, — буфетчица подошла к столу, поправила в металлическом держателе красные, свесившиеся набок, как петушиный гребень, салфетки, — и… Но это… — приложила палец к губам. — Тайна!

— Кто? — Объемов вдруг ясно осознал, что перед ним сумасшедшая, причем опасно сумасшедшая. С подобных, подумал он, ложных социально-исторических синдромов и начинаются революции. Они — невидимо горящие под ногами торфяники. Все спокойно, но вдруг почва проваливается, и привычная жизнь летит в огненную пропасть. Но чтобы в России, ладно, пусть не в России, а в Беларуси, которая еще недавно была Россией, буфетчицы вели с клиентами беседы о Гитлере…

Надо сматываться.

Но в графинчике еще оставалась водка, а буфетчица, хоть и поблескивала нехорошо глазами, пока не проявляла агрессивности. Интересно, подумал Объемов, если я не буду уточнять, что сказал Гитлер, она… разъярится или, наоборот, сникнет?

Не угадал.

Буфетчица, качнув затянутыми в черные штаны бедрами, как сдвоенным маятником, скрылась в кухне, напевая себе под нос. До Объемова донеслись слова «ридна», «кохана» и, кажется, «дивчина».

Наверное, это я сумасшедший! Он схватил графинчик за длинное горлышко, решительно — до последней капли — вылил водку в рюмку. Какое мне дело, что сказал в Умани Гитлер, если я точно знаю, что это бред! Не мог он ходить по рынку, прицениваться к подсолнухам! Объемов ни к селу ни к городу припомнил, что Гитлер вроде бы сносно знал французский язык, и будто бы даже одна девушка во Франции родила от него сына, которого Гитлер, правда, так и не увидел, потому что в восемнадцатом году немецкие войска покинули Францию… Странно, что потом, когда они туда в сороковом году триумфально вернулись, недоказанный сын никак себя не обозначил, хотя, казалось бы… А что если и в Умани… ходил-ходил по рынку, а потом шасть к подсолнуховой бабе… Графинчик в руке Объемова играл на свету, искрился рубчатыми боками. Как граната, усмехнулся про себя Объемов, особенно если взять да бросить его в стену. Он не сомневался, что летали, летали в этом заведении графинчики, хорошо, если в стены, а не в пьяные хари, не могли не летать. *«Гитлер в Умани»* — отличное название для пьесы, все действие — на рынке среди лотков с продовольственным ассортиментом военного времени, со свиными, бычьими и бараньими (образы народов) головами на прилавках. С жужжащими то тихо, то нестерпимо мухами в виде маленьких черепов со скрещенными костями — лазерными точками по всей сцене, чтобы у зрителей кружилась голова. Четыре персонажа: Гитлер, переводчик из белых казаков, баба с подсолнухами, мальчишка, научившийся от колонистов немецкому языку… Каждый про свое. Гитлер — про новый арийский мировой порядок. Казак-переводчик — про великую и неделимую Россию. Баба — про мужа, детей, коллективизацию и голодомор. Мальчишка — про… что? Про Украину, так сказать, сердцем воспринявшую спустя семьдесят лет… Нет, это в лоб, примитивно. Тогда про свою будущую жизнь после *Великой Победы*, про конец СССР, про эту… в очочках, у которой губки ленточкой, про то, что у него все еще *встает,* про немцев, которые приедут в Умань через семьдесят лет снимать фильм о… тебе, Гитлер! А в финале — короткие монологи голов (народов), что есть война, революция, человеческая жизнь и идеология. Хор подсолнухов, как у древних греков: воля богов, *мимесис,* рок, фатум, судьба! Но кто поставит, какой театр возьмет? Сволочи!

— Что сказал Гитлер? — грозно вопросил в кухонное пространство Объемов, потрясенный величием внезапного драматургического замысла. Он был похож на взметнувшийся посреди пустоши дворец с башнями, мансардами и висячими садами Семирамиды. В моменты мгновенной ослепительной жизни таких замыслов Объемов обретал мгновенную же уверенность в себе.

— Он сказал: «Es ist noch zu fruh», — донеслось до него сквозь шум туго бьющей в металлическую раковину струи воды.

— Еще… рано? — мобилизовав все свое случайное знание, точнее, незнание немецкого языка, неуверенно перевел Объемов.

— Ja, genau so, — подтвердила буфетчица.

— А ты… откуда знаешь немецкий? — растерялся Объемов.

— За два-то года, пока драила сортиры в Лейпциге, — усмехнулась она, — научилась. Я, кстати, в Ильичевске пищевой техникум с отличием окончила! Три года по распределению на сухогрузах при пищеблоках плавала. Так что… можем.

— Рано… что он имел в виду?

— Понятия не имею, — сухо, без прежней доброжелательности, скрипуче, как если бы двигала по полу стол, ответила Каролина. — Он не уточнил.

За что купила, за то и продаю. Он долго в небо смотрел. Может, что самолеты рано полетели, а может, что-то, — добавила совсем мрачно, — услышал сверху, понял, что поспешил.

— Но людей не насмешил. Спасибо! Было очень вкусно, — выпил «на посошок», выхватил из петушиного в железном держателе гребня красную салфетку, вытер привычно скривившиеся губы Объемов. — Пойду к себе. Я точно вам ничего не должен? — Он снова перешел с ней на безличное «вы». Наметившаяся между ними *уитменовская* близость разлетелась на кусочки, как если бы была тем самым пущенным в стену пьяной рукой графинчиком. Морской (три года на сухогрузах), сухопутный (сортиры в Лейпциге), воздушный (вдова пилота) — трехстихийный — *background* буфетчицы придавил Объемова, лишил комфортного ощущения собственного интеллектуального превосходства. Я что-то выдумываю, мучаюсь, вздохнул он, а бестселлеры... Они, как жизнь, везде. Пусть даже это странная *жизнь после смерти*, как сейчас в этой… Умани. Нет жизни — нет бестселлеров! Но разве не имеет право на существование мой бестселлер об исчезновении жизни? Я всю свою жизнь сочиняю исчезающий бестселлер, но, похоже, жизнь моя исчезнет раньше, чем он будет написан.

— На боковую? — Буфетчица вышла из кухни, зигзагом обогнула стойку, остановилась, блестя черными вороньими глазами, у стола, из-за которого только что поднялся Объемов. Что ей Гитлер, с неожиданной тоской подумал Объемов, да ее бы… в первый же день с такой-то внешностью в ближайший концлагерь! Хотя Одессу, кажется, держали румыны.

— Не знаю… — Он зачем-то посмотрел на часы, но без очков не разглядел, который час. Стрелки как будто растворились в неясном, как исчезающая в тумане жизнь, циферблате. — Я бы прогулялся по городу, но дождь…

— В дождь хорошо спится, — она начала собирать на поднос пустые и не пустые тарелки. Объемов так и не прикоснулся к вздыбленному бордовому винегрету и куриному рулету в желе, как в желтом увеличительном стекле. — Я сама после девяти только и думаю, как доползти до кровати… — Буфетчица непроизвольно зевнула, едва успев прикрыть рот рукой.

— Да? — ответно и тоже непроизвольно зевнул Объемов. Дарвин прав, успел подумать он, щелкнув челюстью, человек точно произошел от обезьяны. Он понимал, что надо уходить, но почему-то медлил, более того, мелькнула мыслишка: а не махануть ли еще на сон грядущий водочки? Как она сказала: в дождь хорошо спится? Спится или *спиться?* Какая, в сущности, разница? — Устаете на работе? — с неискренним участием поинтересовался он.

— Совсем не устаю. Какая тут работа? Через день, посетителей мало. Сегодня вообще вы один. Не в этом дело.

— А в чем?

— В том, что спать интереснее, чем жить.

— Как это? — Объемов чуть было не уточнил: «С Гитлером?» Но сдержался. Он с юных лет исповедовал принцип: если не знаешь, как отреагирует собеседник, лучше молчи. Это спасало от многих возможных неприятностей. Хотя и не всегда. Молчание было свободно (в любую сторону) конвертируемой валютой.

— А вот так, — ответила буфетчица. — Во сне я… живая, где-то хожу, что-то вижу, встречаюсь с разными людьми. То в Одессе, то в Витебске, то вообще… — вздохнув, посмотрела на нетронутые тарелки с винегретом и затаившимся в дрожащем янтаре куриным рулетом, — в Париже, — призналась почему-то шепотом. — Я там, кстати, не была. Хотела из Германии на автобусе съездить, не получилось. Шапирюзу — мою напарницу, мы тогда в

Лейпциге, в парке Белантис, где египетская пирамида, работали, сомалийцы изнасиловали в мужском сортире. Он на отшибе стоял, вокруг деревья, кусты, даже днем темно. Она, как чувствовала, боялась заходить. Но они ушли, а один, в приличном пальто, задержался, вроде он не с ними. Украл, наверное, где-то пальто. Мадам, мадам, ребенку, моему сыну, плохо, потерял сознание, побудьте с ним, а я в медпункт за врачом. Шапирюза раньше в универмаге на кассе сидела, привыкла людей по одежде оценивать, а потом, у нас в договорах было записано, что беженцам надо помогать. Если он на улице у тебя что-то спросил, а ты не ответила, он тебя фотографирует на телефон и идет в полицию. Хорошо, если только штрафом отделаешься, могут и с работы попереть. Она, дура, зашла, этот в пальто следом, ну, и остальные из-за деревьев выскочили. Уже вечер был, как их разглядеть? В общем, по полной. Она месяц в больнице лежала. Еще и зажигалкой прижгли. Я — не в Париж, а в полицию на допрос. Они решили, что это я сомалийцев на Шапирюзу навела, чтобы работать на две ставки. Хотели рабочую визу закрыть. В общем, — махнула рукой, — пролетел Париж. А во сне он мне понравился, — добавила после паузы каким-то странным, как будто уже спала, голосом. — Дома углами стоят, как утюги, гладят улицы, как брюки, всюду сирень и… негры. Один здоровый бык, штаны спустил, и прямо на скамейку… из шланга. Они так в парках всегда делают. Я бабушкину древнюю частушку вспомнила: «Из-за леса-леса темного привезли его огромного…» Совершенно меня не стеснялся.

— И что там, в Париже? — неожиданно заинтересовался Объемов. Дело в том, что ему тоже видеть сны было интереснее, чем жить. И города в его снах были реальнее настоящих. Некоторые — настолько, что Объемов путался, во сне или наяву он их посещал. Он не сомневался, что в общечеловеческой сети снов существует *портал несуществующих городов,* где у каждого пользователя открыта собственная страничка. Писатель Александр Грин совершенно точно брал названия — *Гель-Гью, Лисс, Зурбаган* — из альтернативного географического атласа.

— А я туда, не поверишь, — тоже перешла на «ты» буфетчица, — на симпозиум приехала! Это здесь я никто и звать никак, а во сне… — подмигнула Объемову, — уважаемый человек. Правда, не понять, из какой оперы. Серьезные проблемы разруливаю, и все по уму, по справедливости. А как проснусь, все через… — огорченно махнула рукой. — Хотя, — продолжила задумчиво, — и во сне меня поначалу обижали, не хотели разговаривать.

— Негры? — подсказал Объемов.

— Одеяла выдавали в одном учреждении, — она как будто не расслышала глупого вопроса. — Всем — пожалуйста, а мне нет! Так обидно! Наверное, замерзла ночью, вот и приснилось. Но ведь не дали! А недавно, когда же это… да позавчера, на авиабазу попала. Я, когда в техникуме училась, там практику проходила, стояла в столовой на раздаче. Как в космонавты отбирали, характеристика, допуск, анкета. С Лешкой познакомилась. Капризный был, рис, говорит, у тебя не проваренный и салат с песком. Я ему: не по званию претензии, лейтенантик, ешь что дают! С первого раза у нас не задалось. Сразу захотел полный обед с десертом! Послала его. Но адрес оставила. Письма писал, пока я на сухогрузах плавала, а потом за мной приехал. Проняло его. Капитаном уже был, командиром звена. Нам сразу квартиру дали, определили меня в столовую завпроизводством. Больше на раздаче не стояла. А во сне опять… понизили. Все мимо меня с подносами. Молоденькие, красивые, совсем не состарились. Лешка в очереди, только на погонах почему-то пять странных каких-то, ушастых таких звездочек. Наверное, там у них другие звания и знаки различия. И еще заметила, что в зале столы в четыре ряда, а на окнах

жалюзи. Такого не было. В три ряда всегда столы стояли, тюлевые занавески, каждую неделю стирали.

— И все? — разочарованно спросил Объемов.

— Не все, — вздохнула буфетчица, — он со мной… по-немецки заговорил.

— Кто?

— Да Лешка! И куртка на нем была странная — военная, но не наша, точно, не наша. С тремя карманами на груди. И не на пуговицах, не на «молнии» — на железных таких квадратиках. Как он ее застегивал? От борща и котлеты с пюре отказался. Два компота попросил.

— Пить хотел?

— Не знаю. Поставил стаканы на поднос, а потом сказал: «Вернусь с задания, получу премию, поедем в Умань дом покупать».

— Я удивилась, с каких это пор стали пилотам премии давать, чтобы на дом в Умани хватило? А он мне так серьезно: «Это не задание — миссия! Все уже решено, хоть никто об этом не знает». Что решено? Какая миссия? Лешка сроду такого слова не говорил, да еще… по-немецки!

— А дальше-то что? — Объемов вдруг как будто увидел эту полуденную столовую, поднос с двумя стаканами светящегося на солнце компота, человека в странной куртке с тремя карманами на груди и с застежками в виде железных квадратиков. Он тоже не представлял, как они застегиваются и расстегиваются. И еще у него возникло ощущение, что где-то он уже все это видел, слышал, а может, читал? Неужели… во сне? — испугался Объемов. Перевел дух. Не во сне. Он точно не стоял в той очереди за пилотом с пятью ушастыми звездочками на погонах. Иначе бы знал, что дальше. А он не знал.

— Только задание будет долгим, сказал, выпил компот, выплюнул косточку на поднос, придется тебе меня подождать. Я хотела его полотенцем по морде, но тут сирена врубилась, наверное, мировая война началась, все разбежались, я одна в столовой осталась, не позвали меня почему-то в бомбоубежище. Как это объяснить?

Объемов пожал плечами.

— Но все равно, такое счастье… Хоть во сне… — блеснув слезами, буфетчица взяла со стола графинчик, от которого никак не мог отлепиться взгляд Объемова, поставила на поднос. — Дед говорит, — продолжила уже другим, померкшим, как опустевший графинчик, как проводивший его взгляд Объемова, голосом, — если спать становится интересней, чем жить, значит, дело к концу. Надо срочно что-то менять, чтобы не пропасть. А еще говорит, что если первая половина жизни дается человеку в радость, то вторая — в наказание. Хотя, у него-то наоборот. Первая половина — война и лагерь, вторая — кум королю, живи и радуйся. Неужели отпишет дом… школьной крысе?

— Сколько ему, восемьдесят пять? — припомнил Объемов. — Уже не вторая, а… третья половина. Или третьей не бывает?

— Бывает, — охотно подтвердила буфетчица. — Она самая длинная, потому что это ожидание. Каждый чего-то ждет. А… чего?

— От чего никому не отвертеться, — вздохнул Объемов, но по лицу буфетчицы понял, что она имеет в виду другое. Ну да, посмотрел на Каролину, жизнь прожита, чего, кого ей ждать? Только улетевшего шестнадцать лет назад на истребителе *короля.*

Он и сам давно и, как водится, *безытогово,* размышлял на эту тему. Ему тоже казалось, что лучшая часть его жизни, как живая цветная река, перетекла в *сеть снов* или в *сонную сеть*, что только там, рассекая виртуальные

подсознательные волны, он расправляет крылья (плавники?), принимает ответственные решения, полноценно и насыщенно *существует.* А как проснется — перемещается в *нечто*, точнее, *ничто,* в серый, вяжущий по рукам и ногам *туман*, к однообразным бытовым хлопотам, мрачным мыслям, молчащим телефонам, бессмысленным новостям-перевертышам из радио, телевизора и компьютера. Похоже, в мире не осталось однозначных новостей. Любая заключала в себе собственное же отрицание, являлась одновременно новостью и антиновостью. Даже если сообщалось о смерти известной персоны, часто оказывалось, что персона жива и здравствует. Непреложной, таким образом, оставалась единственная *отсроченная* новость, что все люди смертны и всему в мире (включая сам мир) рано или поздно настанет конец. Но интерес к ней, похоже, проявляли только писатель Василий Объемов, сотрудничавший с гитлеровцами дед из Умани и его странная внучка по имени Каролина.

Да, конечно, иногда Объемова выручают редкие путешествия, встречи с читателями в библиотеках, он заседает на «круглых столах», иногда даже участвует в дискуссиях на второстепенных телеканалах, бывает, обнаруживает отклики на свои произведения в Интернете, но и поверх этой *имитации* или *компенсации жизни* как будто натянут непроницаемый купол. Из шапито выхода нет! Он сам однажды пережил паническую атаку во время ток-шоу, ощутив себя в замкнутом пространстве антижизни, выдающей себя за *жизнь.* Ни одну из обсуждавшихся проблем те, от кого это зависело, то есть власть или так называемая элита, не собирались решать. Это было прекрасно известно участникам ток-шоу, кормившимся вокруг власти или элиты, но они продолжали увлеченно фонтанировать словесной водой. Объемов не выдержал, гневно рявкнул в профессионально аплодирующих по команде расположившегося в затемненном углу *хоровика*: «Прекратите! Вы — ничто! Ваше будущее — позор!» *Хоровик,* помнится, на мгновение замер, а потом врубил музыкальный проигрыш, после которого неожиданная реплика Объемова сама превратилась в нечто среднее между ничто и позором. В *ничтожный позор* или *позорное ничто*. Стоявшие за двумя длинными столами напротив друг друга «говорящие головы» — известные люди — посмотрели на Объемова с сожалением. После этого случая его перестали приглашать на телевидение.

Куда ушла жизнь? Почему даже сейчас в незнакомом городе, где наверняка много такого, чего он не видел, — да хотя бы могучую крепость на берегу озера! — ему хочется… тупо завалиться спать? А что будет, холодея от ужаса, думал Объемов, если (не дай бог!) накатит бессонница? Тогда в петлю! Среди его знакомых имелись многолетние бессонные люди. Они (многие, кстати, одного с ним возраста) непрерывно рыскали по аптекам, мучали врачей, заказывали транквилизаторы через Интернет, каким-то образом обходя строгие запреты на их продажу без соответствующих рецептов, любую беседу сворачивали на тему — какие таблетки реально помогают заснуть, а какие — обман и подделка. *Лишенцы сна*, подобно лезущим сквозь заграждения и колючую проволоку в Европу беженцам, стремились в вожделенную *страну сновидений,* проявляли недюжинную пассионарность в отстаивании неотъемлемого права человека на сон. Лестница человеческих несчастий воистину была бесконечной. На какой бы ступеньке ни стоял человек, всегда обнаруживался тот, кто стоял выше. Пусть я *не живу*, подумал Объемов, но я хотя бы (пока) *сплю,* следовательно, я существую, а вот они…

— Не надо бояться, — осторожно приобнял он за плечи Каролину — неожиданную сестру по скрашиваемой сновидениями м**у**ке (она же мук**а**) бытия, так определил Объемов их общее на данный момент психологическое состо-

яние. Он хотел сказать ей, что это та самая мук**а** (она же м**у**ка), из которой *Государыня-Смерть* (определение Анны Ахматовой) выпекает для каждого своего подданного персональный, то есть предназначенный только ему и никому другому крендель, но подумал, что Каролина, как выпускница пищевого техникума, может воспринять эту мысль слишком буквально. Объемов и сам не знал, почему одним — шедевры выпечки с тщательным соблюдением временных и кулинарных технологий, а другим — стремительный фаст-фуд?

Но он недооценил Каролину.

— И про смерть дед тоже говорил, — мягко, как если бы они были из воска, подалась плечами под его руками буфетчица.

Объемов на автомате (как во сне?) прижал ее к себе, опустил руку на талию, точнее, на рельефно выпирающий из-под черной блузки телесный обруч. Ему вдруг вспомнилось неизвестно зачем прочитанное объявление в неверном свете фонаря на столбе возле платной гостиничной автостоянки: *«Олеся. 27 лет. Ахнешь! Звони!»* Там же висели и другие объявления с телефонами адвокатов, автомобильных и квартирных маклеров, практикующих на дому врачей-венерологов, а также безошибочно *(«Если не сбудется — деньги назад!»)* предсказывающих будущее экстрасенсов. Хотя, возможно, это явно неисполнимое обещание относилось к ожидающей звонков Олесе. Самое удивительное, что Объемов, оторвав хвостик с телефоном, зачем-то набрал номер и некоторое время слушал задушевно-ласковое, но в то же время деловито-коммерческое: «Да! Я слушаю… Говорите… Что же вы молчите?», пытаясь представить себе эту самую Олесю. Но она вскоре отключилась, а он не стал перезванивать.

Рука соскользнула с талии. Буфетчица вздрогнула. Объемов понял, что совершил ошибку. Не следовало физиологически, то есть непроизвольно *ахать*, в смысле отдергивать руку от телесного валика, как будто его ударило током. Получился обидный для женщины «ах!». Он попытался ободряюще улыбнуться Каролине, но улыбка вышла какая-то механическая. Ну и что, растерянно подумал Объемов, я пришел сюда поужинать, при чем здесь… *это?* Мы — о смерти, а не о…

— Дед сказал, что в определенный момент у человека пути души и тела расходятся, — спокойно, почти равнодушно продолжила Каролина. Она не отреагировала на невербальный объемовский «ах», не сморщила брезгливо губы, мол, на себя посмотри, старая развалина! — Организм берет курс на смерть, потому что так велит природа, а человек, если слаб душой, ему подчиняется. Он, как капитан, чувствует, куда заворачивает корабль, а переменить курс не может. Не дай телу себя одолеть, говорил дед. А еще говорил, что цивилизация существует по физическим законам человеческого тела. Никакая война, говорил дед, случайно не начинается. Только когда уровень зла, страданий и несправедливости в мире зашкаливает. Он про это дело целую, советскую еще, школьную тетрадь исписал. Я читала, но не все поняла. Он вроде как у Бога спрашивал, если зло, страдания и несправедливость для человечества все равно что болезнь для человека, то почему против этого у Бога единственное лекарство — смерть?

— Потому что смерти нет, — ответил Объемов, — а есть жизнь вечная. Ты ходишь в церковь?

— А на обороте тетради, где таблица умножения, дед вывел математическую формулу: *«Жизнь=Смерть+Бог»*. Как это понимать?

— Отличная формула, — согласился Объемов, — главное, универсальная. Можно ставить слова и знаки в любом порядке, суть не изменится. Спросила у деда, что это означает?

— Спросила. Он сказал, что внутри формулы человеческой цивилизации и отдельно взятому человеку предоставляется выбор — умереть в силе и разуме, так сказать, на взлете, или — как гнилому овощу на вонючей свалке. Но чтобы сделать этот выбор, надо… что-то совершить, переступить через себя, одним словом, решиться. Это опасно, потому что трудно угадать, что получится.

— Отрешимся от старого мира, — продолжил Объемов, — отряхнем его прах с наших ног. Знаешь эту песню?

— Слышу отовсюду, — усмехнулась Каролина, — даже, — кивнула в сторону кухни, — из микроволновки, не говоря об этом, как его... блендере.

— Но на что я должен решиться, если я и есть… больное тело? — с преувеличенным интересом, лишь бы загладить свое (тела?) *отступничество,* поинтересовался Объемов. Ему пришла в голову мысль, что организм берет курс не только на смерть, но и на физическую деформацию, говоря по-простому, уродство. Невидимый скульптор как бы комкает собственное творение, злобно облепляет ошметьями лишней плоти, метит, как леопарда, пигментными пятнами, превращая несчастного в (хорошо, если) ходячую, а не лежачую *прореху*, как писал великий Достоевский, на теле человечества. Она права, опустил голову Объемов, я — *бродячая прореха на теле человечества, а человечество… прореха на теле Бога.* Неведомый дед тоже прав! Господь, обливаясь слезами, штопает прореху по живому, потому что иначе заштопать ее невозможно! У Господа нет для нас других ниток, кроме смерти! — Тихо умереть во сне, — пробормотал Объемов, покосившись на свои обтрепанные с узлами на шнурках кроссовки. — Вот счастье, вот… права!

Но Каролина, не дослушав, вдруг рассмеялась, прикрыв ладонью рот, где, по всей видимости, в моменты смеха открывались пропуски *(прорехи?)* в зубах.

— Я сказал что-то смешное? — Предполагаемый стоматологический дефект во внешности буфетчицы странным образом придал ему уверенности. Я еще могу мечтать, с хрустом распрямил спину Объемов, что женюсь на молодой, заведу детей, а вот она…

— Мне позвонили снизу, сказали, чтобы я записала фамилию, кто придет ужинать. Извините, как ваша фамилия?

Началось, поморщился Объемов, сейчас выяснится, что никто для меня ничего не заказывал, и вообще, кто я такой… Бабья злоба, она как… кислота разъедает мир, пятнает его… *прорехами*, куда проваливаются несчастные мужики.

— Объемов, — упавшим голосом произнес он, — согласен, неожиданная фамилия. В словаре Даля…

— А мне, — прыснула в прижатую к губам ладонь Каролина, — послышалось, извините… *Объе...* Я еще подумала, как же человек с такой фамилией живет?

— На девятом этаже, — открыл дверь в холл Объемов, — в девятьсот седьмом номере.

2

Еще сквозь серебристые двери спускающегося лифта он услышал *копытливый* (по Есенину) *стук* каблуков по обнажившейся (в коридоре на третьем этаже меняли ковровое покрытие) плитке. Победительную уверенность, ножной размах, отчаянную (а пропади все пропадом!) женскую отвагу услышал Объемов в этом стуке. Так могла идти неведомая Олеся по вызову вознаме-

рившегося *ахнуть* постояльца. Объемов надеялся увидеть хотя бы ее восхитительную спину, но каблучный стук растворился в лязгающем хлопке двери. Мой удел, горестно вздохнул он, домысливать за жизнью и *ахать* в пустоту. Коридор с голой, как в больнице или в общественном туалете, плиткой мерцал в скупом ночном освещении, как будто по нему бежала сиреневая лунная волна. Она угадала мою настоящую фамилию, мрачно подумал про буфетчицу Объемов, только это не я кого-то… а меня, причем давно и навсегда! Ему вспомнились слова пожилого профессора-интеллектуала из американского фильма «Уикенд в Париже», в четырех словах подведшего итог своей многотрудной и богатой событиями жизни: *«Этот мир меня поимел!»*

Вопрос — почему это произошло, был не из тех, ответы на которые плавают, как осенние листья в пруду. Они скрыты в толще времени и событий, как алмазы в кимберлитовой трубке. Но, может, и нет там никаких алмазов, одна пустая порода. Человек, однако, редко готов себе в этом признаться. Роет тупо и рьяно, изводя себя и мешая жить окружающим. Хотя (любой) ответ на этот вопрос никоим образом не меняет ситуацию к лучшему, а всего лишь, как некий божественный GPS, фиксирует точку нахождения неудачника на карте бытия.

О, как горестна, бесприютна и гравитационно-неотрывна эта подлая точка! Мимо проносятся длинные, как если бы дьявол дразнил *голытьбу* презрительно высунутым языком, лакированные машины. Из-за ресторанных столиков сквозь звон бокалов и серебряное звяканье приборов доносится обнадеживающий женский смех. В банковских хранилищах, искрясь, пересыпаются, как… (неужели тоже — дьявольская?) крупа, бриллианты, сухо шелестят в счетных агрегатах купюры со щекастыми американскими президентами и разными другими историческими личностями в треуголках, тюрбанах, чалмах, цилиндрах, сомбреро, а то и в леопардовых пилотках или шляпах со страусовыми перьями. Тяжело и устало (тысячелетия минули, все обернулось прахом, а они пребывают в вечной цене) светятся золотые слитки… А вот и преуспевший, но бодрый и подтянутый (недостижимый идеал Объемова) серебряно-седой (сам Объемов был сед как-то клочковато и тускло) писатель в кашемировом пуловере с бокалом красного вина в руке и горестной — библейской? — мудростью во взоре возник на этой *мимо-картине*. Он спускался по каменным ступенькам особняка в отгороженный от шумной улицы высоким забором сад, то есть в свой персональный прижизненный, увитый плющом, засаженный красивыми кустами и деревьями рай. Этот писатель каким-то образом утвердился в прекрасном и яростном *мимо-мире,* обустроился в нем, как живая муха в податливом сладком янтаре. Он *поимел* этот мир, сумел влезть в дефис между ним и словом *мимо*.

Но это не Объемов, нет, не Объемов… *Точнее, мимо-Объемов.*

Здесь-и-сейчас-Объемов, если угодно, *стоп-Объемов, усиленно* (по милости устроителей конференции) отужинав в компании свихнувшейся буфетчицы, сидел на кровати в лишенном излишеств, как жизнь без денег, признания и любви, гостиничном номере. Его положение было гораздо более прискорбное, нежели у миллиардов *малых сих,* дразнимых дизельным дьяволовым языком с *мимо-картины.* Те просто тупо существовали, вкалывали или бездельничали (не суть важно) и ничего не понимали, как аплодирующая по сигналу *хоровика* массовка на ток-шоу. А он, Объемов, все понимал и совершенно не нуждался в руководстве хоровика. Он-то знал, что для Бога нет лишних людей. Каждый человек для чего-то нужен Господу, если Он попустил ему появиться из материнской утробы на свет, возвестить о своем прибытии в мир тонким

скрипучим плачем. Последующая жизнь миллиардов людей, собственно, и была растянувшимся или сжатым во времени по причине ранней смерти скрипучим плачем. Этот плач отравлял атмосферу и, видимо, воздействовал на климат, иначе как объяснить ледниковые периоды, когда приветливое лицо Земли надолго скрывается под угрюмым ледяным забралом, а все живое погибает от холода и голода? Причем с какой-то сатанинской мгновенностью. До сих пор ученые не могут объяснить, почему вдруг исчезли косматые, отменно приспособленные к любым холодам мамонты. Некоторые из них вмерзли в лед с недожеванной травой в пасти. Откуда накатил на землю этот космический холод?

Но победительно установившая в Божьем мире свои порядки невидимая сволочь из *мимо-картины* не хочет ждать климатических, то есть предназначенных свыше, перемен. *Простые люди* тяготят ее своим избыточным количеством, главное же, тем, что хотят жить, есть, пить, размножаться, пользоваться благами цивилизации, которых на всех уже давно не хватает. Поэтому из *мимо-мира* в *стоп-мир,* как в колонию бактерий, запущено невидимое соревнование программ исчезновения людей. Собственно, приговоренный мир потому и существует в нынешнем своем, относительно не зверском виде, что пока не определена программа-победительница. А как только она определится, судьба мамонтов покажется *стоп-людям* завидной и счастливой.

Господь, продолжил *гибридную* — библейско-марксистско-атеистическую — мысль Объемов, вынужденно терпит такое отношение *сильных мира сего* к возлюбленным *малым сим*, а потом *революционно перезагружает* Бытие, как зависший компьютер, смывает зарвавшийся *мимо-мир* вместе с телевизионно-отупевшим *стоп-миром* к *чертям собачьим.* Объемов так и не пришел к окончательному выводу насчет этих чертей. Или у собак какие-то специальные (не такие, допустим, как у кошек или свиней) черти. Или же эти черти — в образе собак, быть может, даже в образе *«людей с песьими головами».* Но как тогда быть со святым Христофором, бережно перенесшим лунной ночью ребенка-Спасителя через реку? Этот уважаемый святой почему-то тоже изображался на иконах с песьей головой. А как, интересно, разговаривал святой Христофор, неуместно задумался Объемов. Неужели… лаял?

Смытая Господом к непонятным чертям *картина мира* каким-то подлым образом довольно быстро (хотя в СССР социалистический пейзаж с заводскими трубами, колосящимися полями и счастливыми пионерами продержался семьдесят с лишним лет) восстанавливается, причем непременно в еще более грубом и отвратительном виде. Собственно, это и было, по мнению Объемова, *историей*, точнее, качелями, на которых качалась туда-сюда человеческая цивилизация. Бог хотел одного, люди — другого, в результате получалось что-то третье, что не нравилось ни Богу, ни людям. Жизнь Объемова была горше жизни *малых сих*, потому что ему было известно, что остановить качели, спрыгнуть с них невозможно. После божественной — революционной, военной, климатической, да хоть *метеоритной* — перезагрузки все возвращается на круги своя, все надежды на лучшее слизывает *дьяволов язык.* И еще Объемову было непонятно, почему он, Объемов, с его рентгеновским видением *вещей,* приписан к удобряющему *мимо-картину* навозу *малых сих?* Приписан к расходному материалу, а не к тем, кто его расходует? За что такая несправедливость?

Ему вспомнилось одно графоманское произведение, читанное в далекие редакционно-журнальные годы. Непуганый автор из глухой провинции осмелился вынести на суд читателей альтернативный, как принято сейчас говорить, образ *ада.* Казалось бы, тема, как могучие чугунные ворота, раз

и навсегда отворена и затворена великим Данте, а вот поди ж ты… Самым непереносимым наказанием для грешника, к каковым новоявленный исследователь справедливо причислял подавляющую часть отошедших в мир иной людей, было угодить в круг, где новоприбывший (Объемов запомнил формулировку, как если бы она была выбита на мраморе или *отлита*, как выразился важный государственный человек, *в граните*) *«…все понимал, видел, чувствовал, а изменить ничего не мог»*.

В пустой гостинице было непривычно — до звона в ушах — тихо. Никакие живые звуки не просачивались сквозь стены. Только за дверью потрескивала в коридоре, видимо, готовясь перегореть, лампа дневного света.

Спать почему-то не хотелось. От нечего делать Объемов включил совмещенное с часами радио на прикроватной тумбочке. Воистину Беларусь готовилась к великому будущему, а может, уже пребывала в великом настоящем, потому что по радио на русском языке (наверное, еще не успели перевести на белорусский) передавали спектакль по «Путешествиям Лемюэля Гулливера» Джонатана Свифта. Должно быть, спектакль шел давно, потому что Гулливер уже успел добраться до страны благородных лошадей *гуигнгмов* и странных безобразных существ *йеху*, существовавших в той великой стране на положении рабочего скота. *«Невозможно описать ужас и удивление, овладевшие мной, когда я заметил, что это отвратительное животное по своему строению в точности напоминает человека… В большинстве стад йеху бывают своего рода правители, которые всегда являются самыми безобразными и злобными во всем стаде. У каждого такого вожака бывают обыкновенно фавориты, имеющие чрезвычайное с ним сходство, обязанность которых заключается в том, что они лижут ноги и задницу своему господину. В благодарность за это их время от времени награждают куском ослиного мяса. Этих фаворитов ненавидит все стадо, и потому для безопасности они держатся возле своего господина. Обыкновенно правитель остается у власти до тех пор, пока не найдется еще худшего; и едва только он получает отставку, как все йеху во главе с его преемником плотно обступают его и обдают с ног до головы своими испражнениями»*.

Он поднялся с кровати и тут же чуть не упал, так резко выстрелила в колено жившая там, как зверек в норке, боль. Зверек вцепился в колено острыми зубками, как бы указывая Объемову его место: лежать, вытянув ногу, на кровати и не рыпаться! Он бы и лежал, да только спектакль резко прервался, словно кто-то дико разгневанный позвонил «сверху» с требованием остановить передачу. После недолгой паузы сладкий женский голос запел: «Ой, рэчанька, рэчанька, чаму ж ты няпоўная, чаму ж ты няпоўная, з беражком няроўная. Лю-лілю-лілю-лі, з беражком няроўная, Лю-лілю-лілю-лі з беражком няроўная».

А что если, подумал Объемов (циничный юмор у него подобно плотине сдерживал напор отчаянья или сумасшествия, он не видел между двумя этими состояниями — сообщающимися сосудами — большой разницы) вместо доклада ограничиться одним абзацем из «Гулливера»? Зачем *умножать сущности без необходимости*, если великий Свифт еще в восемнадцатом веке «закрыл тему»! Что, собственно, изменилось с тех пор? Ничего!

Закружилась голова. Сказались девять часов за рулем и... двести, никак не меньше, водки за время *усиленного* ужина. Трусливое, как определила буфетчица, точнее, не буфетчица, а лицезревший в Умани Гитлера дед, тело жаждало капитуляции, покоя. Белым флагом размахивало и растревоженное сознание, оперативно, как в магазине обоев, подобравшее амнистирующую (и анесте-

зирующую) мысль, что не изменить писателю Василию Объемову мир честным и талантливым словом, если ни Библия — главная книга человечества, ни «Путешествия Гулливера» не смогли это сделать. А вот «Майн Кампф»… вывернул, подобно носку, мысль наизнанку Объемов, еще как смогла, правда, не всего человечества, а только немецкого и частично примкнувших к нему отдельных европейских народов… Обои мгновенно поменяли орнамент. Теперь там, как некогда профиль Троцкого на выпущенных в тридцатых годах в СССР *врагами народа* спичечных коробках, угадывалась свастика.

Объемов видел такие — советские и германские — исчирканные коробки в Латвии, в одном из муниципальных музеев *«советского тоталитаризма».* Они лежали под стеклом рядом. Свастика была составлена из литых (крупповской стали?) штыков. И вылезающая прямо из пионерского костра бороденка Льва Давидовича казалась острой, как… Неужели ледоруб, помнится, восхитился опережающей время гармонией между преступлениями *демона революции* и определенной ему мерой наказания Объемов. Экскурсовод с гордостью сообщила на неуверенном английском, что подобные музеи открываются в освободившейся от русского ига Латвии повсеместно. Объемов не сомневался, что пенсионного возраста даме с подрагивающими руками в растянутом свитере из секонд-хенда было бы легче общаться с ним, единственным посетителем музея, на русском, но язык оккупантов был в независимой Латвии не в чести. С соседнего стенда на спрятавшегося в огне Троцкого строго смотрел голубоглазый юноша в форме добровольческого латышского легиона СС. *«Именем бога, я торжественно обещаю в борьбе против большевиков неограниченное послушание Главнокомандующему вооруженными силами Германии Адольфу Гитлеру, и за это обещание я, как храбрый воин, всегда готов отдать свою жизнь».* Фрагмент присяги был переведен с латышского не на английский, как пояснения к прочим экспонатам, а, видимо, для просвещения таких посетителей, как Объемов, на русский язык.

Объемов прекрасно понимал, что телесная и умственная капитуляция неизбежна, что время и возраст перетирают человеческую особь в пыль. Этот процесс невозможно обратить вспять. Отсрочить, смягчить, замедлить правильными лекарствами, здоровым образом жизни — да, но не обратить вспять. Остаться в разуме, умереть без мучений — большего, по мнению Объемова, человек не смел просить у Создателя.

Хотя он знал человека (когда-то тот работал с ним в той самой редакции, которую народный философ осчастливил оригинальным образом *ада*), маниакально противостоявшего естественному процессу старения, посягнувшего на *отцовское право* Создателя распределять черпаком *кашу жизни* по мискам *возлюбленных детей своих*.

Во времена СССР нуждающимся сотрудникам редакций газет и журналов иногда удавалось получать от государства квартиры. В счастливый олимпийский — одна тысяча девятьсот восьмидесятый — год вышло постановление ЦК КПСС, один из пунктов которого предписывал улучшать бытовые условия молодых работников идеологического фронта. Квартиры в новом доме на окраине (сейчас район считался почти центральным) получили Объемов и этот самый его сослуживец с позванивающей, как колокольчик, фамилией *Люлинич.* Тогда, впрочем, оба они были относительно молоды, и жизнь им казалось такой же бесконечной, как советская власть с бетонными памятниками Ленину, перевыполняющими планы заводами, межконтинентальными ракетами, старцами на трибуне Мавзолея и *границей на замке.* Колокольчикам Объемова и Люлинича, не важно, кто что под этим понимал, казалось, еще звенеть и звенеть…

Потом пути Объемова и Люлинича разошлись, но, встречаясь в магазине или на остановке возле дома, они здоровались, обменивались случайными и не всегда достоверными сведениями об общих знакомых, обсуждали последние новости. Объемов привычно ругал власть и жаловался на жизнь. Люлинич никогда не жаловался, только каменел лицом и смотрел куда-то в сторону. И Люлинич, и Объемов давно развелись с женами, новых семей не завели. Объемов кормился скудными литературными заработками. Люлинич работал в малобюджетных и малоизвестных газетах, периодически закрываемых властями за пропаганду экстремизма и социальной розни, но всякий раз возрождающихся под новыми названиями. Когда из-за затянувшегося экономического кризиса и этим газетам выходить стало невмоготу, Люлинич переместился на патриотические сайты. Власть их тоже била, как мух мухобойкой, но они размножались быстрее.

Окна квартиры Объемова смотрели на забранную в бетонную оправу, как глаза мотоциклиста в овальные очки, восьмерку пруда, вокруг которого со временем образовалось что-то вроде парка с детской и спортивными площадками. Белая сирень мощно разрослась в этом парке, и поздней весной Объемов подолгу стоял на балконе, глядя на кусты сирени, напоминающие сверху *нездешних* белых овец. Было в них что-то ангельское, если, конечно, ангелы занимаются овцеводством. Иногда поднимался ветер, и ангельское стадо как будто волнисто двигалось куда-то, оставаясь на месте.

С балкона он и стал замечать бывшего сослуживца в спортивном костюме, каждое утро в любую погоду изнурявшего себя круговым бегом вокруг пруда, а затем упражнениями с гантелями и какими-то другими сложными гимнастическими приспособлениями, которые он извлекал из огромной сумки. Завершив упражнения с принесенным инвентарем, Люлинич, как вепрь, кидался на тренажеры, не пропуская ни единого. Особенно почему-то ему нравилось висеть, широко разведя ноги, вниз головой на кольцах. Каким-то образом Люлиничу удавалось продевать ноги в кольца, а потом из них выскальзывать. Глядя на Люлинича, Объемов кощунственно вспоминал святого Андрея — покровителя русского флота, распятого именно так, как висел Люлинич.

Он одновременно завидовал могучей воле Люлинича, идущего по стопам Гарри Гудини, но и сомневался в необходимости подобного самоистязания. Стоя на балконе, Объемов задирал голову вверх и словно видел свесившиеся с небес устало-натруженные *руки времени.* Этот скульптор мял ходящих внизу людей, как глину, вылепливая из них смешные, но большей частью грустные фигурки. Одних превращал в лысых, пузатых, страдающих одышкой толстяков — «бродячее кладбище бифштексов», как когда-то написал Ремарк. Других сушил, как хворост, вгонял в непреодолимую худобу. Они ходили — со спины молодые, с лица же — складчато-морщинистые, как «яйца носорога». Это уже определение Хемингуэя, славно поохотившегося в свое время в Африке на львов, антилоп и, надо думать, носорогов.

Руки времени вытворяли что хотели, руководствуясь одной им понятной логикой. С таким же успехом (для одних) и неуспехом (для других) они могли вообще ничем не руководствоваться. Одни люди не знали, что такое утренняя зарядка и физические упражнения, мощно ели и пили, понятия не имели о холестерине, простатите, аденоме и атеросклерозе, но доживали до глубокой старости в разуме и отменной физической форме. Другие вели исключительно здоровый образ жизни, ходили к врачам, сдавали раз в полгода, а то и чаще, на анализ кровь и мочу, мыли по сто раз на дню руки, шарахались от сосисок,

чипсов, кока-колы и алкоголя, но почему-то умирали раньше, чем самые отвязные чревоугодники и алкоголики.

Объемов обнаружил подтверждение этой, раздражающей приверженцев стандартного взгляда на мир — дважды два всегда четыре! — мысли на примере… дров, которые раз в три года привозили ему в деревню на тракторе местные люди. Дрова прибывали в виде толстых чурбаков, колоть которые Объемов предпочитал сам. Ему нравилось это укрепляющее тело занятие. Где-то он вычитал, что колка дров оптимальна в плане распределения нагрузки на мышцы человека. Потому-то, делал вывод Объемов, великие люди (даже Ленин в Шушенском!) так любили колоть дровишки. Должно быть, им казалось, что вот так они расхреначивают тупой, опостылевший, не способный к революционному преобразованию мир.

Обычно он не успевал разрубить все чурбаки за один сезон, часть из них оставалась зимовать на участке. Когда он, счистив ржавчину с колуна, приступал к ним следующей весной, одни оказывались внутри с трухой и муравьями, а другие — из той же партии *«однодеревцы»,* точно так же пролежавшие несколько месяцев на мокрой земле, — необъяснимым образом окаменевшими, ссохшимися в желтый монолит. Колун отскакивал от них, как мячик от асфальта. Из них определенно можно было делать те самые «гвозди», которые поэт предлагал делать из революционеров-ленинцев. Так и прочие люди, делал Объемов очевидный вывод. Одним — крепкое здоровье до смерти, другим… понятно что, как бы они себя ни изнуряли бегом и упражнениями.

Продолжая «топориную» (неологизм Солженицына) тему, одни чурбаки он сравнивал… с женщинами, каких держал на примете и какие были бы очень удивлены, а возможно, и оскорблены, узнав о его *эротическом планировании.* Объемов загадывал, со скольких ударов та или иная расколется под напором его страсти. Другие чурбаки олицетворяли писательскую славу. Сколько лет должно пройти, зверски обрушивал на деревянные, как если бы они были издателями критиками и читателями, головы колун Объемов, прежде чем общество по достоинству оценит его произведения, воздаст автору по заслугам, прольет на него золотой гонорарный дождь?

Случалось, олицетворявший женщину и казавшийся несокрушимым чурбак раскалывался с одного удара, а следующий (литературная слава) держался, как будто был из стали. Объемов видел в этом противоречивую правду жизни. С женщинами еще туда-сюда, с признанием — никак.

Люлиничу, похоже, не хотелось быть глиной в *руках времени*, он вознамерился самостоятельно определить себя в деревянные «гвозди», сыграть в игру «сам себе скульптор». Однажды, прогуливаясь в сумерках (любимое время) вдоль пруда, Объемов сказал работавшему на скамейке с тяжелой ушастой гантелей Люлиничу: «Пожалел бы себя». — «Рад, но не могу», — Люлинич тяжело дышал, на красном лице дрожали капли пота, вены на изнуряемой гантелей руке напоминали синие провода. Меньше всего он походил на человека, получающего удовольствие от физических упражнений. Скорее на тянущего из последних сил баржу бурлака. «Что так?» — поинтересовался Объемов. «Хочу увидеть, чем все это закончится, — прохрипел на выдохе Люлинич, — как всю эту сволочь поволокут из их дворцов на *правеж!* Может, — перевел дух, — и мне, рабу божьему, выпадет счастье поучаствовать…»

Однако *время* в подобных играх неизменно выигрывало, потому что у него *на руках* были непобедимые (тяжелее любых гантелей) козыри. И вообще, оно было хозяином *всех заведений.* Кто слишком рьяно, как Люлинич, «звенел» в своем заблуждении, тех оно выпроваживало из-за карточного стола (спортивного зала) с угрюмым, как в случае с Троцким и ледорубом, юмором.

«Ваш приятель из третьего подъезда сегодня утром помер, — сообщила в один прекрасный день Объемову сидевшая на первом этаже в стеклянной выгородке консьержка. — Добегался. Прямо в грузовом лифте. Из сто шестьдесят второй армяне съезжали, а он в лифте упал, голову разбил о дверь. Кровищи, как из быка. Армяне не стали трогать. Вытащим, говорят, а потом доказывай… У них две «газели» у подъезда, половина вещей на улице. Вызвали «скорую», потом милицию (извиняюсь, полицию), перекрыли проезд. Полицейские злые приехали, армян мордами вниз на лестничную клетку, пока врач не сказал, что он от сердечной недостаточности… Таксисты с газельщиками внизу подрались: почему вещи на асфальте, где хозяева? В общем…»

«Беда… » — вздохнул Объемов, соображая, как ему реагировать на смерть Люлинича — интересоваться, сообщили ли родственникам, когда ожидаются похороны, или просто горестно вздохнуть и уйти.

«А вот не скажите, — неожиданно возразила консьержка, — праздник».

Звали ее Аллой Петровной Белокрысовой, о чем извещала аккуратная табличка в углу «аквариума», как если бы Алла Петровна была важной личностью и сидела не в подъездном «аквариуме», а на каком-нибудь совещании или симпозиуме.

Она отчасти оправдывала свою фамилию — остролицая, неопределенного возраста, быстроглазая, с неподтвержденным, как у крысы из сказки Андерсена «Оловянный солдатик», правом интересоваться паспортами жильцов. Объемов давно присматривался к этой, с позволения сказать, консьержке, на довольствие которой сдавал каждый месяц триста пятьдесят рублей. У нее было три (из известных Объемову) занятия: читать книги, от которых активно, как если бы их хранение являлось *(мысле-?)* преступлением, избавлялись обитатели подъезда; поливать тесно стоящие на ненормально высоком подоконнике горшки с растениями и цветами — от них жильцы тоже, хотя и не так бескомпромиссно, как от книг, избавлялись; метить почтовые ящики бумажными ленточками с неприятным словом «задолженность». Когда на улице был ветер, а кто-то открывал дверь в подъезд, ленточки трепетали на ящиках, как на квадратных бескозырках.

Какая-то эта консьержка была ускользающая, то приветливая и угодливо-прилипчивая, то в упор не замечавшая Объемова. И неожиданно для своего определенно не девичьего возраста шустрая. Однажды она прямо на его глазах, совсем как балерина из все той же сказки Андерсена, легко влетела, правда, не в открытую печь, где плавился оловянный солдатик, а на высокий подоконник, где теснились спутавшиеся ветками бездомные растения, чтобы открыть форточку.

«Праздник? — опешил Объемов. — Для кого?»

«Для всех, — пояснила Белокрысова, — а в первую очередь для покойника. Ничего не надо. Тишина. Он свободен. Я думаю, рай — это тишина».

«Тишина и… свобода», — тупо повторил Объемов. Ему снова вспомнилась бумажная андерсеновская балерина. Он подумал, что надо гнать эту крысу, пока она не подожгла дом, не развинтила газовую трубу, не впустила в подъезд банду террористов. А еще лучше проверить у нее самой паспорт. Как спастись, ужаснулся он, если лифты встанут, а черная лестница наглухо забита разным хламом?

В это время худой, прыщеватый, с забранными в хвостик волосами на затылке юноша в обвисших, как поруганное знамя, шортах (в молодежных сетевых сообществах таких называют «задротами»), с грохотом втащил в

подъезд велосипед. Консьержка поинтересовалась, чистые ли у велосипеда колеса, но «задрот», буркнув: «Отвянь, мать!» — проигнорировал вопрос.

«Разве это правильно?» — осведомилась Белокрысова у Объемова, когда «задрот», шевеля челюстью и перебирая ногами в ссадинах и синяках, как паук, загрузился со стонущим велосипедом (железным кузнечиком) в лифт.

«Что правильно?» — вопрос показался Объемову по аналогии с собственной фамилией чрезмерно объемным.

«Что такие живут», — просто объяснила Белокрысова.

«Не торопятся на праздник?» — уточнил Объемов.

«Лучше пусть бы ваш приятель жил, он хоть… сами знаете, — со значением произнесла консьержка, — чем этот…»

Худой, как велосипед, «задрот» не вызывал у Объемова ни малейших симпатий, но так резко ставить вопрос он был не готов. А она, это… еще ничего, гадко, но отстраненно, как будто и не он вовсе, а какой-нибудь (типа Свидригайлова или Ставрогина) герой Достоевского подумал Объемов, худенькая, а грудь… Личико, правда… Он понял, что это реакция сознания на непривычную для него, сознания (в плане развития темы), ситуацию. Не сказать, чтобы сознание в данном случае проявляло себя с лучшей стороны. Так ветер, усиливаясь, первым делом поднимает с асфальта мусор.

«Что-что?» — Объемов, на мгновение как будто потерял равновесие, утратил координацию внутри собственной личности, явственно ощутил внезапную и необъяснимую власть Белокрысовой над собой. Похожим образом цыганки, мелькнула мысль, выманивают у доверчивых граждан деньги, а те потом не понимают: как это могло произойти? И… не только цыганки. Дальше думать на эту тему не хотелось.

«Посмотрите вокруг, — между тем продолжила Белокрысова, — посмотрите на себя, на меня. Как мы живем? У нас отняли жизнь. Ваш приятель понимал… Так что еще не известно, кому больше повезло — тому, кто уже на празднике, или… — вдруг заговорщицки подмигнула Объемову, — только собирается».

Кто посадил сюда эту ведьму, ужаснулся Объемов, надо переговорить с участковым, со старшей по подъезду… Однако вспомнив участкового, кажется, его фамилия была Гасанов (пару месяцев назад он, с трудом подбирая русские слова, показывал жильцам размытую серую фотографию бородатого, в глубоко натянутой на уши вязаной шапочке человека), вспомнив старшую — восторженную идиотку в пелерине, на шпильках, с тремя путающимися в поводках, нервно тявкающими пуделями, отказался от этой мысли. Но все же сделал неуверенный шаг к «аквариуму». Белокрысова слегка сместилась в своем кресле на колесиках, и Объемов увидел черную резиновую дубинку, лежащую на тумбочке как раз под правой рукой консьержки. В девяностые годы такими дубинками, их тогда называли *«демократизаторами»,* омоновцы избивали демонстрантов, протестующих против антинародной политики Ельцина. А еще Объемов разглядел на стене в закутке то ли фотографию, то ли репродукцию в рамке под стеклом, на которой, к немалому своему изумлению, узнал… Гитлера. Фюрер — молодой и стройный — в стильном черном кожаном пальто с поднятым воротником пронзительно смотрел в глаза замордованным Версальским мирным договором соотечественникам. Ну да, никто не помнит, как он выглядел в молодости, подумал Объемов, поэтому она и повесила. Кто догадается?

«Рахманинов, — отследила его взгляд Белокрысова. — Середина двадцатых. Редкая литография. Дочь купила в Буэнос-Айресе на блошином рынке».

«Великий композитор», — с трудом отклеил взгляд от литографии Объемов.

«Он еще сыграет свой ноктюрн, — сказала ему в спину Белокрысова. А когда Объемов шагнул в лифт, добавила: — С большим симфоническим оркестром».

3

Глядя из окна на освещенную (она напоминала огромный зубчато-башенный шоколадный торт) крепость, на ночное, цвета вяленой рыбы, озеро, на несущиеся по небу, как если бы эти самые вяленые рыбы вдруг стали летучими, облака, Объемов подумал, что у Люлинича не было шансов преуспеть в *своей борьбе*. Тело одержало полную и окончательную победу, смахнув с доски *второго игрока*. Люлинич обманчиво полагал, что (теоретически) тело можно наладить в обратный путь — от старости к молодости, от увядания к цветению, но не учел, что, дойдя до определенной, известной только ему, телу, точки, оно срывается, как стрела с натянутой тетивы, катапультируется в *небытие*. Поэтому, сделал несложный вывод Объемов, не следует насильно навязывать телу *свою борьбу*. Как и народу, невольно продолжил мысль, ту или иную идеологию. Не факт, что они (тело и народ) обретут *радость* через *силу*. Записав это в блокнот, как возможный тезис для выступления на конференции, Объемов успокоился. Настроение улучшилось. *Неправильные* мысли вносят в сознание разлад, лишают человека покоя и уверенности, подумал он, ведут к психическим и вегетативным расстройствам. *Правильные* же, пусть даже чисто умозрительные, обезволенные, они… как бальзам, как влажный компресс на больную голову.

Но сознание (больная голова) в силу непонятных, точнее, понятных, но (по умолчанию) оставляемых за скобками причин, упорно, как алкоголик к спиртному, тянулось к *неправильным* мыслям. Объемов объяснял это тем, что *неправильные* мысли несли в себе заряд *удручающей ясности* относительно природы человека и общества в целом, были чем-то вроде *негатива божественной истины* о них. Той самой, от которой человек бежал, как *«заяц от орла»*. В темных линиях и перекрестьях этого негатива многие люди искали (и самое удивительное, находили!) смысл, *уродливую красоту* и оправдание собственного существования. Их сознание смещалось с божественного *«кремнистого пути»* с *говорящими в небесах звездами* на нехоженые тропы, где отсутствовали правила движения. Эти тропы вели в никуда, неизвестно куда, куда угодно, но только не туда, куда надо. Хотя случались исключения. Божественный ветер, а может, *божественная птица*, перенесли с нехоженых троп на общечеловеческое поле избранные зерна: Иисуса Христа, Мухаммеда, Будду, апостолов, святителей, пророков, страстотерпцев и прочих отличников божественно-политической подготовки. В колючем огненном кусте на нехоженой тропе вблизи поля, в *неопалимой купине* скрывался и грозный Б-г иудеев. В этот куст могла сунуться только (неизвестно, божественная или нет) огнестойкая *птица-феникс*. Но это, похоже, пока не входило в ее планы. Избранная истина, таким образом, прорастала на свет из (огненной?) тьмы, оставляя во тьме *тьму низких (не избранных),* испепеляющих мир и людей *истин*. Собственно, в пространстве между тьмой низких (повседневных) и — единственной избранной — истинами и существовал Божий міp.

Объемов не уставал восхищаться совершенством системы противопожарной безопасности, мощью сдерживающих *тьму безумия* редутов, возведен-

ных Господом в дурных человеческих головах. Чем-то это напоминало необъяснимое неприменение *ядерного оружия* в давно готовом, если не страстно желающем пустить его в дело, мире.

Входя в метро, он всякий раз радовался спокойствию и отрешенности разновозрастных и разноплеменных пассажиров в вагоне. Все сидели, уткнувшись в смартфоны, никто не рычал, не ревел, не бросался, ощерив зубы, на соседей… И в то же самое время Объемов явственно ощущал иллюзорность многонационального *смартфонного* покоя, как если бы под тихой речной гладью невидимо рвал воду в клочья острыми, как серпы, плавниками глубинный монстр. *Смартфонные люди* как будто не в метро ехали, а плыли в надувных лодочках по той реке... Господь, делал странный вывод Объемов, удерживал равновесие в мире посредством… смартфонов, айфонов и прочих… гаджетов (отвратительное, враждебное русскому языку двукоренное — *гад и ад* — слово!). Пространство *между* истинами вынуждало человека делать выбор в пользу одной из них. Пространство вне истины избавляло от этого. Гаджеты, таким образом, являлись средством перемещения в виртуальный мир *вне истины*, мир без выбора. В некую резервацию, отстойник определил Господь возлюбленных чад своих, чтобы принять окончательное решение относительно их судьбы. Объемов верил в бесконечную милость Господа, но у него не было никаких иллюзий насчет того, каким будет это решение.

…А потом он, похоже, задремал на неразобранной кровати под дробь дождя по подоконнику и душевные белорусские песни из приемника, потому что вдруг обнаружил себя… двадцатилетним студентом-практикантом в редакции журнала «Пионер» на одиннадцатом этаже газетно-журнального корпуса издательства «Правда» в Бумажном проезде напротив Савеловского вокзала.

Будущего журналиста Васю Объемова определили на два летних месяца в отдел писем детского журнала, посадили за желтый с выдвижными, через один запертыми ящиками стол, выдали специальную электрическую машинку для вскрытия запечатанных конвертов. Машинка напоминала железную ладонь. На эту ладонь следовало положить письмо и слегка подтолкнуть его в сторону ворчливо крутящегося в глубине машинки круглого лезвия. Оно как по линейке срезало с конверта тонкую полоску, после чего письмо легко, как худая нога из просторной штанины, извлекалось из конверта. Но этой операцией дело не ограничивалось. На письменном столе Васи Объемова лежала стопа разграфленных фиолетовых картонных карточек. В них следовало вписать: имя и фамилию отправителя; его почтовый адрес с индексом; а также краткую информацию о содержании письма. Конверты и извлеченные из них письма прикреплялись к карточке скрепкой. Это называлось регистрацией поступившей почты. Каждое утро с распределительного почтового узла издательства «Правда» в редакцию журнала «Пионер» поступал прошитый веревкой бумажный мешок с сотней, а то и больше, писем от юных, взрослых, пожилых, а иногда и выживших из ума читателей.

Помимо Васи, «учетчиками писем», так называлась эта (нижайшая в редакционной иерархии) должность, были еще две девушки — Света (от нее постоянно пахло потом) и Марина — жена офицера-подводника, она благоухала терпкими с горчинкой духами. Была еще и третья (ушедшая в декрет учетчица), за чьим столом и расположился временно Вася. Сунувшись однажды в незапертый ящик стола в поисках стержня для шариковой ручки (карточки высасывали их, как фиолетовая пустыня), он обнаружил под аккуратно

вырезанными из иностранных журналов фотографиями стройных дам в красивых платьях и неряшливо выдранными из советского журнала «Работница» длинную (пулеметную) ленту «изделия № 2» Баковского завода резиновых изделий. Ну да, успел подумать Вася, перестала использовать, и… сразу в декрет. Он покраснел, явственно ощутив знакомый запах этого оставляющего на руках белую пыль изделия, хотя наглухо запечатанные мятые квадратики с рельефным колечком по центру не могли его издавать. Это был фантомный, *психический*, тревожный запах. К двадцати годам Вася приобрел некоторый сексуальный опыт, *неотъемлемой* частицей которого была неуверенность в надежности отечественного (индийские тогда еще не появились) *изделия.* Были, были в Васиной практике случаи, когда, контрольно опустив глаза долу, он обнаруживал вместо изделия одно лишь плотно прикипевшее белое резиновое кольцо в юбочке лохмотьев. И девушки, делившие с ним *радость любви,* даже если изделие по окончании *любовной радости* внешне выглядело молодцом, часто отправляли Васю в ванную для его проверки. И Вася стоял у зеркала над раковиной, тупо разглядывая наполненный водой пузырь с плавающими белыми головастиками, а заодно и собственную противно-самодовольную физиономию.

Впрочем, только первую неделю Вася смущался, перелетая в кабинете, как бабочка или пчела, от запаха горячего девичьего пота к запаху разогретых девичьим телом духов с горчинкой, и — фантомному запаху изделия № 2 Баковского завода. Вскоре они слились в единый упоительный запах *блядской вольницы*, креативно (тогда это слово еще не родилось) преобразивший и наполнивший (философы называли это дело *эросом*) унылые крысино-канцелярские будни замещающего временно вакантную должность учетчика писем студента.

А как могло быть иначе в женском коллективе, гимном которого была сомнительная, неизвестного происхождения песня:

По аллеям тенистого парка
с пионером гуляла вдова.
Пионера вдове стало жалко,
и вдова пионеру дала.

Почему же вдова пионеру дала
в эту темную ночь при луне?
Потому что сейчас
каждый молод у нас
в вечно юной советской стране!

Вася и оказался таким вот несознательным «пионером» в перегретом разновозрастными женскими телами тенистом парке. Лето в тот далекий год и впрямь выдалось жарким и дымным — под Москвой горели леса и торфяники.

А еще он припомнил (во сне), что этажом ниже располагался отдел писем самого многотиражного (кажется, более десяти миллионов экземпляров) журнала в СССР «Здоровье», где трудилась *рота*, никак не меньше, девушек-письмоводительниц. *Тенистый парк* воистину не знал границ, и были эти границы отнюдь не на *замке.* Никогда больше в своей жизни писатель Василий Объемов не попадал в столь сладостные кущи *под сенью девушек в цвету.* Так назывался роман популярного в то время в СССР французского писателя Марселя Пруста. Даже в редакции журнала «Пионер» слышали о нем. На черном рынке этот непростой для понимания простого советского человека роман стоил в десять раз больше вытесненной на обложке цены. Но

простой советский человек хотел его читать и был готов переплачивать. Это была одна из странностей или загадок социализма. Казалось бы, что за дело советской учительнице или советскому геологу до какого-то эстетствующего *Свана*, жившего сто лет назад в Париже?

Ну почему, почему, вертелся сверлом, спустя годы, в одинокой холодной постели писатель Василий Объемов, я был так труслив и сдержан *в тенистом парке под сенью девушек в цвету*? Почему не прочесал его вдоль и поперек широким *бреднем*? Но (опять же, во сне) как легкий ветерок сквозило понимание, что потому-то и распахнулись приветливо перед ним ворота парка, что был он там случайным гостем, с которого, как говорится, взятки гладки. Оттрубил практику, и гуд бай!

Он привередничал, пренебрег по эстетическим соображениям похожей одновременно на милого зайчишку и добрую сказочную лягушку девушкой с широко расставленными глазами из журнала «Здоровье». Не попадая своими глазами в ее, утыкаясь в белый шлагбаум лба, Вася вспоминал строчку Игоря Северянина: *«На серебряной ложке протянутых глаз я прочел разрешенье войти»,* изумлялся размеру этой самой даже не *ложки,* а… *поварешки.* Девушку все звали *Зямой.* Вася как-то не удосужился узнать ее имя и фамилию, Зяма и Зяма. Однажды в обеденное время они стояли в очереди в столовой, и она рассказала ему, что вступила в переписку с маркшейдером из Сыктывкара, написавшим в «Здоровье» о постельных неладах с женой. Зяма в ответном послании на бланке редакции привела слова Антуана де Сент-Экзюпери о том, что любить означает смотреть в одном направлении, посоветовала ему быть выше презренной физиологии. Но маркшейдер не внял, прислал ей заказным с уведомлением письмом… сперму в полиэтиленовом контейнере с просьбой исследовать ее в (секретной?) космической лаборатории на наличие неведомых, отрицательно заряженных (чем?) *спермо-ионов.* Маркшейдер утверждал, что таинственные *спермо-ионы* угрожают существованию человечества, как биологического вида. С их помощью инопланетные пришельцы по своей программе трансформируют геном человека. Получив дозу, баба становится невменяемой, рожает скрытого мутанта, а ничего не подозревающие мужики заражаются этой дрянью через… *изделие № 2*! Глядя на Васю широко расставленными стрекозьими глазами, Зяма поведала, что вечером в Доме культуры «Правды» будут показывать фильм *«Точка, точка, запятая»*, она пойдет, потому что живет через два дома на улице Правды, мать уехала на дачу, а ей скучно. Но Вася лишь неопределенно пожал плечами. Название фильма почему-то навело его на мысли о наполненном водой резиновом пузыре, где плавали белые *точки, точки и запятые,* вполне возможно, отравленные инопланетными *спермо-ионами.* Круг замкнулся. Вот так глупо он поставил *точку* в отношениях с Зямой, пронес мимо рта длинную серебряную поварешку.

А с опытной замужней красавицей Мариной — любительницей терпких духов с горчинкой, он лениво встречался в подвальной мастерской иллюстрировавшего тексты журнала художника на Башиловской улице, иногда даже не предупреждая ее, что не придет. Марина, нервно теребя рукава красивого белого свитера, ждала его среди подрамников и неоконченных рисунков, откуда на нее задорно смотрели салютующие пионеры в красных галстуках. Потом, наверное, находившись по пятнистому, как шкура гиены, дощатому полу, сидела на низкой раздолбанной тахте (художник называл ее *спермодромом),* грустно глядя на черную гроздь висящего на стене допотопного (из Смольного, шутил художник) телефона. Утром в редакции Вася только разводил руками в ответ на упреки Марины — не получилось, звонил-не дозво-

нился, потом уже было поздно. И она прощала его, и он, идиот, думал, что так будет всегда…

Только потом, переместившись из *тенистого влажного парка* в *сухую и скупую (на ответное женское внимание) лесостепь, а может, и полупустыню*, писатель Василий Объемов понял, что период наибольшего благоприятствования со стороны женщин предоставляется мужчине на короткий срок и в исключительных обстоятельствах. Как выигрыш в лотерею, как ипотека, проценты за которую превышают лихо истраченный кредит. Формула *тело—товар—любовь* сезонна, пока тело молодо и... глуповато. Потом *товарная востребованность тела* растворяется во времени и пространстве, ее не вернуть физическими упражнениями, какими, например, занимался… Люлинич. Почему он его вспомнил… во сне?

Каждое утро срезанные машинкой с почтовых конвертов полоски, как бумажная вермишель, наполняли мусорную корзину. Стопки писем, увенчанные фиолетовыми карточками, раскладывались по папкам. Стихи к стихам, рассказы к рассказам, рисунки к рисункам. Некоторые сообщения — о конфликтах и интригах в пионерских отрядах и октябрятских звездочках (были и такие!) передавались в отдел пионерской жизни, где их внимательно изучали сотрудницы. Если затронутые в письме вопросы представлялись важными, в журнале появлялась *установочная* статья, разъясняющая подрастающему поколению, *что делать*, *кто виноват* и *как надо жить.*

Когда папки наполнялись, за письмами наведывались литконсультанты.

Детские рассказы забирала тонкая, как удочка, седая прокуренная дама со следами былой, но какой-то измученной красоты. «Боже, опять про войну и Павлика Морозова, — помнится, вздохнула она, быстро перебирая письма, когда Вася увидел ее в первый раз. — А вот еще про… вожатого. Он… что? Съел… ежа? Каким образом? Хотя… я как-то отведала рагу из ежа с запаренной хвоей на гарнир. Под Благовещенском, в тайге на лесоповале в поселке Свободный в новогоднюю ночь. У меня начиналась цинга. В Свободном не было ни одного свободного человека. Даже у конвойных были сроки. Мне тогда было столько же, сколько вам сейчас, — посмотрела сквозь табачный дым, как сквозь колышущуюся сиреневую пелену (времени?), на Васю. — Меня, кстати, после этого праздничного ужина собирались расстрелять за издевательство над несгибаемым сталинским наркомом товарищем Ежовым. К счастью, его вскоре сняли с должности, и мне добавили всего лишь пять лет за хулиганство. Вам не приходило в голову, молодой человек, — внезапно сменила тему седая дама, — что еж — это скрытый символ социализма, его — по Карлу Густаву Юнгу — архетип? Наш народ сидит на нем голой жопой, а ежик-то, как в детском анекдоте, давно сдох и воняет…» Вася сразу вспомнил этот — как бабушка прятала внучка от трамвайных контролеров под юбкой — детский анекдот и несколько смутился, живо и гадко представив себе благородную седую даму в образе той самой народной бабушки. А себя… неужели в образе внучка? Он хотел возразить, что на бабушкин век точно, да, пожалуй, и на его тоже, советского ежика (в рукавицах или, как сейчас, в мягких варежках) хватит, но заметил, что Марина за спиной узницы сталинских лагерей выразительно крутит пальцем у виска. «Интересно, как этот… вожатый снимал с ежа шкурку? Не так-то просто ее стащить…» — между тем продолжила седая дама, закурив новую сигарету, и Вася понял, что Марина права.

Рисунки оценивала другая, столь же почтенного возраста особа, но широкая в кости, с тяжелым громким шагом, как будто вместо ног у нее были

гири, и ледяным, пронизывающим собеседника взглядом. Когда ее знакомили с Васей, тот сразу вспомнил, как наврал редакционной кадровичке про то, сколько раз в неделю должен являться на работу. Вася *закосил* один библиотечный день, которого не существовало в природе. Он подумал, что окажись на месте легковерной кадровички эта тетя с заиндевевшими глазами, номер у него бы не прошел. Перед ней робел даже главный редактор. Заслышав чугунную поступь в коридоре, он выходил из кабинета, чтобы почтительно поздороваться. «Смотрю, угрелся ты тут с бабьем, — заметила угрюмая особа Васе, когда они остались в кабинете одни, — следи за ширинкой!» — «В каком смысле?» — растерялся Вася, только полчаса назад уединявшийся с Мариной в подсобном помещении среди швабр, синих рабочих халатов, горнов, барабанов, коробок с пионерскими пилотками и знамен. Самое большое и мягкое, бордовое, рытого бархата с золотыми буквами (должно быть, *переходящее*) знамя у них перешло на списанный письменный стол. «В прямом», — ответила суровая бабушка, указав пальцем на Васину ширинку, которая и впрямь, к его ужасу, оказалась расстегнутой. Нечего и говорить, что детский анекдот про ежика применительно к ней показался ему совершенно неуместным и даже кощунственным.

В редакции Васе объяснили, что пожилые дамы всегда вызывались за письмами в разные часы. Им нельзя было встречаться, потому что эти встречи заканчивались плохо. Одна из них просидела при Сталине двадцать лет в лагерях, как контрреволюционерка и дочь белогвардейца. Другая — до пенсии работала в *органах*, а именно в многотиражной газете центрального аппарата НКВД-МГБ-КГБ на Лубянке, рисовала там карикатуры на *врагов народа* и *мягкотелых следователей*. Но лагерница почему-то была убеждена, что мнимая карикатуристка сама была следователем, причем отнюдь не мягкотелым.

Детскими стихами занимался суетливый, спившийся, с трясущимися руками поэт с замотанным на горле шарфом. Он носил его в любую погоду, наверное, даже спал не разматывая. Шарф походил на петлю, а сам поэт — на сорвавшегося с виселицы бродягу из романов Диккенса. Его, как рассказали Васе, постоянно хотели выгнать (он вечно путал адреса, имена детей, терял письма), но как только доходило до дела, начинали жалеть. Всем без исключения юным стихотворцам этот, с позволения сказать, литконсультант советовал внимательно изучать статью Маяковского «Как делать стихи?» и ознакомиться с поэмой Евгения Евтушенко «Братская ГЭС». В одном из писем оба совета у него, как капельки ртути, слились в *«Как делать стихи на Братской ГЭС?»*. Руководительница детского литературного объединения из куйбышевского Дворца пионеров, получив ответ и обдумав неожиданное предложение, направила в редакцию благодарность *«за вклад журнала в пропаганду советской культуры и коммунистического отношения к труду среди школьников младшего и среднего возраста»*. Поэта можно было вызывать за письмами в любое время. Иногда, когда он был, как сам выражался, «при деньгах», то есть в выплатные дни, он угощал девушек и Васю коньяком из фляжки, которую профессионально прятал при малейшем шуме в коридоре, и шоколадными конфетами. «Запомни этот день, сынок, — сказал он однажды, нацеживая Васе прыгающей рукой в стакан коньяк. — Скоро тебе будет этого не хватать, — кивнул на изгибисто со сладостно-неприличным стоном потянувшуюся (руки за голову, ноги широким циркулем), да так и застывшую в этой позе Свету. Окно было открыто, и запах пота практически не ощущался. Потом поэт перевел затуманенный взгляд на Марину, явившуюся в тот день на работу в мини-юбке. Раскинувшись в кресле, она

курила сигарету, забросив ногу на ногу, так что мини-юбка на ней превратилась в юбку-невидимку. — Очень, очень скоро, сам не заметишь, — прошелестел одними губами поэт, — поэтому запоминай, запоминай...» — «А еще я запомню… твой шарф», — неизвестно почему подумал Вася, но оказалось, что произнес эту странную фразу вслух. «Точно! — обрадовался поэт, посмотрел на Васю, как на внезапно (и неожиданно) произнесшего нечто умное младшего брата. — Когда-то он был разноцветный с блестками. А сейчас?» — «Трудно сказать», — пожал плечами Вася. Ему было противно смотреть на прожженный, в пятнах и табачных крошках шарф. Но он почему-то смотрел. У шарфа не было цвета. «Это жизнь. Поэтому… запоминай, — повторил поэт, — и… лети, беги, ползи». — «Куда?» — удивился Вася. «Не знаю, но прочь, прочь, пока… дышишь, пока он тебя не придушил», — полез в карман за фляжкой поэт. Рука прошла мимо, но он этого не заметил, продолжая нащупывать фляжку в воздухе, как если бы воздух был большим и пустым карманом.

За каждый ответ литконсультанты получали по рублю. Иногда, если в редакции обнаруживались неизрасходованные по статье «работа с письмами» деньги, а ответы радовали логикой и легкостью слова, гонорар увеличивался на двадцать пять копеек. За два ответа, произвел в первый же день нехитрые математические вычисления Вася, можно было купить бутылку водки «Кубанская» — два рубля шестьдесят две копейки, или, доплатив двадцать копеек, бутылку белого вина «Цинандали» — за два семьдесят.

Раскладывая ответы по конвертам, Вася, случалось, вникал в их содержание. Ему было трудно отделаться от мысли, что ремесло литконсультанта (особенно когда он читал торопливые, часто в винных и помидорных потеках, а один раз с присохшим хвостиком кильки, *отписки* поэта) ему очень даже по плечу. Через неделю работы в редакции Вася сам был готов сочинить статью: *«Как делать ответы на письма?»*. Даже и на Братской ГЭС.

Его час пробил, когда узница сталинских лагерей (волокита длилась не один год), наконец, получила разрешение на поездку во Францию к сестре. Год назад эта увезенная в гражданскую на последнем пароходе из Крыма сестра овдовела, и дети определили ее в дом престарелых под Парижем. В ее комнате, сообщили они, вполне можно временно установить вторую кровать для тети из СССР. Французские родственники обещали оплатить пострадавшей в сталинские годы тете двухнедельное (с питанием) пребывание в доме престарелых и обратный билет в Москву.

Марина уговорила главного редактора поручить отвечать на письма Васе. Редактор вытащил наугад из прошитого белой веревкой утреннего почтового мешка несколько конвертов с детским почерком, велел Васе подготовить по всей форме (на редакционных бланках) ответы и принести ему. Внимательно изучив ответы и даже кое-что исправив (стандартное обращение *«Дорогой друг!»* он почему-то заменил на официально-фамильярное *«Здравствуй, Дима Соловьев!»*), редактор сказал, что до конца месяца Вася будет отвечать бесплатно, так сказать, набивать руку, а с первого августа его оформят по договору на месяц стажером отдела писем. По рублю, уточнил редактор, мы тебе все равно не сможем платить, у тебя нет законченного высшего, попробуем по семьдесят пять копеек, если бухгалтерия пропустит. Он вызвал кадровичку и дал ей указание немедленно (задним числом) расторгнуть договор с отъезжающей в Париж *старой белогвардейской шпаной* и заключить с *подающим надежды молодым журналистом и комсомольцем Василием Объемовым.* «Надеюсь, ты комсомолец?» — с подозрением посмотрел на Васю редактор. «Заместитель

комсорга группы», — бодро повысил свой общественный статус забывший, когда платил последний раз взносы, Вася. «Как же так, — хлопнула глазами кадровичка, — она же через месяц вернется!» — «Тогда заключим с ней новый договор, — разозлился редактор, а с этим… расторгнем!»

Потом во сне писателя Василия Объемова пошел снег. Был он совсем не холодный и очень крупный. Приглядевшись (во сне у человека возраста нет), Вася увидел, что это не снежинки падают с неба, а… белые пионерские письма. За время практики Вася ответил, наверное, на сотни, но во сне (повторно) по его душу поступили лишь избранные места из переписки с юными сочинителями.

Рассказ о *«красивом взрослом марсиане»* (его прислала девочка, называвшая себя, видимо, на марсианский манер вибрирующим, как железная пила, именем *Матилла*). Васе не очень понравился этот *«взрослый марсиан»*, встречавший *Матиллу* после окончания занятий в *парке.* Он посоветовал девочке обязательно рассказать о *марсиане* маме, записаться в кружок юных астрономов, а главное, заняться спортом, желательно самбо, чтобы в случае чего…

Написанная недобрым извилистым почерком *«Баллада о Снегуре в трех тетрадях. Первая тетрадь: Юность Снегура».* Вася, не дожидаясь второй тетради, когда Снегур возмужает, посоветовал автору не прикидываться пионером, а отправить балладу в «Новый мир», «Октябрь» или «Юность». Где, демагогически вопрошал Вася, должна увидеть свет «Юность Снегура», как не в популярном молодежном журнале «Юность»? Автор, однако, оказался непрост. Видимо, уже (с предсказуемым результатом) рассылал «Снегура» по разным редакциям. От него пришел грозный ответ, графически исполненный дымящимися от гнева печатными буквами, напоминающими готовые к извержению вулканы. Располагались вулканические буквы почему-то поперек разлинованной страницы, волнисто выдранной из какой-то древней амбарной книги: *«Да проклянет тебя Солнце, литконсультант Василий Объемов! Слишком ничтожен объем твоей глупой башки, чтобы вместить величие Снегура — сына Вечного Льда и Бессмертного Неба!»* Некоторое время Вася размышлял над половой принадлежностью *Бессмертного Неба.* Мелькнула даже озорная мыслишка выяснить этот вопрос у автора, но Вася не решился, страшась пожать почтовую бурю. А еще он некстати вспомнил маркшейдера с отрицательно заряженными *спермо-ионами.*

Почтовый снег между тем набирал силу. На Васю посыпались конверты от *Каспара Хаузера.* Пионер с непривычным именем и фамилией присылал в редакцию какие-то странные, не пионерские, а по большому счету и не советские рассказы. О мостах в Ленинграде, под которыми он якобы наблюдал ночные круговые крысиные собрания, когда крысы, подняв вверх хвосты как антенны, рассаживаются вокруг своего вожака сужающимися концентрическими кругами, мерно, как серые маятники, раскачиваются из стороны в сторону, а потом внезапно разрывают этого вожака в клочья. О вечерних полетах на воздушном шаре над остывающим куполом Исаакиевского собора. О путешествии в *страну украденных зонтиков*, где сутки измерялись молниями, часы — громом, а секунды — ударами капель дождя по жестяным подоконникам. Вася втянулся в переписку с *Каспаром Хаузером* (тот жил под Москвой в Коломне, письма туда-сюда летали как птицы) и, помнится, полюбопытствовал, как же измеряются в стране украденных зонтиков годы и века? «Засухой и Великим Потопом», — пришел озадачивающий ответ. Даже о своей неразделенной любви к прекрасной физкультурнице в сиреневом как

сумерки купальнике поведал Васе *Каспар Хаузер,* закончив печальный (как и положено) рассказ стихотворными строчками: «Одиночество в любви — бег на месте. Догони!»

Какие-то задел в Васиной душе тайные струны пионер Каспар Хаузер. Вася, вопреки неписаным правилам литконсультанта, написал ему — на двух страницах! — личный ответ. Он рассказал, как сам в детстве, когда родители уезжали на дачу, бродил до рассвета по переулкам вокруг заключенной в подземную трубу реки Самотеки, ложился ухом на асфальт, пытаясь услышать ее *зов*, потом вставал, смотрел на «запутавшиеся в проводах звезды». Даже о шарфе-петле на шее поэта-литконсультанта (одного неглупого, но слабого человека, так Вася замаскировал в письме коллегу) написал он Каспару Хаузеру. «Дело не в шарфе, — бодро выстукивал Вася на раздолбанной, извлеченной из подсобки, где хранились горны, барабаны и *переходящее знамя,* пишущей машинке «Olympia», — а в том, что этот неглупый, но слабый человек сам не хочет (боится) стянуть его со своей шеи. Одиночество — не бег на месте, — продолжал он. — Одиночество — редкий шанс спокойно обдумать свою жизнь и принять правильное решение. Стяни с себя этот шарф, Каспар, и ты увидишь, что мир полон жизни! Он твой, Каспар! Возьми его! Ты сможешь!»

Закончив ответ, Вася вложил его в большой и гладкий (для официальных писем) конверт, крупными буквами написал адрес, посмотрел на часы. Было без пятнадцати два. Вася заторопился в *экспедицию* (место, куда со всех редакций стекалась готовая к отправке почта). Из экспедиции ее забирали два раза в день — в два и в шесть. Васе хотелось, чтобы его письмо ушло к Каспару Хаузеру в два, а не в шесть.

«Куда летишь?» — остановил взволнованного Васю на лестнице ответственный секретарь журнала — молодой писатель по фамилии Иванов.

Они как-то выпивали и закусывали *жареными перепелками* в подвальной мастерской художника на Башиловской улице. Иванов был с Васей приветлив и дружелюбен. Марина смотрела на них, отошедших к окну, как-то озабоченно покусывая губы и без конца разглаживая невидимую складку на свитере. В окно требовательно долбили клювами голуби. Похоже, художник их прикармливал, а потом, вероятно, ловил, и они превращались в тех самых перепелок, которыми его будто бы снабжал друг-охотник. Художник готовил из них очень вкусное жаркое. Иванов хлопал Васю по плечу, восхищался красотой и умом Марины, говорил, что Васе дико повезло, что она обратила на него внимание, вспоминал Гертруду Стайн и Хемингуэя, Зою Богуславскую (Вася не знал, кто это) и Андрея Вознесенского. Потом залпом выпил фужер вина, обглодал хрустящее крылышко *перепелки,* ободряюще подмигнул Васе и ушел, скользяще поцеловав на ходу Марину в щеку. Вася остался, но Марина в тот вечер была рассеянна, отказалась угощаться *жареной перепелкой,* отвечала как-то невпопад. У Васи сложилось впечатление, что мыслями она не здесь и не с ним.

«Охота тебе с ним париться?» — спросил Иванов, разглядев (его трудно было не разглядеть) адрес на глянцевом конверте.

«С кем?» — удивился Вася, в недоумении опустив глаза на конверт. Он не был похож на банный веник.

«Да с этим придурком, который подписывается Каспаром Хаузером?»

«А… что?» — пожал плечами Вася, выигрывая время для осмысления слова «подписывается».

«Второй год долбит нас бредовыми рассказами, хоть бы сменил псевдоним, что ли? За кого он нас принимает?» — продолжил Иванов.

«За кого?» — Вася обычно так переспрашивал преподавателей на зачетах и экзаменах, когда не вполне понимал, что они имеют в виду, но чувствовал подвох. Иногда срабатывало. Мнимая тупость оборачивалась благом. Преподаватели подсказывали против собственной воли.

«За неграмотных идиотов, — объяснил Иванов, — которые не знают, кто такой Каспар Хаузер!»

«Собственно, об этом я и…» — пробормотал Вася.

«Не регистрируй его письма, — посоветовал Иванов, — сразу в корзину!»

«Спасибо, что предупредил. Это последнее, — помахал в воздухе конвертом Вася. — Не пропадать же семидесяти пяти копейкам!» — подмигнул ответственному секретарю.

Но пошел не в *экспедицию,* а на пятый этаж в *библиотеку* журнала «Огонёк», где схватил с полки «Энциклопедический словарь»:

«Каспар Хаузер (нем. Kaspar Hauser / Casparus Hauser) 30 апреля 1812 — 17 декабря 1833. Известный таинственной судьбой найденыш, одна из загадок XIX столетия, «Дитя Европы»… В психиатрии синдромом Каспара Хаузера называется психопатологический симптомокомплекс, наблюдаемый у людей, выросших в одиночестве и лишенных в детстве общения… Необычная судьба Хаузера нашла отражение в нескольких произведениях литературы и кинематографа. Поль Верлен написал от его имени стихотворение «Каспар Хаузер поет» (1881), отождествив себя с героем. В 1909 году Якоб Вассерман написал роман «Каспар Хаузер, или Леность сердца», взяв за основу романтическую историю о королевском происхождении Хаузера. В Каспаре Хаузере автор вывел чистого сердцем человека, доброго и благородного от природы, — своего рода вариант Алеши Карамазова. Чистым, непосредственным восприятием своего героя Вассерман проверял догмы религии, нравственные установления, человеческие взаимоотношения. Простодушные ответы Каспара ставят в тупик и приводят в отчаянье его наставников. Брошенный в водоворот жизни, он испуган огромным и жестоким миром, открывшимся перед ним. Так и не сумев привыкнуть к людям, к их морали, философии, он остается одиноким и непонятым».

Вассерман, Вассерман… Вася захлопнул словарь, озадаченный вербальной близостью собственного имени и неведомого немецкого писателя, о существовании которого он, как и о настоящем Каспаре Хаузере, еще десять минут назад не знал. Зато знал, что положительная *реакция Вассермана* на взятую из вены кровь означает сифилис. У Каспара Хаузера была отрицательная реакция на мир, то есть он был… здоров? Весь *мир болен,* а *он один… здоров?*

Вернувшись в кабинет, Вася спрятал письмо в ящик стола. Он решил отправить его, как отрезать, в последний день практики.

Неожиданные мысли о сифилисе, похоже, нарушили пространственно-временной континуум сновидений. Писатель Василий Объемов вдруг (опережающе) увидел себя на трибуне конференции по состоянию русского литературного языка, может, и какой-то другой, но точно литературной, потому что в первом ряду (сомнений быть не могло) сидели пожилые бородатые писатели с выраженным похмельным синдромом на лицах. Им-то в потные лбы, в растрепанные бороды, в прокуренные желтые зубы и бросил Объемов не *стих, облитый горечью и злостью,* но выстраданные (в жизни) и отшлифованные (во сне) до кристальной ленинской ясности слова: *«Писатель достигает высшей свободы самовыражения не тогда, когда*

его книги никому не нужны, а когда ему некому дать прочитать только что законченное произведение!» Самое удивительное, что одна из бород успела выкрикнуть, а Объемов успел услышать: *«У Лескова — «Некуда», а у тебя — «Некому», но ты не Лесков! Ты...»*

Вася (во сне) так и не узнал, кем стал *(во сне же)*, то есть почти что в *снегу* (детских писем?) *писатель Василий Объемов*, кроме того, что не стал Лесковым. Устремив взгляд поверх писательских лысин и бород, он увидел очередной падающий белый конверт. Если прежние конверты спускались вниз медленно и плавно, как бы подчиняясь неслышной (небесной?) гармонии, этот летел вниз страшно и неотвратимо, как белый (керамический, то есть усовершенствованный?) нож гильотины. Вася едва успел от него увернуться.

Вскрывать гильотинный конверт необходимости не было. Он вскрылся сам, не дожидаясь машинки. Можно было лишь радоваться, что при этом гильотинный конверт не *вскрыл* (а ведь мог!) Васю.

Он сразу вспомнил его, густо заклеенный марками *«XXIII Международный конгресс по пчеловодству. Москва. 1971. Почта СССР. 6 коп».* На фоне желтых сот пчела выбирала нектар из полевого цветка. По верхней части конверта как будто протянулась медовая полоса. Помнится, когда он укладывал письмо на железную ладонь вскрывающей машинки, Васе показалось, что пальцы у него стали липкими, а по кабинету распространился запах меда, пересиливший запах пота Светы (к тому времени он уже не казался Васе горячим и будоражащим).

Но он сразу забыл про состязание запахов, сняв конверт с машинки, вытащив письмо и прочитав название... *сочинения на свободную тему,* так определил жанр присланного текста автор. Воистину детское литературное творчество было шире существующих стереотипов.

Много лет назад стажер отдела писем журнала «Пионер» Вася Объемов, воспользовавшись советом ответственного секретаря, не регистрируя, отправил в корзину это, с позволения сказать, сочинение, подписанное (опять псевдонимом!) *Белая Буква.* После Каспара Хаузера Васю стали злить тексты, подписанные псевдонимами. Он не порвал в клочья произведение *Белой Буквы* (по нежным завиткам почерка и изображению длинноволосой в короне принцессы на обороте последней страницы Вася определил, что автор — девочка), но изощренно пропустил его через машинку. Превращенное в бумажную вермишель *письмо* как будто и не приходило в редакцию. Хватит мне одного *Каспара Хаузера*, решил тогда он, задумчиво глядя на скучающую за своим столом Свету. Он обратил внимание, что в пасмурные дни запах пота усиливался и становился совершенно нестерпимым перед началом дождя. Сейчас, судя по всему, дело шло к грозе. Ей бы на метеостанцию, подумал Вася, работала бы живым барометром, чего она здесь сидит?

Он не знал, изменяются ли *во времени и пространстве*, то есть *во сне*, некогда прочитанные и забытые тексты. Восставшее из небытия сочинение на свободную тему возникло перед его глазами. Вася словно читал его с компьютерного экрана. Рукописи не горят, вспомнил (во сне) и дополнил великого Булгакова Вася: они *сжигают* тех, кто думает, что *сжег* их, или... превратил в бумажную вермишель. А еще они, усмехнулся, перейдя на современный телевизионный жаргон, *зажигают* сквозь *пространство и время.* Он попытался зажмуриться (во сне) и чуть было не задохнулся от... давно забытого запаха девичьего пота, как если бы в небе (по Булгакову!) собиралась жестокая гроза, а Света стояла у Васи за спиной и тыкала его носом в компьютерный экран: «Читай!»

Весеннее волшебство

(*сочинение на свободную тему*)

Берлин. 30 апреля (понедельник). 15.10. Рейхсканцелярия. Комната в подземном *Фюрербункере.* Бетонные стены. Простая железная кровать. Письменный стол. Над столом портрет композитора Вагнера у рояля. За столом пожилой человек в полувоенном кителе песочного цвета читает заверенный печатями на гербовой бумаге документ — *«Testamentsurkunde» (Завещание).* На столе — позолоченный пистолет «вальтер» калибра 7,65 с золотой монограммой *«A. H.»* на рукоятке.

Читает, поправляя очки, вслух: *«Все, чем я владею, если это вообще имеет какую-то ценность, — принадлежит партии. Если она перестанет существовать — государству. Если же будет уничтожено государство, то какие-либо распоряжения с моей стороны будут уже не нужны...»*

Кладет страницы на стол, передергивает затвор, снимает пистолет с предохранителя. Подносит ко рту. Опускает, морщится. Подносит к виску. Вопросительно смотрит на портрет Вагнера. Согласно кивает, как бы получив одобрение. Продолжает читать:

«Исполнителем завещания назначаю... (пауза). *Ему разрешается передать все, что представляет ценность, как память обо мне или необходимо для скромной буржуазной жизни моим сестре и брату, а также матери моей жены и моим преданным сотрудникам и секретаршам...»*

Положив завещание на стол, снимает очки, убирает в карман френча. Берет пистолет, встает из-за стола, садится на кровать. Подносит «вальтер» к виску. Зажмуривается.

Громкий стук в дверь. Слышны женский и мужской голоса. Мужской голос звучит громко и требовательно. Человек в песочном кителе убирает пистолет в карман брюк, встает с кровати, открывает дверь. На пороге его личный адъютант — штурмбанфюрер СС Отто Гюнше. За его спиной Ева Браун. Человек в песочном кителе вопросительно смотрит на Гюнше.

Гюнше. В это трудно поверить, мой фюрер, но это случилось. Они здесь.

Гитлер. Русские?

Гюнше. Нет, мой фюрер. Инопланетяне. В саду канцелярии приземлился их корабль. По виду они... настоящие арийцы, говорят по-немецки. Но могут и по-русски. Вокруг корабля непроницаемый для снарядов купол. Это надо видеть, мой фюрер, снаряды отскакивают от него, как мячи от стенки.

Гитлер. Могут и по-русски? *(Пауза.)* Ну да, сейчас в мире только два языка. Но оба обречены. Мир будет говорить на английском.

Гюнше *(волнуясь).* Их общественное устройство схоже с нашим. Они одобряют германские расовые законы и идеологию. Они там... у себя взяли власть несколько тысяч лет назад. Их цивилизация непобедима. Они могут все! Один из них положил руку на срезанную снарядом яблоню, ту, которую вы посадили весной тридцать третьего — *«Бребурн»*, она мгновенно пошла в рост, зацвела, я видел, как вокруг нее летали пчелы, а потом... на ветках появились яблоки. Вот *(протягивает два больших спелых яблока)*. Попробуйте, они очень вкусные.

Гитлер. *(глядя на яблоки)*. Что им надо?

Гюнше. Они прилетели засвидетельствовать свое уважение и попрощаться.

Гитлер. Почему так поздно?

Гюнше *(растерянно).* Поздно... что?

Гитлер. Для нас поздно. Если они могут все.

Гюнше. Доктор Геббельс сразу спросил, какую помощь они готовы нам оказать. Смогут ли они отбросить русских хотя бы за Одер?

Гитлер. Он не спросил, почему они не помогли нам раньше — под Москвой, под Сталинградом, под Курском? Хотя бы под Будапештом!

Гюнше. Они… наблюдали. Изучали людей, так они сказали. Они очень благодарны нам за… *материал,* который мы обеспечили им на полях сражений в неограниченном количестве. Они внимательно следили за генетическими, фармакологическими и антропологическими исследованиями наших ученых в… лабораториях Биркенау, Берген-Бельзене, особенно в Штутгофе. Они восхищены полученными результатами. Они считают, что это прорыв в будущее. И еще сказали, что мы им очень помогли.

Гитлер *(равнодушно).* Поблагодарите их за яблоню и закройте, наконец, дверь. Уберите фрау Гитлер! Войдете сразу после… Если увидите, что… Вы знаете, что надо сделать. И уведите, наконец, отсюда фрау Гитлер!

Гюнше. *(торопливо).* Мой фюрер, я не сказал главного. Они готовы спасти…

Гитлер *(раздраженно).* Немецкий народ? Рейх? Европу? Вселенную?

Гюнше. Доктор Геббельс задал им и этот вопрос, мой фюрер. Они ответили, что человечество пока не готово принять наши идеалы. Преждевременная и необъяснимая победа Германии в войне, по их мнению, нарушит ход истории. Германия слишком истощена, чтобы принять ответственность за судьбу человечества. Мы опередили время, слишком быстро и далеко забежали вперед. Надо остановиться, подождать. Через сто лет мир изменится, и тогда…

Гитлер. Меня не интересует, что будет через сто лет!

Гюнше. Они хотят спасти вас, мой фюрер.

Гитлер *(с иронией).* Каким образом? Спрячут в Антарктиде на секретной базе этого сумасшедшего Ричера? Возьмут на Марс, или откуда там они прилетели? У меня мало времени! Я не могу ждать… сто лет.

Гюнше. Доверьтесь им, мой фюрер! Они все предусмотрели. Это единственная возможность сохранить вашу бесценную жизнь для нашего общего дела! *(Вталкивает в комнату… точную, как отражение в зеркале, живую копию Гитлера.)*

Гитлер *(оценивающе рассматривает двойника).* Да, этот хорош, гораздо лучше остальных. Даже руки дрожат в моем ритме. И пигментное пятнышко на шее… У него тоже свистит в правом ухе? Отто, мы уже обсуждали этот вариант. Я не изменю своего решения. *(Исступленно кричит.)* Оставьте меня в покое!

Гюнше *(выхватывает пистолет, наводит на Гитлера).* Нет, мой фюрер, вы пойдете со мной! Они ждут. Ваша жизнь нужна несчастной Германии! Я не позволю вам…

Гитлер *(спокойно и с иронией).* Осторожно, Отто, не урони яблоки. И потом, ты ведь можешь *(быстро обходит двойника, встает с ним рядом)* нас перепутать.

Гюнше. Это невозможно, мой фюрер, они сделали вашу копию из вестового, убитого утром русским снарядом. *(Кладет яблоки на стол.)* Труп не успели убрать. Он здесь для того, чтобы… *(Подходит к двойнику.)* После того как я положу ему руку на плечо *(кладет руку на плечо двойника)* и нажму вот здесь… *(Нажимает большим пальцем на подбородок.)*

Двойник молча садится на кровать, достает из кармана позолоченный «вальтер» с монограммой *«А. Н.»* на рукоятке, стреляет себе в висок, завали-

вается на кровать. Из простреленного виска льется, пульсируя, кровь, окрашивая подушку и покрывало.

Г ю н ш е. Вы не можете здесь оставаться! Вас больше нет! У нас *(смотрит на часы)* осталось три минуты. С вами… *(Переводит взгляд на труп двойника, поправляется.)* С ним сделают все, как вы приказали. Канистры с бензином в саду под яблоней. Мы должны уйти, мой фюрер, пока сюда не вернулась фрау Гитлер.

Г и т л е р. Ты сказал *(кивает на двойника)*, они сделали его из убитого вестового. Почему им не сделать нового вестового из меня? Из меня бы получился неплохой… вестовой.

Г ю н ш е *(в отчаяньи).* Мы теряем время, мой фюрер! Возможно, они сделают из вас вестового, но не здесь и не сейчас! Они не хотят оставлять вас в Берлине, даже превратив в другого человека, потому что вы все равно погибнете. Шансов нет. Они знают будущее! Они могут взять с собой только одного! Они бы взяли нас всех, но это невозможно. Я не знаю, какую они используют энергию, но она у них на исходе. Так они объяснили.

Г и т л е р *(пристально смотрит ему в глаза).* Они сказали, что будет с тобой, Отто?

Г ю н ш е *(растерянно).* Я… не спрашивал, мой фюрер. Моя жизнь не имеет значения, когда решается судьба Германии!

Г и т л е р *(уверенно).* Ты будешь жить долго. Я рад за тебя, Отто. Ты своими глазами увидишь, во что превратится Европа, и может быть…

Г ю н ш е *(умоляюще)*. Время!

Г и т л е р. Вы обещаете, штурмбанфюрер, что…

Г ю н ш е *(перебивает)*. Обещаю! Какое бы решение ни приняла фрау Гитлер. Возьмите яблоки, мой фюрер!

Г и т л е р. Одно. Второе отдайте Еве.

Выходят из бункера.

(Занавес)

Белая Буква (7 «б» класс, школа № 169, г. Ленинград).

Окончание следует.





Геннадий ПАШКОВ

Эхо журавлиных голосов

Хата

В тени берез,
зардевшихся рябин,
где травостой и выцветший шиповник
и где в кустах судачат воробьи
о чем-то доверительно-любовно,
увидишь хату.
Дряхлая она:
на мир глядит безропотно, печально.
Ютится за деревнею — одна,
не значится и в «плане генеральном».

Но на нее
ты молишься в ночи —
покуда с головою все в порядке —
за тот огонь, что теплится в печи,
за огурец хрустящий прямо с грядки,
за дивных песен грустный перезвон.
И вечностью неслышно повевает.
Как будто в детстве, ива над прудом,
посаженная прадедом, встречает.

И тут так много остается нам.
И я уже подумываю часто:
смогу ль, потомки, я оставить вам
хоть что-нибудь,
что тлену не подвластно,
когда, пройдя земные все пути,
не уповая на свою судьбину,
сказав себе: «Лети, мой друг, лети!..» —
вслед устремлюсь за клином журавлиным?

* * *

За перекрестками дорог,
в прохладе житнего раздолья,
нашел я радость и приволье
вдали от суетных тревог.

В лучисто-светлом теплом мареве
колосьев струнились усы,
и всей гармонии, красы
не описать словами-чарами.

Земля, как матери ладонь,
была легка и пахла хлебом,
и василек над головой
мне голубым казался небом.

И вдруг почудилось: опять
я начинаю жить сначала,
срывая тайную печать
со всех канонов обветшалых.

И не забыть сквозь призму лет
тот образ радости глубинной,
где дремлет чувств невинных свет,
где легкость крыльев голубиных.

* * *

О чем шумят деревья надо мной?
И почему печаль в зубрином рыке?
Ступаешь ты —
и светится зарей
немного перезревшая брусника.

Ступаешь ты —
задумчивость в глазах.
Ступаешь ты —
и все сомненья лишни,
что ты любовь
до донышка отдашь
тому всему,
что создано
Всевышним.

Мы гости здесь,
ребенок и старик,
и даже лес,
запруды и затоки…
И каплею соленою, как жизнь,
печет слеза
обветренные щеки.

Не потому, что ты
не вечен тут
и что твой след
со временем

растает,
а потому,
что твой родимый кут
быть щедрым на любовь не перестанет.

На земле извечной

Живопись осеннего пожара.
Графика заснеженных лесов.
А над полем — чибис,
а в стожарах —
эхо журавлиных голосов.

В этом мире, средь берез и сосен, —
сколько мне отпущено прожить, —
буду слушать птиц многоголосье,
не устану верить и любить.

Ну, а сердце биться перестанет, —
никому плохого не суля,
я в природе все-таки останусь
под извечным именем Земля.

Первый лист и первые метели…
Горьких слез, пожалуй, не сдержать,
что так быстро годы пролетели
и печальных дней не избежать.

В этом мире, средь берез и сосен, —
сколько мне отпущено прожить, —
буду слушать птиц многоголосье,
не устану верить и любить.

Сорочка от Бронислава Спринчана

Словно родимого поля
белотуманную дочку —
поэт подарил мне,
как долю,
вышитую сорочку.

С радостью
принял подарок,
словно сонет возвышенный.
А полотно ведь
мама
поэта Спринчана
вышила!

На Украине…
Льняное…
Будто бы небо, чистое.
Новое чудо земное —
снежно-искристо-лучистое…

Вот и храню до сих пор
светлый подарок поэта.
Давний славянский узор —
как пробужденье рассвета.

Если гнетут холода,
тучей беда нависает,
эта сорочка тогда,
словно кольчуга,
спасает!

В Пильковщине

Небеса не хмурятся осенние,
далеки еще предзимья дни.
Вновь дубы встречают
за деревнею —
здесь уже хозяева они.

Подойди к колодцу обветшалому
и отведай
пильковской воды.
Ты поймешь,
что в жизни неслучайно все:
этот лес,
и стежки,
и сады…

Да и разве может быть иначе?!
Как же край нам этот не любить,
где, желая каждому удачи,
из глубин,
из неба
можно пить?!

Прощальные костры

Горят по осени дубы,
и мысли
навевают:
все то,
чем жил

и что любил,
куда-то исчезает.

Хожу, ищу меж поздних трав
твои следы, любимая.
Гори, костер,
не догорай
за тихой луговиною.

С другими быть я не люблю,
все дни тобой согреты.
Я листья желтые ловлю,
они подскажут —
где ты.

Печаль уносят журавли
широкими
просторами,
а здесь, на краешке земли,
твой путь пылает зорями.

Хожу, ищу меж поздних трав
твои следы, любимая.
Гори, костер,
не догорай
за тихой луговиною.

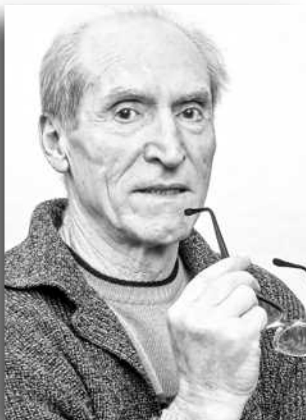
Поэт и Людмила

Есть Поэт.
Есть и та, что его вдохновила.
Назовем же ее по-славянски —
Людмила.

Высота!
И простор!
И прекраснее нет!
И чарует Людмила,
коль рядом — Поэт.

А как песня вдали
зазвенит
сизокрыло,
не гадайте, —
Поэт,
если рядом —
Людмила!

Перевод с белорусского Миколы ШАБОВИЧА.



Олег ЖДАН-ПУШКИН

Последний друг

Рассказ

Редактор был старый, въедливый, он надоел за долгие годы всем — и авторам, и сотрудникам, даже дежурному милиционеру на входе, и почему его до сих пор не отправили на пенсию, было неясно. Может быть, стеснялись: как объявить, что — хватит, проел плешь, иди к внукам, и вообще… Но стыдно обижать старых. Хотя, с другой стороны, какой стыд у начальства? Начальство — это не люди, это должности. А если должности, то и обязанности должностные. А если не разумеют этого, значит, такое начальство.

Так думал один из авторов журнала, Сергей Королевич, приближаясь к редакции. Месяц назад он отдал на чтение повесть и теперь шел за ответом. Предчувствие было отвратительным. Королевич считал себя человеком смелым и независимым, но тогда, месяц назад, отдавая рукопись, вдруг неожиданно для себя заулыбался, хотя давно ненавидел Редактора, и сказал тонким голосом: «Хорошо бы к Новому году… В январе у меня юбилей…» На что Редактор равнодушно сострил: «А у тещи когда? А у тестя? — Однако тут же добавил: — Хорошая повесть не залежится. Позвони через месяц». Он почти всем говорил «ты», к этому привыкли, поскольку — возраст, не обидно, да он и сам был не против, если и к нему — запросто, мол, и он молодой. Вот и Королевич, хотя был намного моложе, но все же дожил до возраста юбилеев, имел право на «ты». А когда Королевич уже уходил, Редактор вдруг спросил: «Тебе сколько будет?» — «Шестьдесят», — приостановился в надежде на продолжение разговора. «А мне, когда исполнилось шестьдесят, думалось, жизнь заканчивается. Оказалось — нет, можно жить», — поделился таким вот никчемным воспоминанием и уткнулся в очки с толстыми стеклами. В профиль, над рукописью, он выглядел совсем старым. Противным.

Когда-то в далекой молодости работа в редакции казалась Редактору, а тогда еще просто автору, самой лучшей из всех возможных. И когда его пригласили работать в журнале в отделе прозы, был счастлив. Исполнилось почти все, о чем мечтал: общался и разговаривал о литературе с писателями, читал рукописи, порой — что скрывать — публиковал вне очереди свои рассказы и вдобавок получал за собственные удовольствия зарплату. Все это нравилось ему до сих пор, потому и не уходил на пенсию. Ладно, опубликую этого несчастного и уйду. Хватит. Так размышлял Редактор, тупо глядя на дисплей в ожидании Королевича.

Вчера исполнился месяц с той встречи, и Королевич позвонил. «А-а, — тотчас узнал по голосу Редактор, — прочитал, приходи». — «Ну и как? Надежда есть?» — «А как без надежды? Надежда была даже в ящике Пандоры», — он любил ввернуть что-нибудь из Большой Советской Энци-

клопедии, а в нынешние цифровые времена — из Википедии. Произнесено это было опять как бы шутя, но сегодня чувства юмора не было ни у одного, ни у другого, оба почувствовали неуместность шутки и теперь мрачно ждали встречи. Дело в том, что Королевич уже несколько раз приносил свои рассказы, но Редактор их без особых объяснений отклонял. Дескать, слабо, дескать, не наш жанр, не наш формат. Нынешнюю повесть Королевич шлифовал, как ювелир алмаз перед продажей, и очень рассчитывал на публикацию и признание писательским сообществом. Ее прочитали несколько друзей, даже известный писатель Солонец, и все одобрили, поздравили с успехом. Одобрила даже собственная жена, хотя обыкновенно посмеивалась над его писаниями. «Напечатаю, — решил он, — и сразу разведусь». В самом деле, сколько можно терпеть. Вот только Редактор… Королевич, словно между прочим, сообщил ему, что рукопись прочитали и одобрили друзья, даже Солонец, на что тот заметил: друзья друзьям бессовестно лгут. Правду говорю только я. Ну, и что ты скажешь на такую наглость? Маленький ничтожный бонапарт.

В общем, ожидания от предстоящей встречи были не радужные.

Однако улыбнулись друг другу. «Садись», — Редактор ткнул на заранее приготовленный стул, стоявший бочком к столу, как на приеме в поликлинике. И начал листать рукопись. Королевич тотчас увидел какие-то записи на полях, вычерки, стрелки, перемещающие фразы и целые сцены, и начал закипать. Надо сказать, что один из его знакомых, даже как бы приятелей, узнав, что рукопись у Редактора, ахнул-охнул. «Пропала твоя повесть! — произнес весело и уверенно. — Скажет «не формат». Или так ее изрисует… Не узнаешь. Он тупой, как ты этого не понимаешь?» Тут дело в том, что в минувшем году он опубликовал в журнале рассказ, но нервы Редактор ему попортил, изуродовал хорошее произведение. «Что сделаешь? — с унынием пробормотал Королевич. — Другого журнала нет». — «Надо было идти к Главному!» — «Поздно», — мрачно отозвался Королевич.

Да, предсказание сбывалось. На одной из страниц Редактор остановился. «От Минска до Крыжовки, — громко зачитал он, — восемь километров на электричке». Зачитал и ждал, пытливо глядя в глаза. «Ну, — отозвался Королевич, не сообразив от ненависти, о чем речь. — Ну, может, девять». — «А если на велосипеде?» — «Не понял». — «А если пешком? Тогда сколько? Двадцать?» Королевич молчал. «Дальше, — продолжал Редактор. — Что это? Твой герой женится? С чего вдруг?» — «Так бывает в жизни», — ответил Королевич, чувствуя приближение чего-то ужасного. «В жизни бывает, а в художественном произведении не должно быть, — произнес поучительно, с явным удовольствием. — Сцену надо выбросить...»

Это и была точка взрыва.

— Нет! — закричал Королевич. — Никогда! Ни одного слова! Нет!

Схватил рукопись и понесся по коридору. Залетел в один кабинет, второй, третий, вскочил к Главному Редактору.

— Смотрите, что он сделал с моей рукописью! Смотрите! — листал перед его глазами страницы. Листки падали на пол, Королевич ползал за ними под столом и готов был уничтожить всех, включая Главного.

Но Главный молчал.

— Я давал ее читать многим, даже Солонцу, он сказал — гениально!

Главный молчал. То есть, молчала Должность. Он был молодой и красивый. Больно ему интересны и Редактор, и Королевич.

Королевич вылетел из кабинета и — вон, на улицу, к людям. Здесь сияло солнце, неслись машины, мигали светофоры, не было никаких Редакторов — здесь было хорошо.

И все же нужно было пообщаться с кем-то из понимающих, еще раз укрепиться в своей правоте и ненависти. Может быть, зайти в Союз писателей? Он постоял у Дома литераторов, подумал о том, с кем бы там можно поделиться переживаниями, и никого не выбрал. Там сидят благополучные люди, которым глубоко наплевать на рукопись какого-то несчастного автора. Да и Редактор тоже из их дружной компании. На душе стало совсем тошно. Шагнул к парку Горького и тут увидел старого знакомого, писателя Губарева — торопливо шагал с тяжелой сумкой в руке.

— Гриша! — позвал.

В общем, хотя Губарев спешил куда-то, через несколько минут они сидели за столиком уличного кафе, и Королевич под столом разливал коньяк, который купил в ближнем магазине. Губарева ему, как говорится, Бог послал. Дело в том, что год назад он предлагал журналу роман, действие в котором происходит в следующем веке, но уже через неделю Редактор позвонил и сказал, что, во-первых, журнал фантастику печатает только в исключительных случаях, во-вторых, это и не фантастика, а фантасмагория, в-третьих, объем романа 16 листов. Так что и читать не буду. Сократи вполовину и приноси, тогда «будем посмотреть». Понятно, сократить можно, но где гарантия, что напечатают? Гарантии нет. А что такое исключительный случай? В чем четкая разница между фантастикой и фантасмагорией?.. Что за дурацкий юмор — «будем посмотреть»? Короче, Губарев послал повесть в Москву, в очень крупное, даже знаменитое, издательство — надо утереть Редактору нос, и теперь ждал ответа. И когда Королевич рассказал о своей сегодняшней встрече, оба пришли к единому мнению: Редактор мудак.

Что ни говори, а легче на душе, когда поговоришь с умным человеком. К сожалению, Губарев торопился, как оказалось, на дачу, и скоро стал извиняться, мол, должен идти. Что ж, надо так надо, хотя мог бы и посидеть со старым другом. Равнодушно простились.

Что делать с ополовиненной бутылкой? Нести в руке? Сунуть в карман? Хорошо бы зайти в редакцию и грохнуть на стол: «На! Это тебе за труды!» Однако для такого шага нужны соответствующее настроение и состояние. Сунул бутылку в карман. Подумал, что выглядит с оттопыренным карманом, как алкаш. И наплевать.

Но Редактору надо отомстить. И он знал — как.

Собственно, месть уже была приготовлена. Журнал он читал регулярно и внимательно, особенно первую его половину, то есть, беллетристику. Что-то нравилось, что-то оставляло равнодушным. Но полгода назад появилась в журнале повесть довольно известного писателя Споровского «Волки», которая возмутила его и непонятной философией своей, и деталями быта охотников: что-что, а охоту Королевич знал с детства. Он тотчас начал писать рецензию на повесть, обвиняя автора в незнании проблемы, за которую взялся, а еще больше — Редактора, за то, что повесть пропустил в печать. Рецензия получилась не просто разгромной, а яростной, и предлагать ее в литературную газету не стал — не опубликуют. Можно было поместить в фейсбуке или каком-либо литературно-критическом сайте, но пока решил повременить. Пока доста-

точно было того, что работа над рецензией принесла удовлетворение. А еще чувствовал — пригодится.

Между прочим, Редактор тоже пописывал рассказики. Публиковал под различными псевдонимами, но, конечно, близкий круг знал, кто есть кто, и если рассказ удавался, говорили: а что, старик еще ничего; а если оставлял желать лучшего, — что ж, возраст. Публиковал он свои рассказики раз в год. Обыкновенно ставил их на двенадцатый месяц, дескать, я человек скромный, выстоял очередь, в уголке года мне самое место. Но недавно написал повесть и сунул ее в первый номер, словно выкрикнул — вот он я! Здесь! А вы думали?.. — так вспоминал Королевич по дороге домой.

Его рассказы он не только читал — завел файл, в котором помечал все промахи Редактора — и в лексике, и в философии. Он окончил факультет философии Университета и промахи людей по этой части не прощал. «Подожди, — пробормотал Королевич, — я о твоих рассказах еще выскажусь. И скрываться за псевдонимом не стану».

Настроение у Редактора после встречи с Королевичем было неважное. Во-первых, повесть была неплохой, она хорошо становилась в очередной номер, во-вторых, он симпатизировал Королевичу — всегда дружелюбно здоровался, крепко пожимал ему руку, глядя, как и положено по этикету, в глаза. Казалось, и Королевич симпатизирует ему, потому и сказал: «Выбрось эту сцену, она ни к чему, в жизни так бывает, а в художественном произведении…» То есть, старо как мир: хотел как лучше. Хорошо было бы объясниться, но: «Нет! Ни одного слова!»

Зашел к Главному.

— К тебе Королевич заходил?

— Залетал, — уточнил тот.

— Ну и что?

— Ничего. Улетел.

— Так ведь забрал рукопись.

— Его право.

— Надо бы как-то помириться.

Главный пожал плечами. Заметно было, что и он не в духе.

— Тут одна девушка жалуется на тебя. Наталья Костикова. Говорит, семь рассказов тебе присылала — все отклонил. А последнюю повесть — похвалил и опять отказал.

— Так это не повесть, а синопсис. Есть начало, конец — и никакого развития. Почитай, она есть в почте.

— Да уж почитаю. Девица настойчивая.

— Если согласна еще поработать, пусть приходит. А хочешь — поставим как есть.

— Чего это мне хотеть? Не племянница… Просто много жалоб последнее время. Вот Шестопал со своим романом. Этот точно до министерства дойдет. А теперь еще и Королевич…

На этом с неудовольствием закончили разговор.

«Вообще-то писатели люди противные, — думал Редактор. — Никто так не жаждет известности и славы, как люди этой странной профессии. Скажи ему половину, даже четверть правды о его неудавшемся романе, не подстелив соломки, станешь врагом. И чем более знаменит автор, тем сильнее нена-

висть. Конечно, есть талантливые и терпимые, но их мало. Я тоже противный. А как же? Профессия вынуждает».

Работать не хотелось. Он постоял в рекреации, походил по длинному коридору. Молодые девчата, пробегая мимо, здоровались издалека — с полным почтением к возрасту.

Пора?

Работать не хотелось. Он постоял в вестибюле, походил по длинному коридору. Молодые девчата, пробегая мимо, здоровались издалека — с полным почтением к возрасту.

Пора?

Королевич проснулся среди ночи с ощущением обиды, даже унижения, поискал в памяти причину и вдруг почти въяве увидел Редактора. Вспомнил, вскочил, нашел рукопись, начал листать, не задерживаясь на пометках. Подрагивали руки от ненависти, казалось, и в самом деле — кипит кровь. Нет, нельзя позволять править такой совершенный текст. Разорвал рукопись на мелкие куски и с отвращением швырнул в мусорную корзину. Включил принтер и заново распечатал повесть. Вот так! И никак иначе! Ни одного слова! Никогда!

Свою рецензию на «Волков» тоже распечатал — крупно, жирно, с выделением курсивом слов и целых абзацев. Прочитал несколько начальных фраз… Хорошо!

Он знал, что должен сделать. Нужно только дождаться утра. Нельзя прощать.

Нет, не спалось. Теперь мусорное ведро стояло перед глазами. Он вскочил, в трусах выскочил с ведром на лестничную площадку, вывалил корзину в мусоропровод. Сразу стало легко. Даже Редактор не мельтешил перед глазами. В минувшем году он опубликовал в журнале свою историческую повесть из жизни одного из регионов Беларуси. Королевич читал внимательно и — ликовал. Все это, скорее всего, было не так. Не те отношения, не та культура, не тот быт, не та война, не та лексика. Какие — не знал, но чувствовал: не такие. И все это он выскажет ему. Купил несколько жирных цветных фломастеров и разрисовал публикацию, подчеркивая каждую сомнительную строку.

Пусть знает. Нужно лишь выбрать момент, чтобы сразить его наповал. Это время пришло.

Жена проснулась, заглянула к нему в кабинет.

— Чего не спишь? — зевнула во весь большой рот.

— Пишу рецензию, — сказал он с надеждой.

— Делать тебе нечего, — и зевнула опять.

Всякий раз надеялся, что она заинтересуется его работой. И каждый раз в ответ получал зевок. Надо разводиться. Пора.

Редактор тоже проснулся среди ночи, но не потому, что вспомнился вчерашний случай, а просто по возрасту. Такое случалось в последние годы без всякой причины довольно часто. Однако проснулся и вспомнил Королевича. Ах, черт, произнес про себя, повесть неплохая и человек неплохой, надо было помягче с ним, как-нибудь доверительнее… Авторы — человеки ранимые, что-что, а это он знал хорошо. Похвали его сперва — и любая критика окажется приемлемой. Но Королевич — автор с опытом, не новичок в литературе, сам должен увидеть, что эпизод с женитьбой героя — нелепость. Что ж, и его надо было похвалить сперва? А может, пожать руку, обнять? Расцеловать?

И еще один недавний редакционный случай беспокоил Редактора. Молодой парень, почти мальчишка, попросил прочитать его сказки для детей. Не надо было браться, сказки — не дело их редакции, дети — чужой контингент. Но взялся. Несколько сказок оказались интересными, даже оригинальными, но в целом рукопись не готова к изданию. «Знаешь что, дружок, — сказал Редактор, — сказки твои неплохие, но рановато тебе писать. Зелен ты и бледен. Жизнь для тебя пока — сказка. Приходи через пять лет». Взглянул на мальчишку — слезы стояли в глазах. «Что я такое сказал? — подумал Редактор. — Какое имею право? Может, передо мной юный гений?!» Долго смотрел ему вслед.

Молодых писателей Редактор понимал. Литературная работа кажется им простой и приятной. Думают, что все пойдет как по маслу. Но занятие это не только тяжкое, но и почти безнадежное. Вон сколько отвергнутых рукописей в шкафу, на полках — сотни. И в каждой из них — ожидание признания, славы и денег. «Да, знаем, гонорары нынче ничтожные, но все равно дайте — как подтверждение нашего успеха. Мы положим их под стекло и будем любоваться всю жизнь. Впрочем, ладно, денег не надо, а славу дайте…» Молодые пишут вечерами, старики-пенсионеры днем. Порой, если захватит врасплох вдохновение, по ночам. И дело Редактора все это читать и править, читать и править. Может быть, за долгие годы он все же перестал сочувствовать авторам? Но сильно ли сочувствует хирург своим пациентам? И что если, лежа на операционном столе, увидев скальпель, больной спрыгнет со стола: «Нет! Никогда! Ни за что!..»

Между прочим, удовольствия в его ежедневной работе тоже случаются. К примеру, если позвонит какой-нибудь библиотекарь, или писатель, или рядовой читатель и скажет: хороший получился выпуск, молодцы. А неприятности? О, это всегда пожалуйста.

Несколько дней назад пришла роскошная дама за ответом на свой детективный роман, который оставила в редакции три года назад. Запись о романе Редактор сделал в свое время в специальной тетради и отослал рецензию по адресу, но теперь дама потребовала рукопись. Где ее искать, если прошло три года? «Но у вас же есть электронная копия. Давайте мы ее распечатаем для вас», — предложил Редактор. «Нет! — ответила роскошная дама.— Отдайте мне именно ту рукопись, которую я вам прислала, не то я вам такое устрою… Я не от безделья из Гродно приехала. У меня лишних денег нет». Кажется, Дружинкина была ее фамилия, — дама с хорошо развитыми бедрами. В редакции имелось кресло с подлокотниками для почетных гостей, она поместилась в него в два приема — левое бедро, затем правое. По какому-то бесконечно устаревшему редакционному положению рукопись должна была храниться три года, и срок еще не вполне истек... Ждать дама не стала, вырвала бедра из кресла с помощью подлокотников и хлопнула дверью. Он искал ее рукопись весь день. Нашел. Написал новую рецензию. Очень хотелось отплатить за угрозы, но сдержался — все же женщина. Был бы мужик — задал бы жару. Даже пожелал ей удачи — не без яда, конечно.

Был в этом году и еще один непростой литературный случай: близкий человек, которого уважал за образованность, честность, за литературные и политические убеждения, принес роман, неудачный по всем параметрам — по сюжету, по образам, по главной идее. Счел необходимым сказать правду, как ее понимал. Приятельство завершилось.

Получив отказ публиковать рассказ или повесть, авторы некоторое время в редакцию не заходят, при встрече воротят, как говорится, носы. Но со вре-

менем обида затихает, тем более если поспевает новый рассказ… Еще немного — и можно протянуть руку.

Конечно, не все так грустно. Бывало, даже весело. К примеру, некий старик, никогда не занимавшийся сочинением рассказов, записал корявым почерком случай из своей партизанской жизни. Случай был интересный — опубликовали, с молодым портретом, с фотографией времен его партизанки. И старик явился поблагодарить, пожать руку, а заодно вручил нечто в пакетике из-под молока. «Тут есть для ваших внуков», — сказал. Редактор кивнул. А что было делать? Отправить с пакетиком восвояси?.. Поговорили несколько минут и простились. Не без любопытства Редактор развязал пакет. В нем в самом деле оказались две маленькие шоколадки для внуков, а еще четвертинка самогонки, два бутерброда с колбаской и соленый огурец. То есть, старик надеялся отметить с ним публикацию — не рядовое событие в его одинокой жизни… Нет, весело не было, когда рассматривал этот подарок, было грустно. О чем-то печальном говорил он.

Возможно, нынешний век со временем назовут веком коррупции. Даже ему, Редактору, некий бесталанный автор предлагал перевести после публикации гонорар на домашний адрес. Это было смешно и нелепо. А вот интересно, если бы предложили миллион, взял бы я или нет?.. — подумал Редактор. Но поскольку ответа не было, решил: пускай несут, подумаем, что с ним делать, посмотрим… Только, пожалуйста, ни рублем меньше.

Да, пора уходить. Кто он, в сущности, в литературном процессе и мире? Мелкий чиновник. Кто-нибудь оценит его труд?

Вдруг вспомнил историю с Алешей Сокольниковым. Случилось это давно, но и теперь порой саднило в душе. Он долгое время считал, что авторы — даже те, рукописи которых отклонял, — его друзья или по меньшей мере приятели. До тех пор, пока не случилась эта история с Алексеем Сокольниковым, старым другом. Сокольников принес в редакцию две толстых папки исторического романа, осторожно положил на стол. «О Боже, — сказал Редактор, — это ведь «Война и мир» по весу. Мы не сможем опубликовать такое». — «А ты почитай, — сказал Сокольников. — Потом будешь говорить — сможем или не сможем». — «О чем роман?» — «О втором крестовом походе», — с неким тайным значением ответил Сокольников. «Желтые листья?» — неожиданно спросил Редактор. «Да!» И Редактор вдруг поперхнулся и засмеялся. Вынул платок и долго кашлял в него и сморкался, пытаясь скрыть глуповатый смех. Предложил старому другу кофе и даже плеснул в чашечку ложку коньяку, который всегда держал в шкафу на всякий случай, а прощаясь, проводил до двери и, словно извиняясь, крепко пожал руку.

…Они подружились на третьем курсе университета. У Сокольникова в то время была идея-фикс — написать роман о втором походе крестоносцев под названием «Желтые листья». Взахлеб говорил о будущих образах, извивах сюжета, событиях. «Почему «Желтые листья»?» — «Дело будет происходить осенью! Понимаешь, осенью!» — «А почему — о крестоносцах?» — «Это особенный период в истории Европы!» — «Но современные мотивы будут в твоем романе?» — «Плевал я на современные мотивы!» — отвечал Сокольников. С того времени прошло очень много лет. Казалось, та идея давно канула в вечность. Но если рукописи не горят, то идеи, видно, тем более не умирают. Оттого и прыснул Редактор, услышав название.

Он начал читать роман в тот же день и через несколько страниц почувствовал на лбу испарину: надежды на хороший текст таяли. А скоро и вовсе задумался: что делать? Как объяснить причину поражения старому другу? Про-

читал роман внимательно и решил вместо устного разговора написать рецензию — правдивую и откровенную. «Извини, Алеша, — сказал, пряча глаза. — В разговоре я не смогу все высказать. Читай, потом поговорим». Сокольников взял листок, не присаживаясь, прочитал рецензию и молча вышел.

Явился он на следующий день. С порога было понятно, что пьян.

— Ты сволочь, — сказал он. — Ты подлец! — Упал на стул и заплакал. — Что ты написал?! Какое имеешь право?! Кто ты такой?! Я работал над романом три года! Понимаешь? Три года! Я мечтал о нем тридцать лет!

Редактор молчал.

Мужские слезы — тяжкое зрелище, и все в редакции глухо молчали.

— Ты отнял у меня три года жизни! Да что там — три года! Ты отнял у меня более важное — надежду!

Похоже, не так уж он был пьян.

Невозможно было отвести глаз от его мокрого лица. Но, похоже, сам он не замечал, что плачет.

— Ты отнял у меня дружбу! Как ты этого не понимаешь? Ты был моим последним другом! Я больше никогда не приду к тебе! Я тебя никогда больше не увижу! Не поздороваюсь с тобой, не пожму тебе руку!.. Ты это понимаешь? Ты старый, у тебя больше никогда не будет друзей! Ты будешь жить один! Понимаешь?..

— Но что я могу сделать, Алеша?

— Не знаю… Я не знаю!

Ушел.

В редакционной комнате работали еще два человека — в отделе поэзии и критики. Оба они строго глядели на него.

— Плохой роман! — закричал Редактор. — Плохой!

Беда в том, что слезы Сокольникова были вызваны его паршивыми словами, его бессовестным решением.

Писатели работают по-разному. Одни уходят в молчаливое одиночество, другие жаждут немедленного успеха и с первых страниц начинают искать слушателей. Сокольников — молчал. А поскольку друзей у него не было, приходил в редакцию и время от времени давал понять, что пишет некий особенный исторический роман. И он, Редактор, одобрительно кивал.

Несколько дней спустя он позвонил Сокольникову. «Давай поговорим, Алеша», — предложил как мог спокойно и ровно. «Нет», — отозвался тот и положил трубку.

Вот теперь Редактор понял и почувствовал, что — виноват перед ним. Роман у Сокольникова безнадежно плохой, но виноват в слезах Сокольникова — он.

Почувствовал, что сегодня не уснет, и отправился к компьютеру посмотреть почту и новости. Да и светало.

Редактор сидел за компьютером, читал повесть молодого автора и не мог решить, что с ней делать: отклонить или принять, и переписывать многие страницы. Переписать — сослужить дурную службу автору, отклонить — погубить неплохую идею. В любом другом случае отклонил бы, если бы не, как говорится, личный контакт: молодой человек приходил в редакцию с трехлетней дочкой — кудрявым голубоглазым ангелом, — и Редактор по старости своей не мог ее забыть. Удивительной красоты была девочка. Кроме того, вдруг попросилась к нему на колени. И вспомнив это, решил: надо публи-

ковать. Сразу же позвонил автору: «Приходи, — сказал, — есть разговор. — И засмеялся: — С дочкой!»

В эту минуту и влетел Королевич в кабинет. Шмякнул на стол какой-то журнал, листки, распечатанные на принтере. «Читай!» — сказал, глядя в глаза. «Что это?» — «Мой тебе ответ!» — произнес, ликуя, и исчез, оставив после себя энергию зла.

Да, чтение было поучительное. Соглашаться приходилось со многим. Да, неглупо. Он, Редактор, был виноват перед журналом, перед читателями: ввязался в доработку той повести, а потом поздно было отступать. Помнится, внутренне оправдывал себя: есть необычные страницы о жизни волков, есть и попытки бытовой философии. Радовался, что критика не обратила внимания на эту публикацию. Казалось, проскочило, пронесло. Но и правда: нет ничего тайного, что не стало бы явным.

Одно было непонятно: почему Королевич только теперь показал рецензию? Чего ждал?

Что касается его собственных рассказов, жирно исчерканных Королевичем фломастерами в журнале… Нет! Никогда! Ни одного слова!

Однако что-то знакомое почудилось в этих словах. Кто-то их недавно произносил…

Нахмурился.

Выйдя из редакции, Королевич отправился в сторону парка. День стоял солнечный, в парке было полно детей, катались на качелях, каруселях и кричали, будто наступил всемирный праздник. Настроение у него постепенно менялось. Дело сделано, противник разбит. Все хорошо, он отстоял свои позиции. Все правильно. Конечно, в чем-то Редактор может быть прав, но… Нет, сомнений нет и не должно быть. Впереди — юбилей.

Мир, как известно, тесен. Один из них оказался в одном конце длинного коридора, другой в противоположном. Не встречались они больше месяца. Что делать? Улыбнуться и протянуть руки или как бы не заметить друг друга? Избежать встречи можно было только кинувшись сломя голову в туалеты, одному в мужской, другому в женский. Или развернуться на сто восемьдесят. Или одному — взлететь, другому — провалиться.

Но поздно.

Они сближались.





Александр РЫЖОВ

Жну листьев свет

* * *

Когда разрастаются верхние ветки у сосен,
Тогда отмирают те ветки, что ближе к земле.
Бор светолюбивых гигантов, как сад, плодоносит,
Окрест разливая хвоистую терпкость амбре.

И воздуха эта прозрачность, целебность, душистость
Сюда привлекает опять, и опять, и опять…
Есть люди, как сосны, с которыми рядом так чисто,
Что хочется подле стоять, и стоять, и стоять.

Мир сбывшихся снов

Мы на «после» и «до» мир с тобой поделили,
Наш простор и пространство всех прочих,
Мир несбыточных грез, пасторалей, идиллий
И мир сбывшихся снов и пророчеств.

Не сложились — умножились мы друг на друга,
Плоть одна больше двух единичек.
Квадратуру творящего целостность круга
Вычисляем почти что привычно.

От вчерашнего «до» в предстоящее «после»
Траектория неповторима.
Если любишь, то все и понятно, и просто,
И осуществимо.

Корень логоса

Обживаю язык, расширяя понятий пространства,
В обиход принимая значения новые слов,
Дегустируя звонкость отмеренных аллитераций,
Наслаждаясь эпитетом, что обжигающе нов.

Обживаю язык, обучаясь идей сочетанью,
От посылки до вывода путь совершая с трудом.
Так и сяк поворачивать вещь под названием «тайна»
Привыкаю, пока не откроется ларчик ее.

Обживаю язык, постигая, где логоса корень,
Бестелесности мысли даруя словесную плоть.
В бормотанье моем да поселятся истины споры
И приправит пускай речь мою благодати щепоть.

Обживаю язык, не стесняясь быть косноязычным,
Дорога Моисея и Павла компания мне.
Передать небывалое разве возможно обычным?
Чем острее и дальше зрит око, устам тем трудней.

Дождь

День подставляет послушную голову
Под расческу дождя.
Треснуло озера зыбкое олово,
Клен внезапно озяб.

Время застыть, замереть в созерцании.
Дождь разгладит лицо.
Мысли, отмытые до основания,
Красочней изразцов.

Их сбереги как сокровище лучшее,
Не расплескай потом.
Небо над нашими трудится душами
Даже летним дождем.

* * *

Укутал землю лиственный опад,
Он перепреет и насытит корни.
Опавших дней чуть влажный аромат
Всегда со мной в воспоминаний дерне.

Все те, кого любил и уважал,
И равно те, что мне плевали в душу,
Давали гумус вы моим корням,
И ваш посыл я снова нес наружу.

Всегда со мной все то, что видел я,
Ничто не утекает в землю втуне.
В размеренный янтарный листопад
Жну листьев свет, тепло и желтизну я.

Матфей Караваджо

Когда писал Матфея Караваджо,
Он старика изобразил сначала
Не с одухотворенностью усталой —
Простого, малограмотного даже.

Наморщил мытарь лоб с натугой явной,
Скрестил босые ноги по-мужицки,
Согнулся с непривычки над страницей,
Слова святые по слогам читая.

Когда пришел отчитываться мастер
К заказчикам с тугими кошельками,
Не согласились те повесить в храме
Матфея в столь простонародном платье.

Пришлось за кисти браться живописцу,
Корпеть по новой над евангелистом.
В одежде благородной, яркой, чистой
Предстал Матфей — не мытарь, а патриций.

Лик вдумчив, острый взгляд пронзает время...
Картина соответствует канонам.
Но почему-то ближе мне не новый,
А первый образ мытаря Матфея.





Владимир РАБИНОВИЧ

Чтобы рассказать всю жизнь

Миниатюры

В эвакуации

Рассказ моей мамы

…Мы уже полгода жили в эвакуации в Пензе. Прошла зима — самое тяжелое время, но было еще холодно.

Мои родители, твои бабушка и дедушка, сразу нашли себе работу. Нас поселили в доме, где была большая русская печка. Бабушка умела печь хлеб, и черный, и белый, и халу, и лейках, и булочки с изюмом. Каждый день она пекла хлеб для воинской части. Ей привозили муку, дрожжи, масло и что там еще нужно для выпечки хлеба. Дрова тоже привозили. В доме было всегда тепло, и мы не были голодными. Дедушка на швейной машинке, которую мы с собой увезли в эвакуацию, шил голенища для сапог, он был закройщиком, а я крутила ему машинку. Я была большая и сильная, мне исполнилось пятнадцать лет. А потом уже, когда мы заработали немного, купили дедушке ножной привод.

Дедушка не молился двадцать лет и вдруг опять стал молиться. А я не верила в бога, потому что была комсомолкой и гадала на картах. У меня была подруга — Галя Шендерович, белоруска между прочим, она очень хорошо гадала. Гадали мы на Гитлера и на Сталина. Гитлер был крестовый король, а Сталин — червовый, и на Гитлера выпал пиковый туз. Ой, как мы с Галей обрадовались, мы даже бросились обниматься.

Конечно, в эвакуации мы не могли соблюдать чистый кошер, но свинину не ели. Чтобы еда была более-менее кошерной, нужно ходить на базар. И моя мама, твоя бабушка, ходила на базар каждую пятницу.

Однажды на базаре услышала белорусскую речь, обернулась и увидела двух очень грязных и плохо одетых подростков. Она стала говорить с ними по белорусски. Мальчики очень обрадовались и все ей про себя рассказали. Они рассказали, что убежали из детского дома, потому что умирали там с голоду. И моя мама, твоя бабушка, позвала их к нам, дала им помыться, специально для них согрели воду в печке, и накормила.

Они уже два раза поели и все сидели у нас. Наступил вечер, а они не уходили из нашего дома. И бабушка шепнула дедушке на идиш: нужно сказать, чтобы они уходили. А дедушка ответил, что их нельзя прогонять, потому что на улице холодно и темно. Но бабушка не хотела их оставлять, у них могли быть вши, и сказала дедушке: как ты будешь молиться, когда чужие люди в доме. Дедушка ответил, что они ему не помешают, он пойдет в угол и будет молиться. Наступило время вечерней молитвы, и дедушка пошел в угол, надел тфилин, набросил накидку и стал молиться. Обычно дедушка начинал

молиться тихо, но потом все громче, и кричал, и плакал. Эти белорусские мальчики очень удивились, потому что раньше они никогда не видели, как молится еврей. Бабушка объяснила им, что происходит. Мальчики спросили, почему он плачет. Бабушка сказала, что дедушка слушал радио. Немцы могут прийти сюда и всех нас убить. И эти дети спросили — разве Бог есть? И бабушка не побоялась, ответила — есть. Тогда мальчики сказали, что они хотели бы молиться вместе с дедушкой. Бабушка пошла к дедушке и спросила, могут ли вместе с ним молиться два гоя. И дедушка сказал, что в такое время, как сейчас, можно, пусть подойдут и станут рядом с ним. Дедушка молился, они стояли и молчали, но когда дедушка стал плакать, они плакали вместе с ним. Бабушка посмотрела на это и решила оставить их у нас ночевать.

Чтобы рассказать всю жизнь

На вид ему было лет около восьмидесяти — высокий худой старик. Он никак не мог справиться с дверью на пружине. В магазине было пусто. Я оставил кассу, открыл и придержал дверь. Он схватился, как утопающий за мое плечо, сказал: «Сейчас», — и закрыл глаза. Так мы простояли с минуту. Из забытья его вывели два поезда, один, что вышел со станции Кони Айленд, второй с Кропси авеню, и встретившиеся по расписанию на металлической эстакаде над нашим магазином. Он открыл глаза и спросил меня:

— Как тебя зовут, мальчик?

Отвечать не имело смысла, он бы меня не услышал. Когда рев, скрежет и грохот сабвея утихли, он сказал:

— Меня зовут Изя, — пожал мой локоть и добавил: — Очень приятно. Где у тебя можно лечь?

— Не знаю, — растерялся я, — у нас здесь магазин. Если вам плохо, я вызову эмердженси.

Он лег в проходе и сказал:

— Не нужно никого беспокоить. У меня так бывает, мне нужно пять минут полежать.

И в самом деле, через несколько минут он открыл глаза и спросил у меня:

— Сколько стоит переписать эту... — он покрутил пальцем.

— Кассету, — подсказал я.

Он кивнул головой.

— Десять долларов в час.

— Ты не понял меня, — сказал он с раздражением, — я не спрашиваю в час, я хочу знать, сколько будет переписать кассету.

— Мне нужно знать, сколько там времени, — сказал я.

— Много, — сказал он. — Сколько нужно времени, чтобы записать мою жизнь? У меня таких денег нет.

— Послушайте, — сказал я умоляюще, — давайте переберемся в другое место, мы здесь мешаем.

— Я знаю, что всем мешаю, — сказал он, — всем надоедаю. — Он протянул руку, чтобы я помог ему подняться, и спросил: — Ты согласишься послушать меня бесплатно?

Я усадил его на ящик с книгами:

— Хотите что-нибудь выпить?

— У тебя эта кока-кола есть? Люблю кока-колу.

— Могу сходить в гроссери напротив.

— Сиди уже, — он махнул рукой. — Это все твое? — он обвел взглядом магазин.

— Мое.

— Молодец. Ты не жадный? Быть жадным плохо.

— Я не жадный, но у меня много расходов.

Он остановил жестом мои возражения и сказал:

— Я расскажу тебе историю. Не бойся, это короткая история. Не про тебя будет сказано, жадность губит человека.

Когда началась война, мы с мамой жили на улице Обойной в Минске. Пришли немцы и сказали всем евреям собраться в гетто. Нам даже не нужно было никуда переезжать.

Это неправда, что из гетто нельзя было удрать. Я, пятнадцатилетний пацан, был вором, уличной шпаной, носил в кармане нож, отлично знал весь район и запросто мог убежать в любой момент. Но куда? Никто бы нас к себе не взял. Немцы пришли навсегда.

У нас в доме поселились родственники моей мамы. Они были богатые евреи. И умные. Они сразу поняли, что немцы всех убьют.

Однажды они позвали меня на свою половину дома, накормили и сказали, чтобы я уходил из гетто и взял с собой их сына, моего двоюродного брата Фиму. Какой-то белорус, он жил на окраине города, согласился нас спрятать. Фима был старше меня на год, но полный шлимазел. Один он бы пропал, и его мать решила, что мы должны бежать вдвоем.

Из тайника для Фимы взяли теплую одежду и хорошие новые ботинки, а мне дали шапку. Когда мы прощались, Фимина мама целовала нас и плакала, а моя ничего не говорила, лежала лицом к стене на грязной постели. Она потеряла волю к жизни и сделалась ко всему равнодушной. Мне вручили спрятанные в картофелину две царские золотые десятки и сказали, чтобы я отдал их хозяину, который согласился нас принять.

В сорок первом году ноябрь был очень холодный. Хозяин в дом нас не пустил, а поселил в пуне, в таком сарае, где держал овец. Я догадался спать с овцами и показал, как это делать, Фиме. Нас кормили один раз в день, совсем не кошером, но все равно это было лучше, чем в гетто. Мы брали сколько хотели из бурта картошки, варили и пекли, и никогда не были голодными.

Хозяину я отдал одну монету, а вторую держал на всякий случай.

У хозяина был сын, мой ровесник. Обычно он был занят домашней работой. Эти белорусы очень много и тяжело работали, вся семья. Если у него получался свободный час, хозяйский сын приходил к нам. Ему было интересно с нами. Его отец не возражал, даже захотел, чтобы мы научили сына играть в шахматы. Он шутил: если немцы всех жидов изведут, то белорусам не на кого будет рассчитывать и нужно самим становиться умными. Он расспросил нас, какими должны быть шахматные фигуры, вырезал что-то похожее, сделал доску и вытравил клетки. Я плохо играю в шахматы. И этот белорусский пацан, а он оказался очень способным, скоро стал у меня выигрывать, но у Фимы, конечно, выиграть не мог, потому что Фима был шахматный гений.

Я сказал Фиме, что не нужно ссориться, что он должен иногда проигрывать. Но Фима, этот пентюх, был злой на всех гоев и не соглашался. Он еще и дразнил этого хозяйского пацана, издевался над ним и однажды сказал, что просто так играть не будет, а только на интерес. И хозяйский сын стал носить нам в хлев яйца, сметану и масло, а однажды принес самогон. Самогон Фиме очень понравился.

Когда Фима напился в первый раз, то стал говорить всякую чушь, и хозяйский сын смеялся, но выиграть у Фимы все равно не мог. Они ненавидели друг друга и все время играли, а со мной в шахматы вообще уже играть не хотели. Я понял, что ничем хорошим это не кончится.

Как раз на октябрьские праздники выпало много снега, работы у хозяйского сына стало мало, и он проводил целые дни с нами в хлеву. Они пили с Фимой самогон, играли в шахматы и ругались. Как-то пришел в хлев хозяин, на наших глазах зарезал овцу, и Фиме стало плохо. А хозяин сказал, что немцы стали возить жидов в Тростенец и стрелять. Он знает, его сын крадет для нас еду и самогон, и что немцы стали ходить по дворам, и чтобы мы искали себе другое место.

Тогда Фима стал плакать и кричать: «Куда мы пойдем?» Я сказал, что пойдем к партизанам. А хозяин засмеялся и сказал, что в партизанский отряд таких никто не возьмет, тем более без оружия.

В тот вечер Фима с хозяйским сыном особенно разошлись. Хозяйский сын сказал, что Фима играет в шахматы по-жидовски, что сметаны и яиц больше не будет, он принесет жареной баранины. А что ставит против мяса Фима? Фима сказал, что ставит на кон свои ботинки. Они сели играть, и Фима проиграл. После чего случилась трагедия.

Фима был пьяный и не хотел снимать ботинки, а когда хозяйский сын попытался снять сам, ударил его ногой. Тогда хозяйский сын достал из кармана револьвер и выстрелил Фиме в голову. В револьвере был только один патрон. Когда я увидел, что этот гой убил моего брата, то ударил его ножом в шею, и он быстро умер. Я собрался и ушел. Оружие у меня уже было.

Ты спросишь: какая мораль в этой истории? Не нужно было Фиме дразнить хозяйского сына, а если проиграл, отдать ботинки.

Он прикрыл веки и замолчал.

— Устал, — сказал он. — Возьми у меня в кармане. Представляешь, приехала целая бригада ко мне на квартиру, поставили свет в глаза, включили камеру и говорят: расскажи свою жизнь. Я им объясняю, чтобы рассказать всю мою жизнь, нужна еще одна жизнь.

Я вытащил у него из кармана пластиковую коробку. В коробке лежала трехчасовая VHS кассета. На кассете была надпись: «Steven Spielberg Film and Video Archive Holocaust History».

Когда умерла старая кошка

Он позвонил и сказал:

— Твоя кошка умерла!

— Когда? — спросил сын.

— Сегодня ночью.

— Как это случилось?

— Три дня назад перестала есть и пить. Я чистил ее ящик, в туалет она перестала ходить. Пряталась в темных углах, головой к стене.

— А почему ты ее к ветеринару не отвез?

— Какой ветеринар, кошке больше двадцати лет. Содрали бы бабки на обследование и предложили в конце концов усыпить. Нет у меня денег на ветеринара.

— Мучалась?

— В последнюю ночь пришла, стала кричать под дверью. Не мяукать, а орать. Я напоил ее из шприца водой, сама она уже пить не могла, взял в постель, гладил. Она успокоилась и умерла.

— Точно умерла?

— Да, уже окоченела.

— Чего ты хочешь от меня?

— Давай похороним вместе.

— Где?

— У меня во дворе. Там уже целое кладбище — две собаки, сейчас вот кошка добавится.

— Давай ее к маме положим.

— Нет, этого делать нельзя.

— Почему?

— Нельзя хоронить кошку там, где хоронят людей. Если нас поймают на том, что мы закапываем кошку на кладбище, арестуют.

— Ерунда, не поймают. Мы сделаем вид, что сажаем дерево.

— Ты знаешь, я не уверен в том, что эта могила, к которой мы ходим, в самом деле могила твоей мамы.

— Что ты говоришь?!

— Ты просто не видел, как ее хоронили. Они даже не хотели засыпать. Когда я спросил у кладбищенских почему, они сказали, что вручную могилы никто не засыпает, в конце дня приедет трактор и закроет все ямы сразу. Они показали мне на несколько открытых могил. Я возмутился, пошел взял из машины саперную лопатку и лопатой, а остальные руками, стали эту могилу засыпать. Я таких похорон никогда не видел. С нами был русскоязычный священник из Свидетелей Иеговы. Он тоже греб землю. Как дети в песочнице, мы руками сделали холмик, положили цветы. Работники кладбища опупели от такого зрелища. Они смотрели на нас, как на цыган или как на бедуинов. Ее сестра поставила детскую фотографию, сказала, что других нет. А через несколько дней, когда снова пришли на кладбище, могилу невозможно оказалось найти. Все было раздавлено колесами трактора, фотографию унесло ветром, я случайно нашел ее в кустах. Это часть кладбища, где хоронят на деньги медицинской страховки. Последняя, так сказать, услуга клиенту. И сервис самый дешевый.

— Суки, — сказал сын и заплакал.

— Не плачь. Приезжай ко мне, похороним кошку, а потом съездим на кладбище и скажем маме, что кошка умерла.

Кошку закопали под деревом, положили сверху большой гранитный камень.

— Ну что, — сказал отец, — поедем к маме?

— Поедем. Только нужно цветы купить. Я сам куплю, у меня деньги есть, — сказал сын.

— Ты знаешь, я не хочу покупать срезанные цветы. Пусть хоть что-нибудь будет живым. Давай возьмем вазончик и пересадим.

Они долго ходили между рядов с живыми цветами в огромном цветочном магазине и никак не могли выбрать.

— Жалко, что мама не может нам помочь, — сказал отец.

Сын опять заплакал.

— Что-то ты стал плаксивым, мой мальчик.

— Это только сегодня, — ответил сын.

Вместе с вазоном чудесных белых цветов купили садовую лопатку. В гроссери взяли литровую бутылку питьевой воды. Продавец-индус не хотел брать кредитную карту, и за бутылку воды, как и за цветы, заплатил сын.

— Как ты странно складываешь кеш, как таксист, — сказал отец.

— Как драгдилер, — сказал сын.

— В самом деле?

— Да нет, я шучу. Это старые привычки. Я с этим завязал. Велосипед продал.

— Ты продал свой любимый велосипед?

— У меня долги, которые нельзя было не отдавать, — сказал сын. — Вот, немножко еще осталось.

— Я дам тебе сто долларов.

— Не нужно. Купи мне лучше Metrocard unlimited на месяц.

На кладбище, кроме них, никого не было.

Они заехали через центральные ворота, откуда въезжают похоронные процессии. По обеим сторонам широкой аллеи стояли мощные, похожие на дзоты, склепы. На склепах были надписи: Pinzauti, Bonaiuti, Rossi, Fallani.

— Это кладбище начинала итальянская мафия, — сказал сын.

— Откуда ты знаешь?

— В тюрьме рассказывали, — ответил сын.

Они проехали целую милю, пока не уперлись в дикий парк.

— Много новых могил, — сказал сын. — Надписи на русском. — Верующих хоронят по конфессиям, а здесь весь бывший СССР.

Могилу нашли быстро, на автопилоте. На маленькой вертикальной плите было ее имя по-русски, дата рождения и дата смерти. «Помним. Любим. Скорбим». В толстом слое чернозема они легко вырыли ямку, разрезали и сняли пластиковый вазон и, не потеряв ни одного кусочка земли на корнях, осторожно поставили и присыпали землей кустик с маленькими нежными белыми цветами. Полили водой.

— Удачно все получилось, — сказал отец.

— Жалко только, что это не ее могила, — сказал сын.

— А может быть, я ошибаюсь, может быть, и ее.

— А как сказать ей про кошку? — спросил сын.

— Я думаю, что она уже знает, — сказал отец.

Маленькие оркестры

Моему другу В. Б.

— О, белые халаты. Для чего белые халаты? — спросил старик.

— Для гигиены, — сказал санитар Вова.

— Проходьте, — сказал старик. — Можете зауважить, я не маю мебли, бо мебля зьядае звук. Для чего так много врачей, четыре врача для одного сумасшедшего жида.

— Мы только давление померяем, — сказал санитар Вова.

— Трое будут держать, а четвертый мерять, — сказал старик. — Я знаю, кто вы такие. Вас соседи вызвали. Они не любят мою музыку. А я не люблю их музыку. Вы берете в варьятны дом людей, которые слушают вульгарну музыку?

Он быстро задавал вопросы, не дожидаясь ответа.

— Среди вас есть жиды? До войны в Минске каждый третий был жид. Сейчас к тебе без запрашення приходят четыре врача, и ни один из них не есть жид. Памятаю, как в тридцать девятом году я был молодым жидом, меня позвали служить в войско. То было в Польще. В липене у меня был день нарождения, а в августе позвали. Одинокого сумашедшего еврейского хлопца забрали жить в войсковые казармы. Поляки, мусим вам поведать, — такая гордая нация — они никого не любят, ни росийцев, ни германцев, ни украинцев, но особенно нас. У них нават другого слова нет, только — жид. Они так издевались надо мной, что я мыслями хотел повеситься, но кто-то на небе пожалел меня и послал музычный инструмент.

Я был никуда не годный солдат, и меня использовали, когда нужно было делать какое счищенне. Однажды я делал ремонт в квартире у офицера и увидел зломанную скрипку. Та скрипка была пану подпоручнику, по его образу жицця, совершенно не нужна. Попросил о скрипке, он мне сразу же подал. Я спрятал инструмент в казарме, очень надежно, никто так добже не может спрятать, как уборщик. Ремонтировал скрипку, клейовал, настроил, и однажды вечером перед сном, когда солдаты одпочивали, многие были уже раздетые, ходили в белье по казарме, как привидения, я стал играть и спевать. О, как уважливо слухали они меня. Такой был час, все разумели, что будет война, что многие умрут или будут покалечены. Я попал им прямо в сердце. Взрослые жорсткие польские жлобы, они плакали и просили играть еще. Они принесли мне еду, и сразу нашлось несколько сильных мужчин, готовых меня боронить. Когда дежурный закричал всем идти до ложка, в первый раз за все время я лег спать в своей постели с подушкой и одеялом. Вы спытаете, где я брал те мелодии? Если товарищи мают час, я расскажу. Я знаю, что дуже рискую, но должен вам объяснить, в другим разе вы никогда не узнаете. Везде, везде прячутся такие маленькие оркестры. Они не любят шума, когда много людей, и укрываются, так что их не можно видеть. Вот, наприклад, это старое радио, почему играет музыку. Только не говорите мне эту глупость про радиоволны. Радиоприемник играет музыку, потому что внутри у него сидит маленький оркестр. Я лично знаком с дирижером. Я знаю всех музыкантов по именам, я с ними в приязни. С оркестрами нужно быть в приязни, тогда они будут играть для вас. Эта печальная и красивая музыка, что появляется ниоткуда за месяц до войны, все играют и поют, но никто не знает автора. Ночью, когда все спят, или днем, когда жовнежи уходят из казармы, а ты остаешься один убирать, нема людей и шума, эти оркестры играют и поют. Мне оставалось только слухать и запаментать. Кое-что я записывал нотами. Вечером, когда все собирались в бараке, уже были готовы новые мелодии. Однажды где-то украли аккордеон и принесли в казарму. Прекрасный немецкий аккордеон. Приходили слушать офицеры, меня звали кушать в офицерское казино...

Вы хочите знать, что стало потом? Потом вышла война.

Я не герой. Я стал дезертиром. Убежал. Забрал с собой только аккордеон. Вы когда-нибудь видели полный аккордеон Вельтмайстер Каприз? Восемьдесят басов, три регистра на левую руку, пять регистров на правую. Тридцать четыре клавиши. Цвет — черный перламутр. Знаете, сколько он весил? Тридцать килограммов. Почему такой тяжелый? А как вы думаете, сколько может важить инструмент, внутри которого сидит маленький жидовский оркестр. Я даже помню, как звали дирижера, — Ежи Бельзацкий.

Это была иная война, прежде так не воевали. Не было фронта, никто не ведал, где будут стрелять завтра. Я топографичный идиот. Не понимаю, где

нахожусь. Это меня уратовало, потому что я бежал от войны, как зверь от пожара, пока не оказался на месте, где уже были российские войска.

Когда у меня спрашивают: как тебе подабается та или другая нация? — я отвечаю вопросом на вопрос: а как они относятся к жидам? Поляки, украинцы, белорусы — они все антисемиты. Когда долго среди них живешь, к их природному антисемитизму привыкаешь, как к атмосферному давлению. У российских по-другому. У российских где-то сидит один человек, и у него в руках такой выключатель. Он включает антисемитизм, когда ему нужно, и выключает. Когда включено, то все, даже грудные младенцы в России, становятся убежденными антисемитами, когда выключено, они тебе деликатно говорят, что все люди жиды, кроме самих жидов, конечно. Антисемитизм у русских в то время был выключен, и у меня, наверное, был такой удивленный вид, как у рыбы, которую подняли с большой глубокости.

Я ехал и ехал, не быстро и не медленно, как ходят в России поезда всегда на восход солнца. Я размовил по-российски плохо, и чтобы не вызывать подозрений на себя, притворялся немым. Ни документов, ни денег у меня не было. Все что мне было нужно я покупал себе музыкой: свободу, еду, право на жизнь и даже кобету. Для кого я только не играл и не пел: для войсковых, вокзального начальства, беглых зеков, госпиталей, железнодорожников, шпаны, жен партийных чиновников, базарных торговок, милиции.

Однажды утром меня разбудила некрасивая женщина. Она потрясала мое плечо. Я спал здесь, на лавке, на станции, где спевал целую ночь.

Она спросила мое имя. Я показал жестом, что не могу мувить.

Она запытала, почему я притворяюсь немым, сказала, что слышала, как я разговариваю праз сон. Что это за мова? Я признался, сказал, что говорю по-польску. Она спросила: кто вы? Ну что я мог отповедать на такое пытанне? Я сказал, жид. Она не ведала, что это такое. Только тогда я понял, как далеко забрался. Она увидела, что я испугался и зробился как ребенок, погладила меня по голове и сказала, что я добрый музыкант. Позвала работать у нее в школе. Я сказал, что у меня нет документов, но она ответила, что то мало значит. Я спытал, как называется станция. Она сказала Кызыл.

О, я вижу в ваших глазах недоверие, а на интеллигентном лице этого молодого человека, — он указал на санитара Вову, — даже вижу усмешку. Вы не верите моей истории. Тогда, если можно, я что-то покажу товарищам докторам.

Он встал посреди пустой комнаты, в которой из всей мебели был только старый сервант в углу и раскладушка с несвежей постелью, и, нажимая себе пальцами на кадык, стал извлекать из горла сильные ревущие, нечеловеческие звуки, в резонанс которым зазвенели стекла в окнах. Кто-то наверху стал бешено колотить по батарее парового отопления.

— То тувинское горловое пение, — сказал старик. — Такое не можно придумать самому, можно только научиться. Моим соседям дуже не нравится, когда я так спеваю…





Анна ЯЦКИВ

Виза в весну

Предвесеннее

Метроном капели введет в гипноз
И заставит высунуться наружу.
Нестабилен плюс, нехитер прогноз:
В голове бардак, на асфальте — лужи.

И внезапно — очень легко дышать,
Находить повсюду подсказки, знаки...
Будто в тело вновь вселена душа
Или просто с сердца убрали накипь.

Опрокинут кем-то небес ушат —
Акварельный город едва не тонет.
А кудрявый март, ускоряя шаг,
Напевает тихо в шутливом тоне.

Виза в весну

Поймав лейтмотив весны,
Весь город стремится в март…
Становится небо выглаженней и выше,
Теплеют слова и сны;
В фаворе хмельной азарт,
Душа нараспашку, карты таро и вирши.

Гадай, не гадай — сейчас
Отчаянней виражи,
Острее духовный голод, весомей фразы.
Стежком золотым луча
Заштопана вера в жизнь —
Дерзни охватить как минимум все и сразу!

Без шансов на рецидив
К нулю сведена тоска,

Отправлен в утиль увесистый том капризов…
Пусть это зачтут в актив
Решающего броска
И все же в весну сегодня откроют визу.

Взглядом пронзая безмолвные небеса

Взглядом пронзая безмолвные небеса,
В ночь посылая просьб и проклятий стрелы,
Кто-то в бездушности гневно винит Творца
И вопрошает: «А что я такого сделал?»

Там, где бессильны амбиции, деньги, власть,
Сломленный жизнью вспомнит об Абсолюте,
Станет шептать со слезами: «Не дай пропасть.
Бог милосерден — так утверждают люди...»

Плен безысходности — тяжкий сердечный груз —
Делает слабым или же злым без меры.
С молнией в мыслях: «Ну где Ты? Ведь я молюсь!»
Шансы на чудо никнут под пеплом веры.

Высшие сферы наполнены морем слез,
Будто объемом силу хотят упрочить.
Кто-то наивный разделит с Ним прелесть звезд,
Чтобы отправить в небо: «Спасибо, Отче!»





Анастасия КУЗЬМИЧЕВА

Я к тебе иду

Я — ошибка

Я — ошибка Богова —
Больше нечем крыть.
Люди — мое логово,
Ни уйти, ни быть.

Я — ошибка бесова, —
Кукла для толпы.
Отыскать бы место мне
В толчее судьбы.

Я — ошибка радости, —
Крылья велики,
Но врываюсь с жадностью
В беспощадный мир

И играю с бездною,
Стоя на краю.
Жизнь, как роба тесная,
Новой не скрою.

Убежать бы в поле мне,
Выплакать беду,
Но ошибка горева —
Я к тебе иду...

* * *

Ты знаешь, как родятся звуки?
О чем мечтает нежный взгляд?
И как грустят в бездействии руки?
И сколько на душе заплат?..

Мы так привыкли жить в стандартах.
Забыли улыбаться снам...
Мы без учителя — за партой,
Из класса выйти страшно нам...

А может, просто лень очнуться,
Увидеть мир, каков он есть?
И от привычек отряхнуться,
И не глотать наркотик — лесть...

Дракона убивать не нужно.
Взраставши монстра в днях своих,
Перестаем быть миру нужными,
Трясясь над златом дней чужих.

Просьба Удаче

Ты ее за хвост — ан нет!
Ты за ней бежать — одышка...
Глядь — уже и следа нет.
А мечты куда? Под мышку...

И ступай искать ее
В дебрях дней, в туманном свете,
Чтобы выпросить полет,
Два крыла и добрый ветер...

Просто небо над собой,
Чтоб надежды не кончались.
Просто радость и любовь,
И иконы со свечами...

Чтобы верить — как дитя:
Все что надобно — возможно.
И она найдет тебя!
Просто верь и все. Мой Боже!





Анастасия СМИЛИНА

А я у тебя в долгу

Моя весна

Весна моя — осенняя,
Прозрачная, беззвездная,
Слегка горчит сомненьями,
Горит цветами поздними.

Сияет в сердце радугой
И ветром губ касается,
Рассветом поздним радует…
Весна моя, красавица!

А воздух полон листьями,
Как золотыми рыбками.
Весна моя искристая,
С дождями и улыбками.

Неявная, неверная,
Листвою яркой стелется.
Зимой она, наверное,
Ко мне придет метелицей.

* * *

А я у тебя в долгу —
за неба сырой лоскут,
за дрожь пересохших губ,
за радугу и тоску.

За выдох и вдох, за дождь,
за то, что себе не лгу,
за то, что меня не ждешь, —
а я у тебя в долгу.

За боль, за стихи, за свет,
за радости и мечты,

за то, что спасенья нет, —
но есть, несомненно, ты.

Крестом этот долг нести —
и горечь, и благодать…
за то, что — увы, прости —
мне нечем тебе отдать…

Мекка

Я не храню старые вещи, письма и фотографии...
Но использую собственный скудный трафик
и пишу письмо за письмом — без черновика,
второпях, без надежды войти в века,
наследить в истории, вклиниться в мемуары...
Немного — в различные точки земного шара,
остальное в корзину, в стол, не обременяя почту.
Письмо — весенний лист прорывает почку,
и я пишу, пишу тебе каждый вечер...

...Что там было про альфу, омегу, Мекку?..

...Просто мир становится человечным
благодаря одному-единственному человеку.





Виктория КУРБЕКО

Непонятная сердцу любовь

Я — кошка

Я женщина-кошка
И ведьма немножко,
Хоть внешне и ангельский вид,
Я женщина-кошка
И мягкой ладошкой
Лечу, если сердце болит.
В ночи позови —
Я нежнейшим созданьем
В объятьях тебе покажусь,
И счастье любви засияет над нами,
Я — ангел!.. Когда не сержусь…
Но если злой недруг мне пакостить станет,
Свои обнажу коготки.
Я — кошка, меня лицемер не обманет,
Бегите скорее, враги!
Не ждите пощады,
Я жажду злой мести,
Дорогу в ночи перейду.
Меня злить не надо,
А станете если —
В свой дом навлечете беду…
Я женщина-кошка,
Умна, грациозна —
Нелепая шутка Творца…
Со мною ведите себя осторожно —
Когтями пронзаю сердца!

Мироздание

Сколько раз весну встречала
И черемухой цвела.
Только вдруг понятно стало —
До сих пор и не жила…

Безымянное созданье
Неизведанных миров,
Лишь песчинка Мирозданья
В дуновении ветров…

А вверху над головою
Звезд чужих далекий свет.
Станешь ты моей судьбою —
Кто откроет сей секрет?

Если ты усталый странник,
Дам тебе уютный кров.
Только ты люби созданье
Неизведанных миров!

Столкновение

Наша любовь — столкновение ада и рая,
Знойной Колумбии страстный кровавый закат.
Солнце ее сотворило, в слезах умирая, —
Знало оно, той любви будет вряд ли кто рад.

Звездную ночь видел кто-нибудь в тропиках душных?
Слышал стенанья, тяжелые вздохи ее?
Ночь родила наше чувство — кому оно нужно?!
Кто же любовью те чувства теперь назовет?

Наша любовь — столкновение разных Вселенных,
Чуждых друг другу, враждующих вечно миров.
Как родилась темной ночью в одно лишь мгновенье,
Вечно живи, непонятная сердцу любовь!





Корнелл ВУЛРИЧ

*Одной ночи достаточно**

Роман

5

Я работал у «Него» уже неделю, когда увидел Еву в первый раз. Семь дней я не знал о ее существовании.

Стоит особо отметить, как я нашел это место. В уличной канаве, можно сказать. Кто имеет склонность к мистике, увидел бы в этом символический смысл. Я не очень-то в это верю, но, видимо, именно там я должен был найти занятие, которое искал.

Дело было в Майами. Меня зовут Скотт. Все, что имел тогда, сейчас — при мне. У меня была такая же одежда, потому что, когда тебя арестовывают, без нее не обойтись. Один комплект необходимой одежды — весь мой гардероб. Кроме того, у меня имелась скамеечка в парке. Конечно, скамеечка часть городской собственности, но пользуясь только ею каждую ночь, я приобрел особое право на нее. Это было мое достояние. Однажды пришлось прогнать оттуда другого типа и уговорить его поискать более подходящее местечко.

Вставал я тогда рано — с рассветом или даже чуть позже. В Майами рассвет прекрасен. В нежно-розовых и часто голубых красках, как лицо и глаза детей. Невозможно насладиться цветами рассвета. Умывался в фонтанчике в том же парке и причесывался половинкой расчески, которую ревниво хранил в кармане.

В то утро я вышел из парка и прогуливался в одиночестве, следуя за своей длинной тенью, по улице, окрашенной в розовое. Проходил мимо ночного ресторана, кажется, он назывался «Акации». Я редко обращаю внимание на рестораны. Майами — место отдыха и развлечений, оно изобилует ночными заведениями. Но этот был огромным и казался даже более сверкающим, чем другие. Поэтому его и заметил. Должно быть, ресторан закрылся недавно, приблизительно с час назад, потому что я чувствовал исходившие от него волны тепла, оставленного людьми за ночь. Между тротуаром и улицей тянулась полоска травы, и в этой канаве что-то лежало. Однако я не был в этом уверен, потому что мешала блестевшая на солнце роса. Прошел мимо, но потом решил проверить, повернул назад и пнул предмет ногой. Предмет перевернулся. Это оказался бумажник. Я наклонился и поднял.

Наверное, его потерял клиент ресторана, когда садился в автомобиль. А может, уронил кто-то другой и не нашел, потому что место здесь слабо освещено. Бумажник был из черной тюленевой шкуры с углами, отделанными золотом. На шелковой подкладке было отпечатано «Марк Кросс» — магазин, где приобретен бумажник. Внутри лежали деньги. Меня интересовали только они: сорок один доллар. Я продолжил прогулку.

---

*Продолжение. Начало в № 2 за 2018 г.

В бумажнике еще находились документы, удостоверяющие личность владельца: водительские права, выписанные Эдварду Роману, сорока четырех лет, проживающему в Эрмоза Драйв, и визитные карточки. Вовсе не анонимный был бумажник!

Однако мои моральные принципы не вызывали восхищения у пустого желудка. Он требовал своего. Потому плотно позавтракал, на этот раз не занимаясь мытьем посуды и не разгружая грузовик. Когда успокоил голод, в бумажнике стало на полтора доллара меньше.

Потом заметил, что мои моральные принципы опять стали брать верх. Удивительно, как легко побеждает честность, когда желудок полон.

Пришлось расспросить трех человек, прежде чем узнал, где находится этот дом. Первый, к кому я обратился, был полицейский. Он никогда не слышал о таком названии и честно признался в этом. Второй человек имел о нем слабое представление. Наконец водитель грузовика показал мне, в каком направлении двигаться. Добавил, что сочувствует, если буду добираться туда пешком. Он с удовольствием бы подбросил меня, но, к сожалению, едет в другую сторону. Итак, я продолжил свой марш. Правда, мелькнула мысль, что есть более легкие способы остаться честным, но все равно дел никаких не имелось, и мне было совершенно безразлично в какую сторону шагать.

Мне показалось, что я прошел только полдороги до Пальм-Бич, когда, наконец, прибыл туда. Это был большой и прекрасный дом.

Вокруг местились и другие похожие виллы, но эта понравилась мне больше всех. У нее была своя внутренняя улочка, отходящая от автострады. И это объясняло, почему не многие знали о ее нахождении.

Эрмоза Драв стояла фасадом к морю, а тыльной частью к автостраде. У нее был частный пляж и прекрасный внутренний берег.

Я поднялся по маленьким ступенькам перед входом и позвонил. Мне пришлось ждать несколько минут, прежде чем подошел афроамериканец в белом пиджаке, как те, которые одевают слуги в клубах. Он открыл дверь и испытующе посмотрел на меня.

— Могу я видеть господина Романа? — спросил.

— По какому поводу?

Я проделал слишком большой путь, чтобы теперь, вот так просто, отдать бумажник негру.

— Мне нужно отдать то, что ему принадлежит, — ответил.

Слуга недоверчиво посмотрел на меня и закрыл дверь. Пришлось ждать еще. Создавалось впечатление, что за мной наблюдают, но я не знал, откуда и кто, потому не стал убегать.

Потом появился тот же негр.

— Зайдите на минутку, — сказал он.

Итак, меня впустили в дом на время, будто проверяли. Я понял это по сухой фразе. Негр не сказал, что господин Роман меня примет.

Я последовал за слугой, который направлялся вверх по лестнице. Но прежде чем успел достичь ступеней, кто-то возник передо мной и вынудил остановиться. Человек не выглядел на сорок четыре года, как значилось в водительских правах господина Романа. Он был коренаст и ростом мне до бровей. Кожа мужчины была цвета корки сухого лимона и такая же неприятная на вид. Волосы напомажены чем-то блестящим. Глаза смотрели пристально, но казались затуманенными. Свет приглушался в них. Не знаю, как определить этот взгляд, — описания никогда не были моей сильной стороной. Даже собаки имеют блеск в глазах, а у него не было этого блеска. Я думаю, в них отсутствовала душа. Эти глаза напоминали пуговицы ботинок или зерна кофе — гладкие, твердые, простые предметы.

Мужчина был одет в рубашку из черного шелка и спортивный пиджак горчичного цвета. Босые ноги с фиолетовыми венами всунуты в соломенные сандалии. В общем, тип, который не располагал к веселью, а создавал впечатление скрытой опасности. Словно вы находитесь перед гремучей змеей, свернувшейся в кольца на расстоянии всего лишь сантиметров тридцать, поэтому ей не надо даже прыгать, чтобы ударить и отравить. Вот такое впечатление произвел на меня этот человек.

Неясно, почему же от него исходила враждебность и угроза? Если честно, так сразу и не скажешь. Он говорил мягко, вытягивая слова, безразличным тоном, будто спросонья. Даже руки, которые время от времени как бы невзначай касались меня, казались сонными.

— Какое послание?

Я не сразу понял его.

Человек коснулся левой части моей груди тыльной стороной ладони.

— Что вы сказали слуге? — спросил он.

— Я хочу видеть господина Романа и отдать то, что ему принадлежит.

— Это может означать многое.

По-прежнему не пропуская меня, мужчина переговорил со слугой, который остановился на первой ступеньке и уже держал ногу на второй.

Потом человек с глазами-пуговками провел рукой по моему бедру, но жест был настолько быстрым и ловким, что казался почти незаметным. Я опустил глаза, но рука исчезла.

— Извините, — сказал он, — вы немного запылились.

Слуга спросил:

— Все в порядке, мистер Джордан?

Афроамериканец вел себя так, будто эти сцены были для него не в новинку.

— Да, теперь можете подниматься, — ответил мужчина.

Я последовал наверх за слугой. С минуты на минуту ожидая услышать позади себя жужжащий звук, который издает гремучая змея, но так и не услышал.

Негр постучал в дверь.

— Человек к хозяину.

Из-за двери послышалось:

— Пусть проходит.

Слуга открыл дверь.

— Входите, — произнес он.

Я очутился в большой спальной комнате, одну стену которой заменяло окно, выходящее на террасу.

На террасе в кресле сидел человек. Лица не видно — его брил парикмахер. Перед ним на табуретке сидела девушка и обрабатывала ему ногти.

Я в ожидании остановился посреди комнаты.

— Отмерьте точно виски, — услышал.

Афроамериканец опустился на колени. Он вытянул из кармана сантиметр и измерил длину висков сначала с одной, потом с другой стороны.

— Сантиметр ниже верхушки уха, — приказал хозяин. — И оставьте прямые. Мне они нравятся.

Я продолжал ждать.

Вдруг человек в кресле вскрикнул:

— Ой! — и поднял колено.

Но вины парикмахера в этом не было.

— Вы двигаетесь, господин Роман, — заметила маникюрша.

Мужчина выпрямился в кресле и с силой ударил ее по лицу. Девушка очутилась на полу.

— А ты, наоборот, не двигаешься вовремя! — прорычал хозяин виллы с сарказмом.

Девушка заплакала.

— Выйди отсюда! — выкрикнул человек. — Пока не залила мне террасу.

Девушка собрала свои принадлежности, и слуга проводил ее из комнаты, держа за плечи, чтобы она быстрее шла. Потом я заметил, как он передает ей банкноту — десять долларов, как мне показалось.

— Не принимай так близко к сердцу, малышка, — услышал, как он шепчет девушке. — В следующий раз получится лучше. Не обращай внимания на то, что сделано.

«Однако сделано любопытным образом», — подумал я.

Роман встал с кресла, пригладил волосы и вошел в комнату. Он не выглядел на свои сорок четыре года. На нем была шелковая пижама в полоски: темно-лиловую, ярко-зеленую и еще два цвета, которые лишь подчеркивали приходящее на ум сравнение с брюхом рыбы в аквариуме. К счастью, большую часть пижамы покрывал халат — видны были грудь и верхняя часть брюк.

Роман подошел к зеркалу и хорошенько осмотрел себя. Я вдруг подумал: «У вас, должно быть, крепкий желудок, мистер!»

Потом Роман взял сигару и, откусив кончик, прикурил. В конце концов, он, кажется, заметил меня и спросил:

— Что я могу сделать для тебя, Джек?

— Я подумал, что, может быть, доставлю вам удовольствие, вернув это, — сказал, протягивая ему бумажник.

Хозяин виллы с удивлением посмотрел на бумажник. Но даже после того, как осмотрел его и исследовал содержимое, казалось, не хотел верить, что это его вещь.

— Это не мой, — произнес он, наконец. — Где вы его нашли?

Я объяснил.

Роман приказал слуге:

— Посмотри одежду, которую я одевал вчера вечером. Есть ли там бумажник?

Негр ушел, потом вернулся и сообщил:

— Там нет его, хозяин. Нет.

— Но я даже не заметил, как он выпал! — воскликнул Роман.

Видимо, он хорошо выпил в ту ночь, подумал я. Вдруг хозяин стал усердно рыться в бумажнике, не обращая внимания на деньги. Открыл ящичек и вытащил оттуда другой бумажник из крокодиловой кожи. Заглянул в него.

— Ага, здесь, — сказал Роман, как показалось мне, с облегчением. — Сколько в нем было? — обратился он ко мне с равнодушным видом.

— Сорок один доллар, — ответил я. — Мной потрачено полтора доллара на еду, так что там осталось тридцать девять с половиной долларов.

— Я бы этого не заметил, — проговорил хозяин виллы и взглянул на слугу. — Ты представляешь, в мире существуют честные люди.

Дело приобретало странный оборот.

— И мало того, — продолжал Роман, — они приходят сюда с бумажником…

Неожиданно Роман повернулся ко мне:

— Возьмите его, он ваш.

Я не взял, но поблагодарил:

— Спасибо, но через день-два, я его все равно продам…

— Вы мне нравитесь, — сказал хозяин виллы. — И я хочу вам это доказать. Что вы умеете делать?

Я перечислил небольшой список своих возможностей:

— Немного понимаю в садоводстве, столярном деле, могу водить машину…

На этом пункте он меня прервал:

— Считайте, что вы нашли работу.

Тем временем в комнату вошел человек, который остановил меня внизу у лестницы. Точнее сказать, обратил на себя внимание. Потому что он имел способность появляться рядом неожиданно и оставаться незамеченным.

— А что вы сделаете с Клэйборном? Вы хотите двух шоферов, Эд? — заметил вошедший.

— Пошлите к черту, — махнул рукой Роман. — Дайте ему двадцать минут, чтобы он убрался. — Но когда мы оба уже были на пороге, хозяин изменил свое решение: — Дайте ему пятнадцать минут. Может быть, через полчаса мне понадобиться машина, а я не хочу ждать.

Это произошло во вторник.

Я работал на него целую неделю, прежде чем увидел Еву, прежде чем узнал, что она живет в этом доме.

В моей комнате зазвонил телефон, и в трубке раздался голос Джоба:

— Скотт, приготовьте машину. Через две минуты.

Джоб — мажордом, который открыл мне дверь неделю назад.

— Есть, — ответил я.

Полагая, что поеду как всегда с хозяином, я надел пиджак, берет. Вывел из гаража автомобиль и остановил его перед парадной дверью. Вышел, открыл дверцу и стал ждать. Все это я обычно проделывал, когда подавал Роману машину.

Дверь открылась, и вышла девушка.

Молодая, красивая девушка. Справедливо сказать, она была красивой, но это неважно, — важен эффект, который красивая женщина производит на вас.

У меня непроизвольно дернулись веки, но лицо осталось неподвижным.

Ева вышла медленно, как будто не было у нее необходимости идти туда, куда направлялась. Еще медленней девушка развернулась, закрыла за собой дверь и спустилась с лестницы.

На меня она даже не взглянула. Глаза опущены, веки полузакрыты. И не обратила внимания, что шофер — другой… Да и как она могла это заметить, если не смотрела на меня? Наверное, видела меня, как видят нечто расплывчатое через зеленое стекло. Ее фигурка, спускающаяся по лестнице, отпечаталась тогда в моем сердце и осталась там навсегда.

На ней было кремовое платье до колен, из тех, которые одеваются как рубашка. Вокруг талии — узкий поясок. Косынка на голове полностью скрывала волосы и была завязана на два узла по обе стороны лица с торчащими кончиками, что делало Еву похожей на котенка с маленькими ушками. Правая рука украшена прекрасным бриллиантом.

Мысленно я проговорил: «Тут все ясно. Красивая и совершенная снаружи, а внутри — опилки».

— В город, пожалуйста, — тихо сказала девушка. И села в машину.

Я закрыл дверцу. Садясь, она попыталась расправить платье под собой, несмотря на то, что оно было короткое. Жест механический, обычный для всех женщин.

Я занял место за рулем, и мы поехали. Хозяину нравилась скорость, но с Евой я ехал не спеша. Во всяком случае, судя по виду девушки, она не волновалась.

Мы катили по автостраде, когда красавица вдруг сказала:

— Остановите здесь на минутку.

Я остановился и осмотрелся, не понимая причины остановки. Не увидел ничего, кроме моря… Хотя место было удачным, с хорошей панорамой. С одной стороны — пальмы, с другой — бескрайний морской простор.

Не знаю, сколько мы просидели вот так, в машине. Время от времени я поглядывал в зеркало заднего вида. Она положила руки на край окошка, чтобы лучше видеть, и упорно смотрела на простирающееся перед ней море. На лице застыло выражение восхищения и задыхающейся радости, как у заключенного, который смотрит на небо через решетки окна. Она смотрела на линию горизонта, туда, где соединяются вода с небом. Эта воображаемая линия манит и искушает, но всегда обманывает, потому что достичь ее невозможно.

Я молчал. Мне казалось бесполезным демонстрировать нетерпение. Я перестал волноваться, а просто сидел, уставившись на сложенные руки.

Наконец мы снова двинулись. Девушка быстро управилась со своими делами и сделала покупки. Каждый раз я ожидал ее у входа и провожал до следующего здания.

По пути домой Ева обратилась ко мне и произнесла всего лишь две фразы.

— Что случилось с Клэйборном? — спросила она, словно только заметила, что водитель другой.

— Он уволился, мисс.

— Миссис, — поправила она. — Я — миссис Роман.

Мое удивление было двойным. Оказывается, она жена Романа, и удивил ее тон, которым это было произнесено. До этого момента я пытался уверить себя, что такая красивая куколка годится лишь на сезон или даже на одну ночь. Теперь понял, что передо мной прекрасная и несчастная женщина. Я почувствовал это по оттенку покорности, по тону, почти извиняющемуся, когда она сказала, что является женой Романа.

И все, ни одного больше слова. Женщина садилась в машину медленно, нерешительно, выбиралась из машины еще более неохотно, а до двери дома шла, еле передвигая ноги.

На следующий день — снова голос Джоба по телефону:

— Машину, Скотти. Через две минуты.

И опять тот же маршрут и та же остановка.

Как и в прошлый раз, она сказала:

— Остановитесь здесь.

И хотя остановились мы не в той именно точке, что днем раньше, причина остановки была та же самая.

Я смотрел на нее в зеркальце и чувствовал себя растерянным. Не мог понять ее. Вначале мне показалось, что Ева испугана или чувствует себя не очень хорошо. Женщина глубоко дышала, ее грудь тяжело поднималась и опускалась. Но вскоре я пришел к выводу, что она, как человек, сидящий взаперти, просто изголодалась по свежему воздуху. И только здесь, в этом одиноком месте, имела возможность свободно дышать и неотрывно смотреть вдаль, надеясь, может быть, когда-нибудь достичь невидимой линии горизонта.

По пути домой она снова произнесла две фразы.

— Между прочим, как вас звать?

— Скотт, мисс… — Потом вспомнил вчерашний день и добавил: — Извините, я забыл. — И повторил ответ: — Скотт, миссис Роман.

— Именно так, — подтвердила она, обращаясь больше к себе, чем ко мне. — Даже если я предпочитаю называться по-другому.

Прошло несколько недель.

В тот день, возвращаясь из своей обычной поездки в город, мы опаздывали и не должны были задерживаться. И все-таки остановились. Говорят, ясная луна опасна, но это можно сказать и про закат. Были сумерки, час грусти: умирает день, умирают надежды, несбыточными кажутся мечты.

Я заметил, что Ева плачет. Лицо ее было печальным, почти спокойным, слезы катились медленно и тяжело.

Мне бы следовало подумать о себе, быть более осторожным, но легко ли сдерживаться, видя, как плачет красивая женщина.

Я резко повернулся к ней.

— Я могу что-нибудь сделать для вас? — спросил.

Взгляд, который она вернула мне, тронул мое сердце.

— Да, — ответила она. — Сделайте так, чтобы не было этих последних трех лет. Отведите стрелки времени назад на три года. Если вы не можете этого сделать, называйте меня «мисс». Если вы не можете сделать даже это, тогда отвернитесь.

Не помню, как я очутился на заднем сидении рядом с Евой, не отдавая отчета в том, что делаю. И слова вырвались у меня спонтанно, помимо воли:

— Я вас люблю. Уже три недели. Полюбил вас с того момента, когда в первый раз сели ко мне в машину. Но только сейчас это понял.

Оторвав свои губы от ее губ, я попробовал укротить себя:

— Извините, больше этого не повторится. Завтра я уйду.

Ева ответила тремя словами, но их было достаточно.

— Не делайте этого!

В дальнейшем к теме моего ухода не возвращались. Мы были влюблены и не могли жить друг без друга. И нечего к этому добавить. Мы любили, и точка.

Три дня спустя, когда ехали по автостраде, я сказал:

— Знаешь, я ведь ничего не могу предложить тебе взамен того, что ты имеешь.

— Именно этого я и желала.

— Ты уверена?

— Совершенно уверена.

Она посмотрела на линию горизонта:

— Что находится там? В той стороне?

— Гавана, думаю. Но не прямо перед нами, а немного вправо.

— Мне неважно название места. Здесь на море так просторно, свободно, чисто… И через такую глубокую воду невозможно добраться к тому, кто находится там…

— Значит, Гавана?

— Да, Гавана.

— Есть корабль на Гавану. Он пришел из Нью-Йорка и сейчас стоит в порту. Вскоре отчалит. Я разузнаю о времени отплытия. Заказывать два места на самолет — неосторожно. Они имеют привычку звонить для подтверждения заказа и могут нарваться на «Него». И почтовым судном рискованно — у Романа лучшая яхта в Заливе.

— Нельзя терять время. Действуй быстро, быстро! За спиной у нас смерть. Каждую минуту, каждую секунду, даже когда мы сидим здесь. Не смотреть, не дышать, не думать, пока не уедем.

Я вспомнил о Джордане. Этой гремучей змее, свернувшейся в кольца, чье шипение я ожидал услышать всегда. Ева была права, смертью дышало все вокруг постоянно.

— Отход возможен в ближайшее время. Как-то раз я видела его в порту, но до среды… Корабль, я имею в виду. Он останавливается здесь на

три-четыре дня, не более. Если у тебя нет возможности уточнить день, то это можно сделать завтра в городе…

Я почувствовал, как дрожит ее тело, совсем рядом. И прижал Еву к себе.

— Не приближайся! Будь осторожен. Мне так страшно, Скотти.

— Из своего окна ты видишь мое?

— Да, я видела его еще раньше, до того, как все произошло. Этот светящийся прямоугольник над парком гипнотизировал меня.

— Тогда сделаем так. Пока ты одеваешься к обеду, около семи, смотришь на мое окно и считаешь, сколько раз гаснет свет. Так ты узнаешь время отхода. Если только судно не уйдет раньше, чем мы выедем завтра из города.

— Отвези меня домой, уже поздно. На днях «Он» заметил: «Мне кажется, что теперь ты слишком часто ездишь в автомобиле».

На следующее утро я повез в город Романа. Пока он занимался делами, я успел съездить в агентство за билетами. Судно должно отплыть сегодня в полночь. Я заказал две каюты до Гаваны. Вначале свободных кают не было, но потом оказалось, что в Майами сошли несколько пассажиров, поэтому в агентстве смогли удовлетворить мой заказ. Не спрашивайте, почему взял две отдельные каюты. Если бы у нас была обычная любовная интрижка, мы могли бы никуда не ездить, остаться там и делать у него под носом все что нам захочется. Несмотря на риск и опасность. Но мы хотели постоянства, хотели жить свободно и любить свободно.

Я не видел Еву днем. Не было возможности связаться, дать ей знать. Хозяин держал меня постоянно при себе. Непонятно было, делается это с целью или нет — лицо Романа выглядело невозмутимым. Очевидно, это было простое совпадение. Хотя я вспомнил, что Ева мне рассказывала о его замечании насчет частых поездок. Хозяин ограничивался тем, что бросал мне:

— Оставайтесь здесь.

И я оставался там, где он приказывал, боясь сделать неосторожный шаг или лишнее движение, даже когда Роман поворачивался спиной ко мне, чтобы, не дай бог, не разрушить все. А время шло, день близился к концу.

Отвез я хозяина на виллу в шесть. Мчались «с ветерком», как ему нравилось. Когда на большой скорости проезжали «наше место» — там, где останавливались много раз я и Ева, — произошло нечто интересное. Именно в тот момент, когда мы там проезжали, Джордан издал глухой сдавленный смешок. Естественно, Джордан всегда был с хозяином. Можно сказать, Роман и шагу не делал без него.

Так как мы всю дорогу молчали, этот смех получился не к месту и требовал объяснения.

— Почему ты смеешься? — спросил его Роман.

— Я подумал, — послышался голос Джордана, — что там, где мы сейчас проезжаем, идеальное место для влюбленных.

Роман не ответил. Но я почувствовал на шее легкое холодное дуновение. Мне удалось сдержать желание взглянуть в зеркальце заднего вида. У меня было ощущение, что если бы я туда посмотрел, то наткнулся бы на взгляд Джордана. Может быть, я и ошибался, точно сказать не могу. Если опять идет речь о простой случайности, то это насмешка судьбы! Ехидная насмешка! Я почти реально слышал у себя за спиной, как стучит хвостом гремучая змея, предупреждая меня о предстоящей опасности.

Когда приехали домой, уже стемнело. Я поставил машину в гараж и поспешил в свою комнату. Последующие два часа были самыми тяжелыми

в моей жизни. Я нетерпеливо ходил по комнате, останавливаясь каждый раз, чтобы взглянуть в окно напротив. Но вместе с ее окном светилось рядышком другое. Это было «Его» окно. Я не мог подать сигнал, пока Роман находился в своей комнате. Он мог это заметить.

Мне пришла в голову мысль, что супруги ссорятся и могут пропустить время обеда. Ведь в семь они обычно сидят за столом. Потом подумал, что, может быть, «Он» пошел вниз и забыл выключить свет. Но в этом случае Ева зашла бы в его комнату и выключила свет.

Я очень волновался. Конечно, у нас было еще пять часов в запасе, но она ничего не знала! Я должен дать ей знать. Она могла решить, что отъезд только завтра, и поэтому сразу после обеда пойти спать. Ева говорила, что часто так поступает, стараясь как можно меньше видеть мужа.

И вот неожиданно, около семи двадцати, я увидел, что освещено только ее окно. Я побежал к выключателю, выключил свет, выдержал так минуту, потом принялся включать и выключать. И так — двенадцать раз.

Потом, вернулся к окну и подождал.

Свет в ее комнате погас, затем зажегся только один раз. Она увидела. Ева получила мое послание!

Я спустился на первый этаж и поужинал в компании с Джобом, как это делал каждый вечер. Там, в той части дома, где живут слуги, я был еще более отделен от нее, чем в своей комнате, потому что не мог видеть даже ее окно.

— Здесь как в могиле, — посетовал негр, кивая головой на дверь с автоматическим запором. — Не успеешь сесть за стол, а еда уже остыла.

Я не ответил. «Знал бы ты причину, по которой мне побыстрее хочется вырваться отсюда!» — подумал.

— Вы плохо поели, — заметил Джоб, забирая тарелки. И добавил, складывая их в раковину: — И Ева тоже плохо ела сегодня вечером, почти не дотронулась до еды.

Я посмотрел прямо ему в глаза, чтобы проверить, не являются ли слова намеком. Но Джоб казался невинным. Я успокоил себя: если бы что-то было, он бы иначе ответил на мой взгляд. В таких случаях обычно смотрят, попала ли стрела в цель. Должно быть, здесь тоже было простое совпадение, как смех Джордана, когда мы проезжали мимо «того места с пальмами».

Я отодвинул стул, встал и вернулся в свою комнату. Было без четверти девять. Оставалось три часа. Чистых два часа, учитывая время, чтобы добраться до порта.

Я нервничал. Никогда раньше не был так напряжен. У меня взмокли ладони, но не потому, что испугался Романа или Джордана. Я боялся, что не удастся увезти Еву отсюда, боялся, что она вынуждена будет неожиданно остаться дома, боялся потерять ее. Это тревожное ожидание влюбленного.

Я кружил и кружил по комнате. Наверное, пробежал несколько километров!

Девять тридцать. Без четверти десять. Десять. Осталось два часа. Час чистого времени.

Вдруг зазвонил телефон. Я почувствовал, как холодок пробежал по моей спине. Раздался голос Джоба:

— Пожалуйста, приготовьте машину, Скотти. Сейчас.

Наконец-то. Должно быть, она придумала что-то… Я бросил сигарету, сбежал вниз, сел в машину. Давая задний ход при выезде из гаража, чуть не зацепил не полностью открытые ворота. На большой скорости подъехал к входу и шумно затормозил.

В этот момент дверь открылась и вышла Ева, одетая в длинное вечернее платье из белого атласа. На ней были все бриллианты. Роман часто ей дарил украшения.

Я смутился, почувствовал, как холодеет кровь. Ей не следовало так одеваться для побега. В этом наряде девушку за километр видно!

Лицо ее было бесстрастным, будто она меня вообще не знала. Я придерживал дверцу автомобиля. Проходя мимо, она прошептала:

— Осторожно. За мной идут.

Сначала вышел Роман, надутый, пахнущий лосьоном. На шее — белый шелковый шарф.

Секунда ожидания, потом хозяин буркнул:

— В чем дело, Джордан?

Я заметил одну особенность: Роман называет своего телохранителя полным именем, когда хочет сказать, что раздражен по какой-то причине, которая, может быть, даже к Джордану не относится.

— Должно быть, он забыл свой пистолет, — иронически проговорила Ева.

Наконец появился телохранитель — гремучая змея в боевой позиции на хвосте — высокая, стройная и зловещая.

Они заняли места по бокам от нее. Я закрыл дверцу и сел за руль.

Роман приказал:

— В «Трок», Скотти.

Это был один из его излюбленных ресторанов. Я не смотрел на них в зеркальце, чтобы не выдать себя чем-нибудь. Глядел только на дорогу, которая катила мне навстречу. На небе перемигивались звезды.

Мы проехали три четверти пути, но никто из пассажиров не произнес ни слова.

Наконец Роман заметил:

— Ты молчаливая сегодня.

— У меня нет желания говорить, — ответила Ева.

— Не понимаешь, Эд? — вмешался Джордан. — Может, сегодня вечером миссис не собиралась выходить.

Ева ничего не сказала.

— Ты не собиралась выходить? — спросил Роман.

— Ты меня уже об этом спрашивал дома, — возразила жена. — Но я же здесь. Я еду. Чего же ты хочешь?

Остаток пути она молчала. Я вел машину спокойно.

Мы подъехали к «Троку», сверкающему изнутри голубоватым светом. Портье, негр с Багамских островов по имени Уолтер, который в этом голубоватом свете казался еще черней, чем был на самом деле, хорошо знал Романа. Увидев его, он склонился в глубоком поклоне.

У Евы не было возможности перемолвиться со мной. Она вынуждена была пойти вперед, двое мужчин ее сопровождали. Я наблюдал за ней, когда девушка входила в ресторан. В этом свете ее белое платье отражалось голубым, красивые плечи казались мраморными с едва заметными голубыми прожилками вен.

Все вокруг было голубым — и мое опечаленное сердце тоже.

Я поставил машину немного в отдалении, за углом. Не знал, что делать. Стена ресторана с той стороны, где я остановился, была без окон. Люди продолжали собираться.

Увидел, как вышел официант и что-то сказал Уолтеру. У меня тут же родилась надежда, что она послала мне записку, поэтому я приблизился к входу, ожидая оклика. Но официант на мгновение задержал на мне взгляд, потом повернулся и вошел внутрь. Очевидно, он вышел, чтобы сделать глоток воздуха.

Я вернулся на свой пост. Знал уже, что с улицы невозможно увидеть зал ресторана, поэтому не делал попыток приблизиться к входу.

Наступило одиннадцать часов. Потом одиннадцать двадцать. Одиннадцать тридцать. Я стоял рядом с машиной и водил рукой по гладкой поверхности, как бы снимая с нее нервное напряжение.

Вдруг увидел, как что-то блеснуло там, где прежде было лишь слабое отражение голубого света. Ева бежала ко мне в своем белом платье, без шарфа и сумочки.

Я сделал несколько шагов навстречу, обнял ее.

— Быстро! — задыхаясь, проговорила она. — Ничего не говори! Поехали!

Она прыгнула на переднее сидение, я уже был за рулем.

Спешно отъехали.

— Сколько у нас времени?

— Двадцать минут.

— Я не могла уйти раньше. Черт возьми! Они выбрали столик как раз напротив коридора. Им был виден и коридор, и выход на улицу. Я не могла выйти незамеченной.

— Тогда как тебе удалось…

— Немного спустя пришел их друг и сел за наш столик. Они вынуждены были изменить положение, чтобы дать ему место. И потому вход оказался уже вне поля их зрения. — Она пошарила за декольте. — Держи!

Это был замшевый кошелек с деньгами. Ева протянула его мне. Я продолжал держать руки на руле.

— Чьи это деньги? — спросил.

— Мои.

— А до этого чьи были?

Секунду она размышляла.

— Ты прав, — сказала и, высунув наружу руку, перевернула кошелек. Посыпались банкноты. Они уносились прочь с большой скоростью. Кто-то завтра найдет на улице доллары.

— Мы когда-нибудь приедем?

— Еще немного, и будем на месте. Теперь уже успеем. Судно не отойдет до полуночи. У нас есть еще… — Я почувствовал, что Ева прижалась ко мне. — Почему ты так боишься?

— Потому что они знают, Скотти! Они раскрыли наш заговор раньше времени. Не знаю, удастся ли нам прибыть на судно раньше их!

Я спросил, что она хочет этим сказать.

— Кто-то видел тебя. Тот, кто знает его, видел тебя, когда ты покупал билеты. Или узнал машину Эда. Несчастливое стечение обстоятельств, понимаешь? И надо же, чтобы оно случилось именно с нами! Это все тот друг, присевший за наш столик. Он думал, что билеты заказываются для меня и Романа. Я слышала, как он расспрашивал Эда. К счастью, Эд не придал этому значения, так как я находилась с ними за столиком. Он подумал, наверное, что это какое-то недоразумение. Но с того момента, как я встала из-за стола, с того момента, когда они заметили мое отсутствие… То, что видел тот друг, подтверждается. Они знают: Гавана, корабль. Судно заходит сюда каждые десять дней, исчезли мы вдвоем. Они поймут, кому были предназначены билеты. Определят, где мы находимся, раньше чем отойдет корабль.

— Но машина у меня.

— Машина есть и у того друга, который все рассказал. Может быть, они уже позади нас. Преследуют.

Я увеличил скорость.

— Будем начеку. Еще десять минут — и мы на месте.

— Впрочем, умирают только один раз.

— Мы не умрем, — пообещал я. Но как оказалось в дальнейшем, свое обещание не сдержал.

— Что-то виднеется там сзади. Кажется, за нами следуют две фары. Но они далеко.

— Не смотри назад, — попытался успокоить Еву. — Ни к чему это.

Мы прибыли в порт за шесть минут до полуночи. Сделали резкий поворот и остановились прямо перед молом. Я дал ей билеты и сказал:

— Возьми и жди меня у трапа. Отведу машину, чтобы она не оставалась на виду.

Ева хотела, чтобы пошел с ней, но я жестом вынудил ее повиноваться.

Мне нельзя было оставлять там автомобиль. Если фары, которые девушка видела в отдалении, означали преследование, то машина становилась уликой.

Я отвел автомобиль подальше в тень и бегом вернулся к трапу. Прибывали другие машины, группировались в длинный хвост перед пристанью. Теперь уже невозможно было определить, какие фары мы видели позади себя. Основная часть людей, выходящих из машин, были одеты элегантно. И это естественно, так как речь шла о круизе. Сирена судна с воем испустила пар, перекрывая в течение минуты любые другие звуки.

Я нашел Еву у основания трапа. Было очень много других дам в вечерних платьях, и это меня радовало: так она не сильно бросалась в глаза. Мы показали билеты и быстро поднялись на борт. Нас встретил стюард и проводил в каюты, которые находились напротив друг друга. Он вошел, чтобы закрыть иллюминатор, но я протянул ему чаевые и попросил:

— Оставьте все как есть.

Человек тут же ушел.

— Закрой дверь, — прошептала Ева. Я закрыл дверь на ключ, но несмотря на это, девушка с силой оперлась на нее руками.

— Я взял другую каюту, для себя, — напомнил я.

— Нет, не оставляй меня. К черту приличия. В эту ночь ты останешься со мной.

Судно начало двигаться.

— Ну вот, корабль отплывает. Мы сбежали! — вырвалось у меня.

— Не думаю, что нам это удалось, — ответила она. — Ты веришь?

— А ты не чувствуешь? С каждой минутой корабль увеличивает скорость. Дело сделано.

Мы сидели рядышком на низком диване под иллюминатором, и свежий бриз дул в лицо. Я обнял Еву за талию, она положила голову мне на плечо. Так мы прободрствовали всю ночь. Вся история моей любви сконденсировалась в этой единственной ночи. Но я думаю, что этих часов нам было достаточно. У нас имелось время сказать друг другу все. И может быть, даже лучше, что над нами висела смертельная угроза. Деньги и материальные жизненные трудности в последующие недели и месяцы сорвали бы покров романтики нашего приключения. Мы наслаждались пылающей любовью, мы все начинали сначала, все впереди было наше. Что можно еще желать?

Мы оставались сидеть так всю ночь: ее голова отдыхала на моем плече, второе плечо опиралось на стенку. Над нашими головами колыхалась занавеска иллюминатора, как корабельный вымпел, а за бортом сладко пела морская вода. Мы плыли на пароходе навстречу прекрасным приключениям. Плыли к горизонту, где небо соединяется с водой, к этой несуществующей линии, к нашей страстно желанной мечте.

Через круг иллюминатора начал проникать слабый свет. Наступал новый день.

И вдруг кто-то постучал в дверь — мы едва услышали. Было около шести. Слишком рано для прибытия в Гавану. Однако кто-то стучал: тихо, вкрадчиво.

Мы вскочили, все еще находясь в объятиях друг друга.

— Они на борту! Они сели вчера вечером! — растерянно прошептала Ева.

— Нет, нет, успокойся. Они бы не ждали столько, если бы находились здесь со вчерашнего вечера.

Мы не двигались, надеясь на ошибку. Но услышали, как постучали еще раз.

— Кто там? — спросил я грубым тоном.

Мужской голос ответил:

— Телеграмма, мистер.

Старый как мир трюк!

— Не открывай! — тихо проговорила Ева.

— Подсуньте под дверь, — попросил я.

Из-под двери медленно просунулся желтый листок бумаги. Это действительно была телеграмма.

Я подождал, и когда конверт появился полностью, поднял его. Мы вскрыли телеграмму и вместе прочитали. Она была с пометкой «срочно». Адресована Еве. Телеграмма была краткой и горькой. Содержание состояло из единственного слова: «Судьба». И подпись: «Эд».

6

За время моего рассказа пламя свечи опустилось до горлышка бутылки. Оно горело еще потому, что кормилось нагаром со свечки, который коркой покрывал горлышко. Зеленое стекло давало отблески зелено-голубого цвета, и от этого комната казалась похожей на подводный грот.

Мы почти не изменили позиций. Я все еще сидел на краю кровати, где умер ее влюбленный, а кубинка сидела на буфете. Вот и все различие.

Я с горечью подумал:

«Какой долгой кажется твоя жизнь, и как мало нужно времени, чтобы о ней рассказать».

Неизвестная женщина слушает беды незнакомого мужчины. Я с трудом различал ее. При этом свете она опять становилась невидимой, почти как в первую минуту нашей встречи, той встречи, которую мне — в этом я был уверен — никогда не забыть. Лишь проблески свечи временами выхватывали из темноты мое лицо и молнией отражались в глазах кубинки.

Несколько минут длилось молчание. Потом женщина с глухим стуком спрыгнула на пол, подошла к столу и поставила новую свечку вместо прежней. Если быть точным, это был новый огрызок свечи, но от него вновь вернулся желтоватый свет и пропал зелено-голубой.

— Совсем нетрудно, — сказала кубинка.

До меня не дошло, что она имеет в виду.

— Совсем нетрудно представить, что произошло сегодня вечером в «Слоппи». Для этого не нужно много мозгов.

Я поднял подбородок.

— Представить — одно, доказать — другое. Хотите сказать, что это был Роман, правда?

— Ева была его собственностью, вы же понимаете.

— Но Роман в Майами. Вы можете позвонить ему туда, и он вам ответит. Из своего дома.

— Это ничего не меняет.

— Я уверен так же, как и вы. Но желание убить не довод для обвинения. Сам механизм, как они смогли это проделать — вот что необъяснимо для меня. — Я провел пальцами по волосам. — Не могу понять, как при всей той давке вокруг нас никто не заметил удара, который ей нанесли, никто не увидел нож в руке убийцы. Ведь ему нужен был замах, он должен был отодвинуться немного от жертвы, прежде чем воткнуть в ее тело кинжал. Почему никто не заметил блеск лезвия или движение руки?

— Может быть, — попыталась она помочь мне, — кто-то видел, но смолчал?

— А может, — предположил я, — кто-то видел и еще не знает этого.

Полночь озадаченно посмотрела на меня:

— Что вы хотите этим сказать?

Я поднялся на ноги и уставился в темноту. Внезапная идея пришла мне в голову.

— Минутку! Кажется, я знаю, где искать решение этой загадки. Правда, если это не результат моей фантазии, — проговорил.

Она подошла ко мне, готовая помочь.

— Сейчас попробую объяснить, — прибавил я, — пока не ускользнула мысль… У вас есть что-нибудь, чем можно рисовать?

— Тюбик губной помады, который недавно так славно поработал.

— Хорошо, давайте его.

Кубинка принесла тюбик.

— Я могу рисовать на стене?

— Ну конечно!

Подошел к стене и провел четыре линии. Получился квадрат. Она принесла бутылку со свечой, чтобы лучше видеть, и встала позади меня.

— Где бы мы ни находились в любой момент времени, это место можно представить графически как замкнутое пространство с четырьмя сторонами. Я обозначил квадратом наше местонахождение в «Слоппи», когда произошло убийство. Мы находимся здесь, в центре. — Я поставил крестик. — Теперь посмотрим, удастся ли мне что-нибудь вспомнить. С одной стороны стойка бара. Она представлена этой линией. И с прилежащей стороны мы защищены той же стойкой. Удар не мог последовать оттуда. К тому же Еву ударили в другой бок, а не в тот, которым она прислонилась к стойке.

— Укажите стрелкой, с какой стороны мог прийти удар, — посоветовала женщина.

Я провел стрелку, которая упиралась в крестик.

— С третьей стороны, справа от меня, сидели люди, сдавленные, как сельди в бочке, и их тела препятствовали движению ножа. Но была еще одна сторона — четвертая. Здесь оставалось немного пространства, может быть, несколько квадратных дециметров.

— А кто был с этой стороны?

— Эту сторону практически блокировал единственный человек — фотограф, который работает в «Слоппи Джо». Теперь вы понимаете, куда я веду? Конечно, и с этой стороны была такая же толпа, но она держалась сзади от фотографа, который в это время накинул на голову черную тряпку. Фактически можно сказать, что он заменял всю четвертую сторону.

— Таким образом, вы считаете, что фотограф мог видеть происходящее?

— На месте нет, потому что на голове у него был своеобразный капюшон. Но есть вероятность, что «видел» аппарат!

Полночь щелкнула пальцами.

— Значит, на фото должен быть виден убийца рядом с Евой. Может быть, не в тот именно момент, когда втыкает в тело нож, а в другой, — заметил я. — Ведь убийце надо вытащить нож из кармана, освободить от обертки, поставить его в удобную позицию, наконец, воткнуть в тело и оставить там. Речь идет о пяти или шести последовательных движениях. На снимке мы можем обнаружить одно из этих действий, но любое из них будет мне полезным. Все зависит от четкости фото и от кадра. Нож вошел сюда. — Я показал точку на теле. — Если фотограф снял нас только по грудь, мы не увидим убийцу, который действовал большей частью снизу. Но если фотограф снял нас полностью… Ну, тогда у меня есть возможность обнаружить на снимке кое-что интересное. Будет достаточно, если на фото запечатлена рука, воткнувшая кинжал. Не моя рука.

Я бросил тюбик губной помады на койку.

— Этот человек должен находиться на снимке.

Застегнул пиджак и приблизился к двери.

— Я ухожу. Жаль, что не подумал об этом раньше. Теперь нужно выяснить, кто этот фотограф и где его можно найти.

Женщина поставила на стол бутылку со свечкой, подошла к двери и встала перед ней, отодвинув меня рукой.

— Чувствую, без меня вам здесь не обойтись. Поисками займусь я. Увидите, у меня это получится лучше.

— Вы уже достаточно сделали для меня, — запротестовал. — В конце концов, в беде нахожусь я, а не вы!

— Как хотите получить информацию, если вы даже не говорите по-испански? — возразила кубинка. — Куда пойдете искать фотографа? В «Слоппи»? Там ведь вам нельзя показываться, потому что тут же схватят. Будьте же рассудительны, чико! Мне сподручнее. Никто не знает и не подозревает, что мы знакомы. Я могу уходить и приходить когда захочу. Оставайтесь здесь. Закройте дверь, когда выйду, и не открывайте никому. По возвращении постучу два раза, так, — и она показала.

— Мне неудобно. Я не могу позволить вам пускаться в такие опасные поиски вместо меня.

— Но я это делаю не ради вас, а ради любви человека, которого когда-то преследовали шпики. — Полночь показала головой на кровать. — Цветы на могилу! Сколько раз мне говорить вам? Не двигайтесь! Я вернусь по возможности быстро.

Приоткрыв дверь, женщина выглянула наружу и вышла. Дверь закрылась. Она ушла.

Несколько минут я оставался у двери, прислушиваясь. Слышал, как она легкими шагами спускается по лестнице. Потом я опустил щеколду в гнездо и принялся прогуливаться по лачуге.

В конце концов вернулся к кровати, сел и задумался. Вот и кончился мой медовый месяц, не успев начаться. Ева лежит на мраморной плите в морге, я, разыскиваемый полицией, скрываюсь в китайском квартале.

Время, казалось, остановилось. Ни у меня, ни в комнате часов не было. Только медленно опускающееся пламя свечи давало какое-то представление о времени. Как-то уловил в отдалении бой башенных часов, но мне не удалось посчитать удары, потому что они сопровождались несогласованным звоном колокольчиков. Колокольчики звонили как им вздумается, и это сбивало. Впрочем, так ли важно сейчас для меня знать точное время?

Вдруг послышался какой-то звук. Я навострил уши. На мгновение застыл. Сигарета выпала из руки, и я раздавил ее ногой.

Было слышно, как кто-то поднимается по лестнице, и у меня закралось подозрение, что это не моя хозяйка. Ритм шагов был более медленный, чем Полночи. Нет, явно не она шла этим летаргическим, как у сомнамбулы, шагом. Ритм походки человека указывает на его индивидуальность, равно как отпечатки пальцев и тембр голоса. Шаг кубинки мог быть таким же крадущимся, медленным, почти ватным, но в том, который я слышал, было нечто свое, особенное. Создавалось впечатление, что человек останавливается на каждой ступеньке, которую преодолевает, а это не соответствовало темпераменту Полночи.

Шаг был мягкий. Туфли, очевидно, не на кожаной, а на веревочной подошве, возможно, мокасины или сандалии. И обязательно короткая пауза между шагами — многозначительная пауза.

Я поднялся, опираясь руками на край кровати. Шаги перешли на лестничную площадку и начали приближаться к двери. Так мне казалось.

Я тоже медленно двинулся через комнату, почти в темпе шага того человека. Проходя мимо свечки, потушил ее, сжав пальцами фитиль. Подошел к двери. Прислонился к ней, как в первый раз, когда проник в это убежище, спасаясь от полиции. Но тогда я легко различал полицейских, которые меня искали. Их топот был слышен далеко. Теперь же представить не мог, кто идет сюда.

Я стоял у двери и слышал нерешительные, медленные, шаркающие шаги. Может, это бедняга умалишенный или преступник со злыми намерениями? Шаги затихли.

Вдруг край моего пиджака прижался к телу и сдвинулся. Показалось, что до меня дотронулись рукой. Впечатление было настолько сильным, что я чуть не запаниковал. Но тут же взял себя в руки. Понял, что двигается ручка от двери!

Потом на дверь нажали, будто хотели взломать. Раздался сухой, резкий звук, от которого я вздрогнул, словно меня царапнули. Оказалось, что это чиркнули спичкой о дверь. Щель неожиданно осветилась, как будто провели длинную желтую линию.

Это был уже вполне определенный жест, и я на него среагировал. Напряжение, в котором находился несколько последних часов, вылилось в желание действовать. Мне просто необходимо было приложить физическое усилие.

Правда, женщина велела никому не открывать, но не всегда можно проконтролировать эмоции, особенно когда все идет вкривь и вкось.

Я тихо поднял ногой щеколду, резко открыл дверь и приготовился прыгнуть на непрошеного гостя. Но — не сдвинулся с места. Есть люди, вызывающие отвращение и ужас, брезгливость мешает ударить их. Человек, стоявший передо мной, был настолько страшный, что я не решился бы и дотронуться до него, а не то что схватить или ударить.

Трудно сказать, был это призрак или нечто живое, восставшее из могилы, нечто уже мертвое, которое направлялось в свою могилу, но задержалось здесь для страха. Речь шла о китайце с изнуренным лицом, по виду напоминавшем труп. Невозможно различить, старый он или молодой. Призрачное пламя спички недостаточно освещало его лицо.

Цвет кожи у этого человека был не желтым и не белым, а каким-то серо-зеленоватым. Ввалившиеся глаза и большие, как у черепа, глазницы. Очень скудная одежда висела на нем. Под курточкой вырисовывались ребра. Он производил впечатление пугала.

Специфический запах ударил мне в нос. Запах… ну, как будто этот человек был из глины, смешанной с водой. Те же самые вонь и грязь.

Китаец казался ошеломленным. Он что-то пробормотал сквозь зубы, но я не понял.

— Уходи, — выругался я вполголоса. — Иди отсюда, бродячий призрак.

Он нерешительно повернулся, шатаясь, словно должен упасть с минуты на минуту, двинулся прочь, касаясь стены рукой. Спичка погасла прежде чем он сделал шаг. Я снова закрыл дверь, застраховал ее щеколдой, еще немного постоял, прислушиваясь. Рядом тихо открылась дверь и тут же закрылась. Потом кто-то ходил по соседней комнате. Сквозь тонкую стенку проникали какие-то звуки. Немного погодя наступила тишина, будто призрак окончательно умер.

После короткой паузы я вновь почувствовал тот же кислый запах, от которого меня чуть не стошнило на пороге. Но теперь трудно было понять, откуда он исходит. Затем запах ослабел, уменьшился настолько, что почти не ощущался.

Я провел рукой по лицу и зажег свечку. Вернулся к кровати, сел и стал ждать возвращения Полночи.

Не знаю, сколько времени прошло с тех пор, как она ушла: может, полчаса, может, час, а может, и больше. Мне показалось, что кубинка отсутствовала долго. Как она поднялась по лестнице, я не слышал — шаги у нее были еще бесшумнее, чем у китайца-трупа. Условленные два удара застали меня врасплох.

Я тут же открыл дверь. Полночь была нагружена: два свертка под шалью поддерживала руками, один — прижимала локтем сбоку. Она остановилась на мгновение на пороге, оглянулась, как бы проверяя, нет ли за ней преследователей. Я искренне обрадовался ее возвращению, будто давно был с ней знаком.

Войдя, кубинка подмигнула мне, словно хотела сказать: «Все сделано, я узнала то, что вам нужно». Или что-то в этом роде. Я закрыл за ней дверь. Полночь разложила на столе свертки.

— Я нашла то, что вам нужно, чико, — начала кубинка, еще не отдышавшись. По виду чувствовалось, что она удовлетворена.

— Говорите тихо, — посоветовал. — В соседней комнате кто-то есть.

— А, тот… — женщина пожала плечами. — Его можете не бояться. Он вызывает сильный страх, когда видишь впервые, а вообще-то, он безвреден. Курит опиум и размышляет. Не от мира сего. И потому удобен как сосед. Иногда я готовлю ему что-нибудь поесть, иначе он умрет от истощения.

Я положил руку ей на плечо, чтобы остановить объяснения.

— Что вы узнали?

Кубинка понизила голос, несмотря на то, что сказала перед этим о соседе:

— Фотографа, который работает в «Слоппи», зовут Пепе Кампос. В кафе его не оказалось, но я все узнала о нем от одного бармена с помощью маленькой кружки пива и нескольких взглядов. Итак, у Кампоса пара комнатушек на Калле Барриос, которые он использует как жилье и студию. Я не могла точно определить его дом, но он находится на маленькой улочке, которую я знаю, и потому отыскать его будет нетрудно. Узнала еще кое-что. Бармен сказал, что передо мной здесь побывал еще один человек, и он тоже расспрашивал о Кампосе.

Последнее известие мне не понравилось.

— Может быть, это простое совпадение, но может, у кого-то зародилась такая же мысль, что и у меня. Он тоже догадался, что отпечатанная пластинка является единственным доказательством преступления. Мне надо действовать быстро.

— У вас не получится.

— Должно получиться, Полночь. Другой альтернативы нет. Вы провели первые расследования. Показали мне путь. Остальное за мной. Я не могу сидеть здесь и всю ночь гонять почтовых голубей.

Кубинка усмехнулась.

— Смотрите, кого вы называете почтовым голубем, — запротестовала она. Подошла к столу, на котором разместила свой груз, и начала распаковывать свертки. — Я почему-то была уверена, что вы примете такое решение, поэтому взяла одежду в одном известном месте.

Полночь извлекла из пакетов брюки, испачканные маслом, матросскую куртку и фуражку из непромокаемой ткани. Одежда за километр воняла машинным маслом.

— Вы что, хотите превратить меня в машиниста?

— В этой одежде вас не узнают, по крайней мере, с первого взгляда. А в вашем костюме вы до центра не дойдете.

— Хорошо, — согласился. — Отвернитесь.

Я переоделся. Запах масла был ужасный, но спустя несколько минут стал привыкать к нему.

Держа сигару вверх, кубинка осмотрела меня критическим взглядом, повернула кругом.

— Можно идти, — сказала она, наконец. — И знаете, вам больше к лицу одежда моряка, чем та, которая была на вас.

— Наверное, потому, что у меня привлекательная внешность.

— Когда идете, немного пружиньте шаг, и эти проклятые ищейки не узнают вас, даже если пройдете рядом с ними. Чуть расставляйте ноги. Обычные люди при ходьбе ноги не расставляют, моряки же ставят их пошире, чтобы удерживать равновесие при качке. А теперь слушайте меня внимательно.

Я подошел к ней поближе. Наклонил голову, чтобы лучше слушать.

— Я не стану забивать вам голову названием улицы. Для вас это будет, как греческий язык, только собьет с толку. Дам вам направление, в котором надо идти, и количество поворотов, которые должны сделать направо и налево. Пойдете прямо до проспекта и повернете направо. Проследуете по проспекту до конца и только тогда повернете налево. Вы будете находиться на одной из главных артерий города и поэтому должны действовать очень осторожно.

Объяснив несколько раз, женщина заставила меня повторить маршрут. Теперь она была уверена, что я не ошибусь.

— Советую не отклоняться от маршрута, — сказала она в конце. — Гавана — город запутанный, и если потеряете улицу, найти ее вам будет нелегко.

— Вы хорошая девушка, Полночь, — признался я.

— Вот комплимент, который мне не делали с четырех лет. Теперь ему придают несколько иное значение.

Я пошарил в карманах своей одежды. Вытащил горсть американских монет и немного банкнотов — все, что у меня было. Деньги для медового месяца.

— Возьмите, — предложил. — На тот случай, если мне не повезет и я не вернусь. Это — на платье и за то, что вы хорошая девушка.

Полночь положила деньги на стол.

— Но я сделала это не ради денег. Действительно.

Я вспомнил ее слова:

— Знаю. Цветы на могилу.

— Послушайте, — уверяла она меня, показывая руки. — До тех пор, пока есть кассы магазинов, из которых можно черпать деньги, пока клиенты покупают мои цветы в кафе и показывают мне, как лежат кошельки, вы можете не беспокоиться за меня. Я справлюсь, как справлялась до сих пор.

— Вы никогда не попадете в рай.

Кубинка изобразила ужас от подобной мысли:

— Там, должно быть, ужасно скучно, вы не думаете?

— Хорошо, если не хотите этих денег, отложите их до моего возвращения и забудьте место, куда их положили.

Я прислушался, не появился ли кто-нибудь на лестнице. Открыл дверь и вышел на лестничную площадку. Но прежде чем закрыть дверь, посмотрел на кубинку.

Я не знал, увижу ее когда-нибудь или нет. Но чувствовал, что должен сказать что-то перед тем как уйти. И не знал что.

Женщина стояла между мной и свечой на фоне неяркого пламени, которое формировало вокруг ее головы своеобразный ореол. Наверное, она была последним человеком для ореола. А может быть, напротив, она была достойная его?

— Ну, до свидания! — проговорил.

Полночь что-то ответила по-испански. Думаю, вроде как:

— Ни пуха ни пера!

Я закрыл за собой дверь.

7

На лестнице опасности не было. Оставался выход на улицу. Рисковал натолкнуться на агента, подкарауливающего меня в переулке.

Я спускался по лестнице гораздо медленнее, чем поднимался, преследуемый агентами и светом фонарика. Выйдя из подъезда, осторожно выглянул наружу.

Улочка казалась пустой. Правда, она не просматривалась до перекрестка, но, на первый взгляд, на ней никого не было. Я не знал, как полицейские объяснили мое исчезновение. Возможно, они поверили в мое бегство по крыше. А иначе Акоста оставил бы, по крайней мере, двух своих человек у подъезда.

Я ступил в темную «кишку». Вот она, та точка, с которой начался мой побег. Прижался к стене и медленно двинулся вперед. Конечно, моя одежда пахла маслом, но и улочка воняла ужасно. Из двух этих запахов предпочтительнее был запах моей куртки.

Этот промежуток пути был наиболее опасным. Если вдруг встречу шпика, в этой узкой «кишке» мне его не обойти. Придется расходиться лицом к лицу, и тогда не избежать подозрения.

Очень скоро улочка посветлела, сказывалось освещение большого проспекта. Приближаясь к перекрестку, замедлил шаг. Дошел до угла и осторожно высунул нос.

И тут начались неприятности.

Я услышал, как кто-то сказал на ухо, точнее, почти в мой высунутый нос:

— Hasta que hora nos quedamos aqui?[1]

Вначале показалось, что это обращаются ко мне, настолько близко и неожиданно прозвучал голос. Я повернулся к стене, прижался к ней, насколько возможно, и выглянул из-за угла. Мне чуть не стало плохо: человек был в полицейской форме. С минуту я не двигался. Когда все-таки

[1] Сколько мы здесь торчать будем? (*исп.*)

решился переместиться, ситуация улучшилась ненамного. Но, во всяком случае, я понял, что обращаются не ко мне. Второй голос ответил:

— Hasta que lo cogimos[1].

Таким образом, вход в переулок охранялся двумя полицейскими. Я должен был предвидеть, что они не оставят без наблюдения всю зону. Мне только было непонятно, почему Полночь не предупредила о них. Впрочем, вполне возможно, агентов не было, когда она проходила, или их послали уже после ее возвращения.

Полицейские больше не разговаривали. Может быть, им надоела слежка, а возможно, у них не было желания беседовать. Совсем рядом послышался скрип обуви одного из них, и я испугался, что запах одежды выдаст меня.

Шаг за шагом я начал отступать, ощупывая ногой землю перед тем, как ступить. На третьем шаге почувствовал себя спокойнее и попятился уже более уверенно. Без шума, разумеется.

Я был блокирован. Можно попробовать выйти с другого конца переулка, но раз полицейские поставлены здесь, очень вероятно, что у того выхода меня ждет еще одна парочка. Если они не приняли столь элементарные меры безопасности, значит, с головой у них не все в порядке.

Но прежде чем решил, как лучше поступить, прежде чем снова добрался до двери, из которой вышел, я оказался в плену этой «кишки». Теперь меня блокировали сзади.

Я услышал приближающиеся шаги. По переулку кто-то шел, вдали смутно виднелась фигура. «Зажат с двух сторон», — подумал. И не было никакой двери, куда можно было нырнуть. Я перешел на другую сторону улочки, но не пошел к перекрестку, где стояли два стража. Они бы обязательно остановили меня. Предпочел идти навстречу приближающимся шагам. Мне казалось, что по походке смогу определить, случайный это человек или он направляется именно ко мне. Если буду идти навстречу ему с опущенной головой, то, может быть, мне и удастся пройти мимо, не вызвав подозрения.

Расстояние между мной и неизвестным быстро сокращалось. И вот мы — друг перед другом. Еще шаг — и я пройду мимо. Еще шаг, и я в безопасности.

Это была женщина. До меня донесся запах духов, женщина коснулась меня ногой. Создалось впечатление, что в этом городе слишком много проституток.

В тот момент, когда поравнялись, она зацепила своей рукой мою. Получалось, что я неожиданно был остановлен девушкой и, если бы продолжил движение, вынужден был бы тащить ее, как на буксире.

Она сказала:

— Come le va, marinero?[2]

В темноте плохо ее видел, хотя она и держалась за мою руку. Показалось, что глаза у нее закрыты.

Она еще что-то проговорила, я уловил слово «copita»[3]. Может, просила угостить ее выпивкой?

И тут в голову пришла идея. Я не пытался больше освободить свою руку, напротив, повернулся к ней и обнял за шею.

— Хорошо, — сказал я. — Хочешь выпить? Иди ко мне, так… Нет, поближе, дорогая… Вот так, хорошо. Теперь мы пройдем с тобой за угол.

---

[1] Пока не схватим его *(исп.)*.

[2] Угостите, морячок? — *исп. (немного искаженный)*.

[3] По стаканчику.

Кажется, она поняла фразу, сказанную на английском. Только где она его учила, одному богу известно.

— Вы правы, — согласилась спутница сердечно.

— Продолжай говорить, — попросил я. — Говори еще.

— Вы правы, вы правы, вы правы, — повторяла она как заводная.

Я с трудом продвигался вперед, так как крепко прижимал к себе девушку, и мне пришлось чуть ли не нести ее. В волосах у незнакомки был большой гребень, и он ей очень шел. К тому же, этот гребень почти полностью скрывал мое лицо именно с той стороны, где находились полицейские.

— Что ты хочешь? Вино, ром?

— Вы правы.

— Хорошо, — похвалил я ее, растягивая слова. — Поворачиваем.

Мы свернули за угол и, можно сказать, коснулись тех двоих. Прошли очень близко от них. К счастью, она была с той стороны. Агенты, один в гражданском, другой в форме, скучали, прислонившись к стене.

Я шел с девушкой неуверенным шагом, как будто достаточно выпил. Видно, она знала их обоих, и для нее важно было показать мне это. Впрочем, меня такой вариант тоже устраивал.

— Привет, ребята! — весело выпалила она, повернув к сыщикам голову. — Смотрите, кого я нашла! Видите?

Девушка говорила саркастическим тоном и, может быть, показывала им язык.

Наверное, перед этим они посмеивались над ней, что не нашла клиента.

Я ухмылялся вовсю, так, чтобы мое лицо стало менее узнаваемым. К счастью, эти двое агентов были не их тех, кто участвовал в погоне за мной.

Мы уже отошли на достаточное расстояние, но я продолжал играть свою роль.

Я прижимал незнакомку, пока не добрались до следующего перекрестка, где она вдруг обнаружила, что свободна, так как я удаляюсь от нее.

— Увидимся здесь, — сказал ей, указывая большим пальцем на место, куда пришли.

Девушка знала только одну фразу по-английски, но компенсировала ее потоком испанских фраз, брошенных мне в лицо.

— Вы правы, — поправил я ее.

Прежде чем пропасть у девушки из вида, я заметил, как она наклонилась, оглядываясь вокруг в поисках камня, чтобы бросить в меня. Теперь, когда вышел на одну из главных артерий города, мне надо было быть очень внимательным. Обстановка изменилась: здесь сильное освещение, не то что в переулках, отходящих в стороны. По сравнению с предыдущим мраком, свет просто ослеплял. Через каждые пятьдесят шагов стояла чугунная колонна, поддерживающая красивую кисть из пяти ламп с позолоченными шарами. Да и кафе со столиками, размещенными прямо на тротуарах, тоже давали много света.

Кафе я должен был обязательно избегать. Кто гарантирует, что здесь не находится один из агентов, знающих меня в лицо? Пройтись перед этими столиками — как подняться по трапу. Весь на виду. В течение получаса я понялл факт, довольно неприятный для меня: Гавана никогда не спит. Говорят, Нью-Йорк никогда не спит, но по сравнению с Гаваной Нью-Йорк идет спать в десять вечера. Нужно побывать в тропиках, чтобы увидеть, как город может бодрствовать до утра. Ну что ж, у меня появился удобный случай оценить ночную жизнь Гаваны. Кроме кафе мне надо было остерегаться и трамваев. Вот двигается очередной, в голубом сиянии, рассеивая полумрак светом фар.

К несчастью, я не мог покинуть проспект, чтобы следовать по какой-нибудь другой, менее оживленной улице. Инструкция, данная Полночью, не позволяла отклоняться от выбранного маршрута, который сам по себе был достаточно сложный. Я отлично понимал, что, войдя в какую-нибудь поперечную улочку, определенно потеряю ориентир и потом не в состоянии буду вернуться назад. Гавана не разрезана на ровные квадраты, как Майами, ее улицы располагались довольно неравномерно.

Наконец-то полдела сделано! Никто не кричит мне вдогонку, никто не преследует. Я добрался до мраморной статуи, о которой предупреждала Полночь, и повернул в ту сторону, куда она мне сказала. С этого момента дела пойдут лучше, потому что освещение опять уменьшилось. Здесь было безопасней, чем на проспекте. Я находился в другой части города, противоположной китайскому кварталу. Теперь я все дальше уходил от пульсирующего сердца центра. Улицы были затемненные, воздух свеж, людей встречалось мало.

Путь был долгий, и я время от времени повторял в уме инструкции Полночи, проверяя себя, чтобы не ошибиться. Я был не очень образован и умен, но обладал хорошей памятью. Точнее сказать, механической памятью. Что однажды в голове отпечаталось, там и останется. Полночь дала основные ориентиры, чтобы найти улицу, не перегружая меня названиями, — их, между прочим, я не смог бы даже выговорить правильно, — но подчеркивая характерные детали, которые встречу на своем пути.

Ночь была теплой. Временами из порта долетал бриз, но он лишь вводил меня в заблуждение, потому что не нес прохладу. Было жарко. Главным образом, из-за ходьбы. Кроме того, непривычная одежда и пружинистая походка — непременные особенности роли моряка — утомляли меня.

И вот я добрался до цели. Прошел мимо маленького кинотеатра, который являлся последней отметкой, данной мне кубинкой. Он был пуст — время позднее. Вывеска «Чине» и различные афиши, приклеенные у входа с обеих сторон. Повернул в другую сторону и очутился на улице Калле Барриос.

Полночь не могла сказать точно, где находится студия-жилище фотографа, так как в «Слоппи» тоже точно не знали. С этого момента мне самому надо было искать дом.

Я медленно передвигался от двери к двери. Зажигал спичку перед каждой в поисках таблички или другого указателя. Так как нужный человек фотограф по профессии, то он обязан был иметь на двери вывеску.

Мне встречались различные таблички — дантиста, портнихи, даже менялы, но той, которую искал, не было.

Я закончил проверку одной стороны улицы и принялся за другую, следуя в обратном направлении. Однажды вынужден был остановиться — прямо на меня шел тип. Может, его заинтересовали мои поиски с помощью спичек? Дал ему пройти, и человек чуть не задел меня. Он посвистывал. Я слышал, как он удаляется и сворачивает за угол. Кто бы он ни был, я завидовал ему. У него не убили любимую женщину несколько часов тому назад. Он мог возвращаться домой посвистывая!

Пожав плечами, зажег еще одну спичку и осветил очередную вывеску. Пламя не успело еще разжечься, а я уже прочитал: «Campos. Retratos y Fotografos». Я узнал имя, которое называла мне Полночь, последнее слово говорило о профессии. Это был человек, которого я искал! Под вывеской нарисована рука с пальцем, указывающим, где вход. Эта деталь показалась излишней, но каждый думает по-своему. Там же стоял маленький номер «3», означающий этаж.

Я потушил спичку и вошел в дом. Очевидно, свет здесь экономили и на ночь не включали. На ощупь нашел лестницу и начал медленно по ней подниматься. Насчитал две лестничные площадки, и когда дошел до следующей, понял, что прибыл на место. Ошибка исключалась — это был последний этаж.

Я зажег еще спичку, чтобы определить нужную дверь. Но и в этом не было трудностей: на площадку выходили две двери, одна из которых была дверью туалета. Не имело смысла открывать ее и заглядывать внутрь — чувствовалось и так.

Я повернулся к другой двери и, собрав мужество, постучал.

«Как смогу понять его? — подумал. — Может быть, он знает кое-что по-английски. Раз общается со многими людьми».

Я попытался вспомнить, произносил ли фотограф хоть слово по-английски, но так и не вспомнил. Слишком много событий произошло с тех пор.

Никто не ответил. Парень, наверное, видит первый сон. Я постучал снова, на этот раз сильнее.

С помощью денег мы бы лучше поняли друг друга — деньги говорят на любом языке. Но у меня их не было, все оставил Полночи. Ладно, если не будет получаться, у меня есть два хороших аргумента в виде кулаков. Придется убедить таким способом, если не удастся по-другому.

Он не просыпался, скотина! Тогда постучал посильнее и подольше. Попробовал открыть дверь, но она была заперта. Надежды никакой.

Я заколотил в дверь изо всей силы. Удары громыхали по всему спящему дому, создавая эхо, и утихали только на мгновение, когда я переставал колотить.

Внизу открылась дверь, и женщина прокричала скрипучим голосом:

— Перестаньте!

Я остановился, раздумывая, стоит ли стучать еще. Решил, что надо прекратить. Если бы фотограф был дома, он бы уже встал. Женщина внизу опять вошла в свою квартиру, хлопнув дверью.

Несколько минут оставался в неподвижности, чтобы дать женщине время заснуть. Потом зажег спичку, исследовал замок и понял, что вскрыть его непросто. Но стоило ли подвергаться риску, чтобы вернуться с пустыми руками?

Над дверью имелось полукруглое окно из непрозрачного стекла. Я заметил, что рама стоит не вертикально, а слегка наклонена внутрь, как будто сломана. Может, попробовать открыть окно и пролезть через него?

Да, я должен попробовать во что бы то ни стало. Подпрыгнул и ударил по стеклу. Ничего. Я повторил операцию. Рама немного сдвинулась. Тогда, ухватившись руками за внешний обод окна, я поставил ногу на ручку двери и поднялся повыше. Толкнул плечом стекло, и рама довольно легко сдвинулась внутрь. Она была на петлях. Я открыл окно полностью. Поддерживая равновесие на ручке двери, попытался перебраться на другую сторону, но это оказалось не таким простым делом. Рисковал упасть и удариться головой, пораниться. Кроме того, грохот от падения мог встревожить соседку, которая, заинтересовавшись, могла подняться сюда.

Я подумал о внутреннем замке. Находясь в неудобной позиции — перевесившись через окно вниз головой, протянул руку и нащупал внутреннюю ручку. Нашел над ней маленький ключик и повернул его.

Теперь нужно спуститься опять к наружной стороне двери, но удалось это не сразу. Был момент, когда боялся провести остаток ночи в таком подвешенном положении. Наконец, с синяком на голове, я упал на ноги перед этой проклятой дверью. Повернул ручку и вошел в квартиру.

Невольно в памяти всплыл момент, когда я крадучись проник в комнату Полночи. Это было несколько часов назад. А может быть, прошел год? Правда, здесь темнее, не видно даже горящего уголька сигары.

Мне казалось, что я ослеп, что закрыт со всех сторон черными бархатными шторами. Мог только дышать.

Подумал, что фотограф должен находиться дома, раз дверь закрыта изнутри. Но тогда как объяснить, что он не слышал весь этот шум?

Хотел зажечь спичку, но потом отказался от этой затеи. Лучше включить освещение. Если хозяин квартиры занимался фотографией, значит, в доме есть электрический свет. Я повернулся и принялся шарить рукой по стене рядом с дверью. С одной стороны косяка и с другой. Выключателя не было.

Я сделал несколько шагов к центру комнаты. Что-то коснулось моего уха. На мгновение показалось — комар, повернул голову, и эта штука коснулась меня с другой стороны. Протянул руку и натолкнулся на что-то рукой. Это был выключатель, который я так долго искал. Свет хлынул прямо на мою голову, подобно ослепительному водопаду. Увидел, что держу в правой руке электрический шнур с выключателем.

После темноты на секунду ослеп. Потом оставил шнур и осмотрелся.

Но то, что увидел, мне не понравилось.

8

Я находился в маленькой комнатке-мансарде, типичном помещении посредственного фотографа. С одной стороны — стена нормальной, или почти нормальной, высоты, с другой — стена сокращена до полутора метров покатым потолком. В этом скошенном потолке — окно.

Окно, или слуховое окно, оказалось без стекла, лишь по краям рамы виднелись остатки. Через разбитое окно мерцали звезды. Внизу, на полу, рассыпаны осколки стекла. Все это означало нелегальное вторжение в дом. Как раз под окном стояло кресло, и это заставляло думать, что уходили также нелегально. Видно, кресло поставили там после того, как упало стекло, потому что на нем не было осколков.

Решить загадку не составляло большого труда. Кто-то с крыши разбил слуховое окно и спрыгнул сюда. Затем выбрался наружу тем же путем, пользуясь креслом, как лестницей.

Не было сомнений и в том, что произошла драка. Два кресла опрокинуты, и на одном даже сломаны две ножки. Переносная тренога фотографа покоилась на полу. Рядом валялся треснувший, с опустошенной внутренностью аппарат. Очевидно, кто-то вытаскивал пленку, а потом использовал его в качестве оружия.

Два портрета упали со стены, третий косо свисал с небольшого крюка.

Больше ничего примечательного в этой половине мансарды не находилось. Справа от меня свисал занавес, который отделял часть комнаты. Занавес был задернут, но как-то косо, как будто ему что-то мешало.

Я подошел к нему, отодвинул и заглянул внутрь. Там виднелся маленький прямоугольник пространства, который фотограф, вероятно, использовал как альков и как темную комнату для проявления снимков. Там же стояли раскладушка и тазик, достаточно объемный, чтобы служить для проявления негативов. Тазик был полон раствора, но снимков там не было. Что я и констатировал, пошарив рукой по дну.

В спальне по диагонали была протянута проволока; ею фотограф пользовался, чтобы развешивать негативы для просушки, как белье. На

проволоке негативы не висели, зато пол был усеян этими скрученными кусочками целлулоида. Вероятно, кто-то в спешке просматривал их, а потом отбрасывал.

Не теряя времени, я тоже просмотрел один за другим все негативы, но тот, что искал, не нашел. Я быстро определил, была ли пропажа. На земле валялось восемь негативов, в то время как на проволоке висело девять прищепок для них. Итак, один негатив исчез… через слуховое окно.

И тем же путем пропал фотограф. По всей видимости, он спал на раскладушке, судя по тому, как сдвинуто легкое одеяло. Услышав шум разбитого стекла, он, должно быть, спрыгнул с постели.

Вероятно, у него не было времени одеться — пиджак, рубашка и галстук валялись на полу, мятые и растоптанные. Видно, его утащили отсюда прямо в ночной рубашке. Самое большое, ему дали время надеть брюки и туфли, прежде чем принудили следовать за незнакомцами на крышу. Я решил так потому, что не было вокруг ни туфель, ни брюк.

Должно быть, фотограф не хотел идти. Обстановка в комнате говорила о том, что он оказывал сопротивление. Может быть, в конце концов, потерял сознание, и они его унесли. Я заметил пятно крови на простыне, висящей рядом с занавеской. Попробовал пальцем пятно, оно было влажным. Итак, вторжение произошло немного раньше моего. Соперники ударили меня ниже пояса.

Фотограф защищался. А может, я просто приписал ему эту заслугу?

Я медленно вышел за дверь. Потом вернулся и выключил свет. Мансарда погрузилась в темноту, в какой находилась, когда сюда вошел.

Так испарилась единственная моя надежда спастись. Я закрыл за собой дверь и спустился по темной лестнице.

9

На обратном пути через город я не раз спрашивал себя, почему иду назад. Зачем опять беспокоить Полночь? Я не намерен делать этого. Несколько раз пробовал отклониться от маршрута, отпечатанного в памяти, по направлению к морю, но соблазн оставался непреодолим. Странно, как вода и берег моря притягивают, когда находишься в скверном состоянии и не знаешь, что делать дальше, где приклонить голову.

Но я отбрасывал подобное желание и держался подальше от моря и порта, потому что полицейские были в курсе этого притяжения. Они отлично знали, что эти места манят тех, кого разыскивают. Конечно же, они следят за портом и его окрестностями.

Поэтому я продолжал путь по указанной улице, но теперь уже в обратном направлении. Обратный путь не казался трудным, как некоторое время назад. Может быть, потому, что дорога была известна, и это внушало доверие. А возможно, сейчас я был индифферентен к случайному аресту. Исчезло доказательство, на которое рассчитывал, меня охватила глубокая депрессия. Я вернулся в ту точку, из которой начал.

В кафе уже не было такого оживления, уменьшилось освещение. Становилось поздно даже для города, привычного к ночной жизни. Какое-то кафе было уже закрыто, в другом официанты укладывали штабелями стулья и столы. Трамваи тоже проходили реже.

Ко мне подошел цветущий на вид негр в белом костюме. Он что-то спросил. Вопрос безобидный, думаю, судя по его спокойному лицу, но я не понял. Заметил только, что такое черное в яркой белой одежде казалось негативом фотографии. Очевидно, после случившегося негативы стано-

вились идеей-фикс в моем уме. Он повторил вопрос, но после того как я показал, что не понимаю, бросил это занятие и пошел искать кого-нибудь другого. Кто знает, может, он просто спросил спичку, но я все равно старался не очень выпячивать свое лицо. Это был единственный инцидент, который произошел со мной на обратном пути.

Не заметил и двух агентов, контролирующих вход в переулок. Я бы увидел их на расстоянии, несмотря на слабое освещение. Не было двух теней на углу. Они могли прятаться в переулке, но я сомневался. Агент редко постоянно стоит на одном месте, если только не получит новый приказ.

Я свернул за угол и также не заметил подозрительных теней. «Нужно быть бдительным, — подумал. — Пауза не повредит».

Остаток пути оказался легким. Я нашел вход, поднялся по лестнице и постучал, как договаривались, чтобы Полночь меня узнала. Ей понадобилось несколько минут, чтобы подойти и открыть дверь. Вот мы опять в первоначальной точке: стоим у входа в комнату.

Наверное, кубинка прочитала о крахе надежд на моем лице

— Mala suerte?[1] — пробормотала она.

— Если хотите сказать, что я ничего не сделал, то вы неправы. — Я слегка притронулся рукой к козырьку фуражки.

Мы стояли, прислонившись к косяку.

— Ну, входите, чего ждете?

— А что мне там делать?

— А что вы будете делать в дверях?

Я медленно шагнул через порог. Полночь подошла к двери и закрыла ее за мной.

— Кто-то опередил меня, — сухо произнес. — И забрал не только негатив, но и фотографа.

— Carajo[2], — вполголоса ругнулась она.

— Вы правы, — согласился я. — Это фактически доказательство. Значит, на фотографии было то, что могло меня спасти. Иначе, они не устроили бы погром в студии фотографа, чтобы завладеть негативом. Кстати, преодолевая немалые трудности. Они похитили фотографа, потому что бедняга уже проявил негатив и, вероятно, видел кое-что. Если бы это было не так, то злоумышленники просто оглушили бы его и оставили лежать в мансарде. Сцена, которая проявилась на негативе, отпечаталась у него в мозгу. Вот почему они унесли фото и фотографа. Жаль, что ко мне эта идея пришла с опозданием. Мог прийти туда раньше и взять негатив!

Я отодвинул ее руку и собрался снова открыть дверь. Хотел уйти.

Женщина не пускала.

— Вы не уйдете.

— А что мне остается делать? Не могу же расположиться здесь до конца жизни в ожидании еще одного визита полиции.

— Что вас смущает? Боитесь скомпрометировать меня? — с горечью проговорила Полночь. — Только «честные люди», те, у которых все гладко, могут думать, что мужчина и женщина ночью, под одной крышей, обязательно ложатся вместе в одну постель. Мы, «mala»[3], сделаны из другого теста. Однажды, в Новом Орлеане, я тридцать дней провела в одной комнате с таким же, как вы. Никто из нас не мог выйти, и могу сказать, что мы вели себя лучше многих богатых из Ведадо, у которых апартаменты в

[1] Неудача *(исп.)*.

[2] Черт возьми. — *исп. (искаженный)*.

[3] Плохие *(исп.)*.

тридцать комнат. Мы были заняты слежкой за шпиками, а не тем, чтобы смотреть за собой, одеты мы или нет. Здесь есть кровать и есть пол. Что нам нужно? Нас всего двое.

Кубинка подвела меня к кровати.

Мы сели.

— По крайней мере, вы проведете здесь ночь.

— Они будут искать меня сотню, тысячу ночей. Как я могу, оставаясь здесь, доказать свою невиновность?

Полночь посмотрела мне в глаза.

— Вижу, вам многое нужно растолковывать, чтобы дошло. Вы, северяне, не рассуждаете так прямо, как мы; предпочитаете кривые дорожки. — Она по-приятельски ударила два раза по моей груди тыльной стороной ладони. — У вас есть одна возможность, она не пропала. Эту возможность вы имели и тогда, когда отправились искать фотографию. Только теперь вместо негатива должны найти фотографа!

— Одни слова! — возразил я.

Полночь попыталась проиллюстрировать свою правоту жестами.

— Что легче отыскать, человека среднего роста или маленький негатив, который можно засунуть в карман? Неужели вы не понимаете, «hombre»[1], что они, наконец, выдали себя? Теперь, исходя из факта похищения фотографа, вы можете сделать вывод, что он знал об убийстве и мог вам помочь. Он что-то увидел на негативе, когда проявлял. Сейчас можете надеяться на большее. Вы знаете гораздо больше, чем знали раньше.

— Конечно. Настолько больше, что не имею представления, что с ним делать! — скептически отозвался я.

— Теперь вы уверены, а раньше уверенности не было. Считайте, что видели негатив собственными глазами, — настаивала кубинка.

Нить ее рассуждений ускользала от меня. Я не совсем понимал, куда она ведет.

— Хорошо, я знаю. Но полиция не знает. Убедить меня нетрудно, я же не считаю себя виновным. Необходимо полицию убедить в моей невиновности, а не меня.

— Я знаю способ, как заставить преступников раскрыться, показать полиции, что они виновны. Так же, как они показали это вам. Существует такая возможность. Все зависит от того, готовы ли вы рискнуть своей жизнью при ставке десять против одного.

Я коротко рассмеялся.

— Поднимите выше, учитывая риск. Двадцать против одного. Двадцать пять против одного. Такое вас устроит? И какое значение имеет моя жизнь теперь, когда я потерял Еву? Я не цепляюсь за жизнь.

Полночь одобрительно положила руку мне на плечо.

— Хорошо сказано, чико! Убедительно. Теперь вижу, что вы в порядке.

— Я рад, что наши взгляды совпадают. Так что у вас за идея? — спросил я. — Говорите.

— Вот она. Преступники должны схватить вас так же, как схватили фотографа. Вы должны попасть им в руки, но так, чтобы это казалось случайным, а не намеренным.

— Не понимаю. Они тут же передадут меня полиции. Как раз от этого я убегаю уже в течение нескольких часов.

— Нет, они не сделают этого! Разве вы не понимаете, чико, что теперь они уже не могут это сделать? Теперь уже вы знаете, где фотограф. Преступники схватили его, чтобы заставить замолчать. Вы можете доказать,

[1] Человек *(исп.)*.

что фотографа убрали, его нет. Никто не может отрицать этот факт, потому что фотограф существовал, вы его не выдумали. А где он сейчас? С ним все хорошо? Значит, даже если вы не в состоянии доказать свою невиновность, вы можете обвинить их в преступлении. Вина за это преступление падет на них, и они это хорошо знают, поверьте мне. Если попадете им в руки определенным образом, то полиция наверняка вас не увидит. Точнее сказать, не увидит вас живым. — Она сняла с моего плеча воображаемую пылинку. — Вы слушаете меня?

— Конечно! Мы дошли до пункта, что живым меня не найдут. Но это решение кажется не слишком изобретательным. Чтобы умереть, я могу перерезать себе горло и здесь. Так будет быстрее.

— Подождите минутку, — проговорила Полночь снисходительным тоном. — Не запутывайте. Они не могут освободить фотографа, потому что он расскажет полиции о фото. Схватив вас, они не дадут вам уйти, потому что вы расскажете полиции о фотографе. Claro[1], а?

— Да, claro, — признался я. — Но почему думаете, что фотограф все еще жив? Если вы считаете, что тот, кто попал им в руки, больше ничего не скажет, значит, и с фотографом они поступили так же. У них есть такие же мотивы убрать его с дороги.

— По-моему, он еще жив, — ответила Полночь. — Я думаю, в студии преступники его не убили. Какой им смысл тащить за собой труп, да еще таким необычным способом. Они бы убили его в студии и там бросили. — Кубинка сделала быстрое движение рукой, держащей воображаемое лезвие в верхней части горла. — Значит, он был еще жив, когда тащили его с собой. Сколько времени он останется жив? Вот в чем вопрос. Либо они намерены избавиться от свидетеля за городом, в таком месте, где труп обнаружат не слишком быстро, либо собираются бросить его в океан, где труп не найдут.

— И есть основание полагать, что если я попаду им в руки, мне уготована та же участь, да? Это вы сами придумали? — с иронической усмешкой произнес я.

— Это только первая часть моей идеи. За ней немедленно следует вторая, как говорят китайцы. А если не последует, то будет плохо для вас. Потому я оценила ваш риск как десять к одному. Итак, первая часть: вы попадаете им в руки, и они решили вас убрать. Часть вторая: вы и они, вся их шайка, в итоге попадают в руки полиции, которая узнает правду. Здесь полиции не надо много трудиться, чтобы прояснить дело. Виновные сами выдадут себя. Кто вас похитил? Кто пытается заставить замолчать фотографа? Вы хотели устранить их или они собирались убрать вас? Не забывайте, в руках у этих типов оказались два свидетеля — вы и фотограф, — и они хотели вас убрать. А это очевидный признак того, что они что-то прячут. Вы же, напротив, ничего не прячете. Ну, что скажете? Как вам мои рассуждения, а?

— Прекрасно. Я нашел, как обеспечить себе приятное времяпрепровождение на весь субботний вечерок, точнее, на всю оставшуюся ночь.

Полночь с упреком подняла руки.

— Это единственный путь, который вам остается. Но почему вы так к нему относитесь? Если есть что-то лучшее, говорите.

— Да, это единственный путь, который мне остается, — признался я. — Но поймите меня правильно. Я не пытаюсь увиливать. — Поднялся с кровати. — Я готов подвергнуться риску десять против одного. Мне это подходит. Буду рисковать и при пятидесяти против одного. Лишь спрашиваю себя: удастся ли этот трюк?

[1] Ясно *(исп.)*.

— Почему он не должен удасться? — живо отреагировала женщина.

— Начнем с главного. Итак, первая фаза: я попадаю им в руки. Однако скажите мне, как, черт возьми, я найду их, когда не знаю даже, кто они и где прячутся? Объясните, куда нужно идти, чтобы попасть им в руки? Я что, должен гулять всю ночь, а на спине у меня будет написано: «Я ищу вас, чтобы вы меня похитили»?

— Это неостроумно, — сделала замечание Полночь.

— Не буду знать, даже если и встречу их, — пробормотал я. — А кто их знает, в конце концов?

— Замолчите! — Полночь вытащила окурок сигары и, наклонившись над пламенем свечи, принялась его раскуривать. — Любую вещь, собранную из разных кусков, можно разобрать. Эта искусная ловушка была сооружена против вас. Задача состоит в том, чтобы найти швы и разделить на куски. Если возьмемся за это дело, у нас может получиться.

— Что нужно сделать? — согласился я без энтузиазма.

— Начнем с жирного китайца, Тио Чина. Без сомнения, он участвовал в этом деле. Первоисточник неприятностей — его лавка. Вы с Евой были направлены туда намеренно. Китаец подсунул вам не тот кинжал, написал неправильную квитанцию, в общем, сдал вас полиции.

— Да я шкуру с него спущу! — воскликнул. — Действительно, почему я все еще здесь? Почему раньше об этом не подумал? Мне нужно найти его!

— Успокойтесь! — сказала кубинка. — Вломиться в его лавку и разбить там все — не принесет вам никакой пользы. Китаец начнет визжать, как недорезанный поросенок, прибежит полиция и арестует вас. Так опять вернетесь в свой первоначальный пункт.

— Кажется, что сейчас вы противоречите себе, Полночь. Совсем недавно говорили, что преступники схватят меня и ни в коем случае не отдадут полиции!

— Конечно, если похитят вас при других обстоятельствах. Они вас уберут, если будут убеждены, что действуете из хороших побуждений. Вы не должны вызвать у них подозрения, черт возьми! Они вас не похитят, если влезете в лавку и побьете китайца. Ведь Тио Чин наверняка действовал не один, он работал от имени кого-то другого. Он же вас раньше никогда не видел, так по какой причине сделал вас виновным? Ответ один: за спиной у него кто-то есть.

— Понятно! Это снова переносит нас назад, во Флориду. Если китаец действовал из плохих побуждений, — а есть все основания верить этому, — значит, он должен работать на Романа.

— Да. Но теперь вам нужно выявить связь между этими двумя людьми. Именно здесь, в этой конструкции, видно соединение. Может, теперь найдем место, где они должны вас похитить?

Я надвинул фуражку на лоб.

— Ну вот, я задаюсь вопросом: что может быть общего у делового человека, владельца ночных баров, такого, как Роман, и китайского торговца в Гаване? Китаец здесь продает сувениры и антиквариат из Китая. Вещи, которые не годятся Роману для дела. Я не видел ничего китайского в его апартаментах. Там, наоборот, все наисовременнейшее. Однако эти двое должны иметь какие-то общие интересы.

— Вы возили хозяина на машине и ничего не знали о его делах? Что было главным источником его доходов?

— Я возил его в ночные рестораны и по разным местам, но в пределах города.

— Он никогда не уезжал? Может, на север, когда рестораны закрыты?

— Нет, он оставался там круглый год.

— Тогда Роман жил не только с доходов ночных баров, которые в Майами сезонные, — работают в дачный период и все. Остальные девять месяцев в году хозяин делал деньги другим способом.

— Об этом мне неизвестно, — признался я. — Если и была какая-то торговля, то она велась в пределах виллы, его кабинета. Я же все время находился снаружи, за рулем машины.

— Но миссис тоже ездила в машине и была его женой. Она вам ничего не говорила?

— Она, бедняжка, знала столько, сколько и я. Получала свою часть прибыли в виде бриллиантов, но я не верю, чтобы ей было что-то известно о делах Романа.

— Лично для меня это не достижение. Я очень любопытна, понимаете?

— Наверное, Роман действовал осмотрительно.

— Но ведь какие-то комментарии Ева делала по этому поводу, даже если не знала о делах мужа. Каждая женщина рассказывает мужчине, которого любит, все о мужчине, которого не любит. Такова женская натура. Значит постарайтесь вспомнить, что она вам говорила, находясь с вами наедине. Напрягите память.

Я вспомнил те утренние часы, когда мы убегали по аллее как можно дальше от виллы, чтобы никто не увидел, как мы целуемся. И вот неожиданно в памяти всплыло одно слово.

— Что такое «гуава»? — вырвалось у меня.

— При чем здесь это? Объясните.

— Сначала ответьте.

— Это фруктовая паста. Твердая, как резина.

— Так вот, однажды Ева меня спросила, что такое «гуава», так же, как и я вас спросил. Но я не знал. Она слышала слово «гуава» от мужа и на следующее утро сказала об этом мне, когда мы находились рядышком в машине.

Похоже, Полночь не интересовали наши любовные похождения.

— Por supuesto[1], — сказала она. — Продолжайте.

— При каждой нашей встрече Ева рассказывала обо всех маленьких событиях, случившихся днем или двумя днями раньше. События были незначительные, но она все равно рассказывала о них.

Полночь сделала нетерпеливый жест.

— Хорошо, поподробнее об этом случае. Может, вы вспомните детали, которые нам помогут, — согласилась кубинка.

— Одну минутку, попробую вспомнить… Так, она сказала, что ночью зазвонил телефон и она проснулась. Было четыре утра… представляете! Телефон стоял на ночном столике, рядом с его кроватью. Роман поднял трубку, и она услышала, как он сказал: «Подождите секунду. Я спущусь вниз, чтобы поговорить с вами из кабинета». Потом он надел халат и спустился вниз, хотя прекрасно мог разговаривать, находясь в постели. Шум, который шел из не положенной трубки, раздражал Еву. И она, полусонная, перевернулась на другую сторону, чтобы положить трубку на место. На мгновение она поднесла трубку к уху, чтобы узнать, разговаривает ли муж внизу. Так она услышала отрывок деловой беседы.

— И что она услышала?

— Буквально несколько фраз. Роман говорил с человеком, который, очевидно, работал на него. Тот сказал следующее: «Но я не могу держать

[1] Конечно, разумеется *(исп.)*.

катер всю ночь. Я должен ее выгрузить куда-то». Роман обругал этого человека. Он казался расстроенным оттого, что не знал о задержке. Ева услышала, как муж проворчал: «Почему не выгрузили вчера, как мы договаривались? Теперь у нас могут быть неприятности. Мне нужно посылать другой грузовик за товаром». Человек ответил: «Я здесь ни при чем. У того шефа были трудности». Роман размышлял минуту, потом Ева услышала, как он произнес: «Ладно, то, что выгружено, оставьте там, где есть. Я пошлю грузовик как можно быстрее. Сколько ящиков гуавы прибыло?» Второй ответил: «Пять дюжин: три и две». Больше она не услышала ничего. Положила трубку и притворилась спящей. Ева пересказала эпизод, не придавая ему значения. Да и я особенно в него не вникал.

— Должно быть, речь шла о контрабанде.

Я согласился.

— Ночь, катер, пустынное место на берегу. Роман срочно посылает грузовик, чтобы получить товар. Какой вид имеет гуава? Как ее продают?

— Гуаву покупают в бакалейных лавках в стандартных формах. Раскладывают слоями в деревянных ящичках, такой формы, как и ящички для сигар. Размером не выше пяти сантиметров. — И Полночь показала руками нечто продолговатое.

— Не понимаю. В своих ночных барах… Роман не мог сбыть такой товар, как фруктовый желатин!

— Потом, за гуаву не платят таможенную пошлину… Следовательно, никто не подумает перевозить ее контрабандой, — заметила Полночь. — Должно быть, речь идет о чем-то другом.

— Да, но о чем? Тогда у меня мекнула мысль, что речь идет о роме, который ввозят тайно. Но теперь, когда вы описали гуаву, это исключено. Ром перевозят в емкостях, а не в плоских шкатулках! Кроме того, в это время года контрабанда спиртным не приносит большого дохода… А Роман дней через десять после того разговора подарил жене прекрасный браслет, украшенный бриллиантами. Имел ли подарок отношение к телефонному разговору, я не знаю. Знаю, что Ева не любила этот браслет…

— Значит, дело прошло успешно, — подчеркнула Полночь. — Но это слишком большая прибыль, если речь шла об алкоголе. Подумайте, сконцентрируйтесь, попробуйте, может быть, вам удастся понять, что имелось в виду.

Не знаю, сколько времени я потратил на поиск решения этой загадки. Многое перебрал в уме, но ничто не ассоциировалось у меня с маленькими ящичками, по форме напоминающими те, в которых хранятся сигары.

До меня донесся неприятный запах, и я тряхнул головой. Потом повел носом и поинтересовался:

— Какой запах! Что это?

Это был тот самый резкий запах, который вызвал у меня раздражение, когда сидел один, ожидая прихода кубинки. Но почему я его опять почувствовал? Может, у меня с обонянием было что-то не в порядке, а теперь оно вернулось? Запах жженых перьев и недобродивших дрожжей.

— Это оттуда, от него, — кубинка показала большим пальцем на стену у себя за спиной. На стену, которая разделяла ее комнату и лачугу китайца. Послышалось нечто похожее на стон во сне. Потом легкий шорох, и больше ничего. — Не обращайте внимания. Вероятно, он затянулся опиумом. Этим он занимается частенько…

Полночь резко оборвала себя и уставилась на меня. Я, в свою очередь, тоже смотрел на кубинку. Это было озарение, которое неизвестно по каким каналам приходит к двум людям одновременно.

— Вот что это было! — воскликнула Полночь и щелкнула пальцами.

Я понял, что она имела в виду.

— Опиум, сырой опиум, покрытый слоем гуавы! А может быть, спрятан между двумя слоями, в тех самых ящичках, о которых вы говорили! Так вот он, источник доходов! Тысяча процентов прибыли — на каждый кусок. Десять тысяч процентов!

— Вот и связь с Чином. Китаец ввозит с Востока антиквариат и предметы искусства — вазы и разные шкатулки. Держу пари, что для этой цели они имеют двойное дно, которое веществом и заполняется. Потом он отправляет опиум клиенту. Так легче осуществлять торговлю. Если бы опиум приходил из Китая в шкатулках, риск был бы большой. Чин является… как это сказать по-английски?

— Посредником.

Я подумал о Еве. Неудивительно, что она ненавидела драгоценности Романа. Неудивительно, что хотела бросить их в воду вчера вечером, когда катер перевозил нас на берег. Конечно, она не знала о тайных делах мужа, в этом я уверен. Но инстинкт говорил ей, что есть грязь на этих бриллиантах. Ева чувствовала это и потому так сильно ненавидела их. Я вспомнил, как она говорила, что эти камни шепчут ей по ночам жалобными голосами. Голосами потерянных душ, ушедших в ад.

Я оторвал руку от глаз, открыл их. Полночь направлялась к двери. Она наклонилась, подняла юбку и пошарила в подвязке. Потом опустила юбку.

— Теперь знаю, как использовать ваши деньги!

Я понял, куда она собралась идти, понял, что хочет сделать с деньгами.

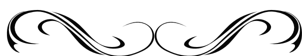
— Но люди в наркотическом дурмане не разговаривают, они вас не поймут.

Полночь помахала банкнотой.

— Это заставит говорить даже когда торчки находятся в нирване. Я несу ему запас новых снов.

Окончание следует.

Перевод с английского Валерия ЧУДОВА.





Стэнли ХОУТОН

Он уходит

Комедия в одном акте

Стэнли Хоутон прожил всего лишь 32 года. Он родился в 1881 году в Манчестере и умер там же в 1913 году. Занимался бизнесом, а в свободное от работы время регулярно публиковался на страницах местной газеты «Манчестер Гардиан», выступая в качестве театрального критика. Вскоре Хоутон решил попробовать себя на поприще драматурга и очень быстро приобрел известность как автор смешных и остроумных комедий. В английской литературе полно блестящих и именитых драматургов, составивших славу британского театра. Стоит только упомянуть современников Хоутона — Оскара Уайльда и Бернарда Шоу. Но пьесы молодого автора не остались незамеченными даже на фоне их феерического успеха. Особенно хороши одноактные комедии Хоутона, в которых он с присущей ему незлобивой иронией рисует нравы провинциальных обывателей, жителей его родного Ланкашира. Комедия «Он уходит» — одна из лучших в творческом наследии драматурга.

Действующие лица:

Миссис Слатер.
Генри Слатер — ее муж.
Миссис Джордан — ее сестра.
Бен Джордан — муж сестры.
Виктория Слатер — дочь Слатеров, 10 лет.
Абель Мерриуэдер.

Действие происходит в провинциальном английском городке в начале XX столетия. Время действия — суббота, послеобеденное время.

Гостиная в небольшом доме, обитатели которого, судя по всему, принадлежат к беднейшим представителям среднего класса. Слева от зрителей окно, шторы приспущены. Прямо перед окном софа, справа — камин и возле него кресло. В центре стены, обращенной к зрителю, дверь в холл. Дверь открыта, и зритель видит: справа лестницу, ведущую на второй этаж, по центру парадную дверь, слева стойку для шляп. Слева от двери стоит очень ветхий на вид секретер, справа — сервант. По центру сцены — обеденный стол со стульями. На каминной полке всякие безделушки и дешевые настольные часы. На огне в камине кипит чайник. Возле серванта валяются яркие мягкие шлепанцы: невооруженным глазом видно, что они абсолютно новые. Стол частично накрыт к чаю, остальная посуда разместилась на серванте. Рядом — свежие номера вечерних газет.

Возле стола энергично хлопочет миссис Слатер, полная краснощекая особа весьма вульгарного вида. Выражение ее лица не вызывает сомнений: такая дама ни перед чем не остановится на пути к своей цели. Женщина облачена в темное платье, но все же это не траурный наряд в полном смысле слова. Она вслушивается в голоса за окном, потом подходит к окну, распахивает его и зовет.

Миссис Слатер *(громко).* Виктория! Я кому сказала! Марш домой!

Миссис Слатер закрывает окно, снова опускает шторы и возвращается к столу. В комнату вбегает крупная девочка лет десяти, которая, впрочем, выглядит значительно взрослее своих лет, на ней яркое платье в цветы.

Миссис Слатер. Ты меня с ума сведешь, Виктория! Носишься по улице как угорелая! А тело твоего дорогого дедушки в это время покоится наверху. О чем ты вообще думаешь? В голове не укладывается подобное легкомыслие! Немедленно ступай к себе и переоденься! Скоро должны подъехать тетя Элизабет и дядя Бен. Еще не хватало, чтобы они увидели тебя в этом пестром платье!

Виктория. А с чего это они вдруг надумали? Тетя у нас сто лет не была.

Миссис Слатер. Нужно обсудить кое-какие дела нашего бедного дедушки. Как только мы с папой обнаружили, что дедушка умер, отец тут же отбил им телеграмму. *(Слышится шум возле входной двери.)* Господи, кого это нелегкая несет? Неужели они? *(Торопливо направляется к парадной двери и открывает ее.)* Слава Богу, это всего лишь твой отец!

В комнату входит Генри Слатер, слегка сутулящийся толстяк с обвислыми усами. На нем черный фрак, темно-серые брюки, черный галстук, на голове цилиндр, в руках он держит небольшой бумажный сверток.

Генри. Ну что? Приехали?

Миссис Слатер. А ты сам не видишь? Виктория! Быстро наверх! Надень белое платье, то, которое с черным пояском. *(Виктория уходит.)* *(Обращаясь к мужу.)* Конечно, не самый подходящий наряд для такого случая, но хоть что-то, пока не привезут траурные костюмы. Готова поспорить на что угодно! Моей драгоценной сестрице и в голову не пришло побеспокоиться о том, как им с мужем прилично выглядеть во время похорон. Здесь мы им нос утрем, это точно! *(Генри садится в кресло возле камина.)* Генри! Немедленно снимай обувь! Элизабет не преминет шпильку подпустить, если хоть пылинку обнаружит.

Генри. А я вот почему-то уверен, что они вообще не приедут. Помнишь, когда вы с сестрой ругались в последний раз, она кричала, что ноги ее больше не будет в нашем доме?

Миссис Слатер. Еще как приедут! Сию минуту заявятся. Уж кто-кто, а моя распрекрасная сестрица не станет терять времени даром. Ей же охота поскорее завладеть своей долей наследства. Да ты и сам прекрасно знаешь, какая у нее хватка, особенно на чужое. И в кого она только пошла такая? Ума не приложу!

Миссис Слатер распаковывает сверток, который принес ее муж, и выкладывает на блюдо ломтики языка.

Генри. Думаю, это у вас семейное.

Миссис Слатер. Что вы сказали, Генри Слатер? Извольте повторить!

Генри. Я имел в виду вовсе не тебя, дорогая, а твоего отца. Где мои тапки?

Миссис Слатер. На кухне. Кстати, они совсем дырявые. Нужно срочно купить новые. *(С надрывом в голосе.)* Думаешь, мне легко сейчас, да? Если хочешь знать, у меня сердце кровью обливается, когда я вижу

папины вещи, разбросанные повсюду, все эти милые мелочи… Как представлю себе, что он уже никогда не возьмет их в руки! *(Торопливо.)* А почему бы тебе не примерить папины шлепанцы? Какое счастье, что у него завалялась пара совершенно новых шлепанцев.

Генри. Но дорогая, они же мне будут жать!

Миссис Слатер. Ничего страшного! Со временем разносишь. Что же мне, по-твоему, их вон выбрасывать? *(Завершает сервировку стола.)* Генри! Между прочим, знаешь, о чем я подумала? Это бюро, что стоит в папиной комнате… Ты же знаешь, я всегда хотела, чтобы после его смерти оно досталось мне!

Генри. Ну, так реши вопрос полюбовно с сестрой, когда станете делить его вещи.

Миссис Слатер. Этого еще не хватало! Да как только Элизабет поймет, что оно мне нравится, сразу же начнет отчаянно торговаться за каждую вещь. Вот уж жадина, не приведи Господь! За пенни удавится!

Генри. А что если у нее тоже есть свои виды на это бюро?

Миссис Слатер. Какие такие у нее могут быть виды? Элизабет его в глаза не видела! Прикинь, сколько времени она у нас уже не была. Если бы бюро стояло здесь, в холле, ей бы и в голову не пришло, что оно папино.

Генри *(с негодованием).* Амелия, прошу тебя! *(Встает с кресла.)*

Миссис Слатер. Генри! Давай снесем бюро вниз! Мы еще успеем до их приезда!

Генри *(явно раздосадованный предложением жены)*. Ни за что!

Миссис Слатер. Генри, прошу тебя! Не упрямься! Но почему нет, скажи на милость?

Генри. Это же бог знает что! В такую минуту! Даже думать о таких вещах неприлично!

Миссис Слатер. Что здесь неприличного? Снесем бюро вниз, а на его место поставим эту развалюху. *(Показывает на секретер.)* Пусть Элизабет забирает мой секретер. На доброе здоровье! Я давно хотела от него избавиться.

Генри. А вдруг они заявятся как раз в тот момент, когда мы станем заниматься всеми этими перестановками?

Миссис Слатер. А я сейчас запру входную дверь. Так что будь спокоен: они ничего не увидят. Снимай фрак, Генри. За работу, и поживее! Мы это бюро в два счета стащим вниз.

Миссис Слатер выбегает в холл и запирает на замок входную дверь. Генри снимает фрак. Жена возвращается в комнату.

Миссис Слатер. Побегу наверх, уберу с дороги стулья, чтобы не путались под ногами.

Появляется Виктория. На ней то самое платье, которое приказала надеть мать.

Виктория. Мама! Помоги мне застегнуть сзади.

Миссис Слатер. Отстань! Не видишь, я занята! Попроси отца.

Миссис Слатер опрометью взбегает по лестнице. Генри начинает возиться с застежкой платья дочери.

Виктория. Папа, а почему ты снял фрак?

Генри. Мы сейчас с мамой понесем вниз дедушкино бюро.

В и к т о р и я *(погружается в глубокую задумчивость)*. Мы что, хотим захапать его себе до приезда тети Элизабет?

Г е н р и *(шокированный словами дочери)*. С чего ты взяла, дитя мое? Дедушка сам подарил бюро твоей матери перед смертью.

В и к т о р и я. Сегодня утром?

Г е н р и. Да.

В и к т о р и я. Ничего удивительного. Он же был пьян в стельку!

Г е н р и. Замолчи, пожалуйста! И никогда так больше не говори о покойном дедушке!

Наконец Г е н р и справляется с застежкой. Появляется м и с с и с С л а т е р с красивыми настольными часами в руках.

М и с с и с С л а т е р. Я решила, что их тоже нужно забрать. *(Ставит часы на каминную полку.)* Наши уже никуда не годятся, а эти мне всегда нравились.

В и к т о р и я. Но это же дедушкины часы!

М и с с и с С л а т е р. Замолчи! Отныне это наши часы. Понесли наверх секретер, Генри! Берись за этот угол. Виктория, не вздумай проболтаться тете о часах и бюро!

Выносят секретер из комнаты.

В и к т о р и я *(про себя)*. А я вот все же думаю, что мы попросту стырили дедушкины вещи.

Короткая пауза. Раздается громкий стук в дверь.

М и с с и с С л а т е р *(с лестницы)*. Виктория! Если это тетя Элизабет и дядя Бен, не смей открывать им!

В и к т о р и я *(подсматривает через штору)*. Мама, это они!

М и с с и с С л а т е р. Не открывай дверь, пока я не спущусь вниз. *(Стук повторяется.)* Пусть себе стучат сколько их душе угодно! *(В дверь уже не стучат, а барабанят, что есть мочи.)* Генри! Смотри, осторожнее! Не поцарапай стену.

Появляются Г е н р и и м и с с и с С л а т е р. Оба раскрасневшиеся и растрепанные. Они с трудом волокут массивное бюро. Водружают его на место секретера и начинают торопливо расставлять на нем всякие безделушки. Стук в дверь повторяется с удвоенной силой.

М и с с и с С л а т е р Готово! Открывай дверь, Виктория! А ты, Генри, надень фрак. *(Помогает мужу облачиться в траурный сюртук.)*

Г е н р и. По-моему, мы отбили штукатурку со стены, пока волокли его вниз.

М и с с и с С л а т е р. Да бог с ней, с этой штукатуркой. Как я? В порядке? *(Поправляет волосы у зеркала.)* Представляю себе физиономию Элизабет, когда она увидит, что мы уже почти в трауре. *(Швыряет мужу газету.)* Вот, возьми и садись в кресло! Постарайся сделать вид, что мы устали их ждать!

Г е н р и садится в кресло, м и с с и с С л а т е р стоит слева у стола. Оба погружены в чтение газет. В сопровождении В и к т о р и и появляются м и с с и с Д ж о р д а н и ее муж. Сестра м и с с и с С л а т е р — тучная самодовольная дама с несколько апатичным выражением лица, свидетельствующим о том, что такие, как она, всегда правы. На м и с с и с Д ж о р д а н умопомрачительный траурный наряд. Причем абсолютно новый, что говорится, с иголочки. Туалет довер-

шает огромная черная шляпа с перьями. Ее муж Бен тоже щеголяет в новеньком траурном костюме, он в черных перчатках, с черной траурной лентой на котелке. По виду жизнерадостный коротышка, любящий повеселиться и знающий толк в хорошей шутке. Он изо всех сил старается напустить на себя постное выражение лица, подобающее столь печальным обстоятельствам. Миссис Джордан величаво вплывает в комнату и с торжественным видом устремляется к миссис Слатер, целует ее. Мужчины обмениваются рукопожатиями. Миссис Джордан целует Генри. Бен целует миссис Слатер. Никто не произносит ни слова. Миссис Слатер с ненавистью рассматривает новенькие траурные костюмы своих родственников.

Миссис Джордан. Итак, Амелия, наконец-таки он ушел.

Миссис Слатер. Да, отошел. Ровно две недели назад, день в день, ему исполнилось семьдесят два.

Она всхлипывает. Миссис Джордан усаживается на стул слева от стола, миссис Слатер садится справа. Генри садится в кресло, Бен — на софу, возле него пристраивается Виктория.

Бен *(немного писклявым голоском)*. Ну же, Амелия! Полноте! Успокойтесь! Все мы смертны и рано или поздно уйдем. Могло быть и хуже.

Миссис Слатер. Не понимаю вас, Бен. Что хуже?

Бен. Согласитесь, на его месте мог оказаться любой из нас.

Генри. А мы вас заждались, Элизабет. Почему так долго?

Миссис Джордан. Ах, я просто не могла! Поверите ли, не могла и все тут!

Миссис Слатер *(с подозрением в голосе)*. Чего ты не могла?

Миссис Джордан. Не могла отправиться в путь, пока не купим себе траурные костюмы. *(Окидывает взглядом сестру.)*

Миссис Слатер. Мы тоже заказали, не переживай. *(Едко.)* Лично я терпеть не могу готовые вещи.

Миссис Джордан. В самом деле? Зато какое это моральное облегчение — облачиться в черное. Ты даже себе не представляешь. Но может быть, вы расскажете нам, как все случилось? Что сказал врач?

Миссис Слатер. Он еще не приходил.

Миссис Джордан. Как не приходил?!

Бен *(в один голос с ней)*. Разве вы не послали за доктором тотчас же?

Миссис Слатер. Разумеется, послала! Неужели я, по-вашему, совсем безмозглая? Я немедленно отправила Генри к доктору Принглу, но того как назло не оказалось дома.

Бен. Нужно было обратиться к другому врачу. Правда, Элиза?

Миссис Джордан. Естественно! Грубейшая ошибка!

Миссис Слатер. Но я подумала… раз доктор Прингл пользовал папу при жизни, то заключение о смерти тоже должен давать он. В конце концов, есть же понятие профессиональной этики.

Бен. Конечно, вам виднее, но...

Миссис Джордан. О да! Просто роковая ошибка!

Миссис Слатер. Перестань говорить глупости, Элизабет! Чем бы, интересно, нам помогли все эти другие врачи?

Миссис Джордан. Ну, знаешь ли… полно случаев, когда людей возвращают к жизни даже после того, как близкие уже смирились и даже успели привыкнуть к мысли об их смерти.

Генри. Такое бывает, если человек, скажем, утонул. А ваш отец, Элизабет, слава Богу, не утопленник.

Бен *(с юмором)*. Да уж! Утопленником ему стать не грозило. Он всю жизнь просто панически боялся воды. *(Смеется, но остальные молчат.)*

Миссис Джордан *(с надрывом)*. Бен! Прошу тебя! *(Бен сконфуженно замолкает.)*

Миссис Слатер *(задетая за живое)*. Папа мылся регулярно.

Миссис Джордан. Мылся он или не мылся, не о том сейчас речь.

Миссис Слатер. Сегодня утром отец немного выпил. Сразу после завтрака он собрался пойти заплатить свою страховку.

Бен. Очень предусмотрительно с его стороны.

Миссис Джордан. Папа всегда был очень обязательным человеком. Он был слишком порядочен, чтобы уйти на тот свет, не заплатив очередной взнос по страховому полису.

Миссис Слатер. Да, наверное. А по пути, как всегда, завернул в свой любимый паб «Колокольчики-бубенчики». И оттуда вернулся домой слегка навеселе. Я ему еще говорю: «Папа, сейчас придет Генри и будем обедать». А он мне в ответ: «Обед? Какой обед? Не хочу никаких обедов! Я иду спать!»

Бен *(качая головой)*. Надо же! Какое несчастье!

Генри. А когда я поднялся к нему, он лежал на кровати прямо в одежде. *(Поднимается с кресла и становится на коврик возле камина.)*

Миссис Джордан *(решительно обрывает)*. Хорошо! И что было дальше? Он же наверняка что-то говорил вам. Он вас узнал?

Генри. Да. Он разговаривал со мной.

Миссис Джордан. И что он сказал? Быть может, он хотел о чем-то предупредить вас?

Генри. Ни о чем он не предупреждал. Просто сказал: «Генри, будь добр, сними с меня ботинки. Кажется, я улегся прямо в обуви».

Миссис Джордан. Он, наверное, бредил.

Генри. Нет, он и вправду лежал на кровати в ботинках.

Миссис Слатер. А после обеда я понесла ему кое-что перекусить. Когда я вошла в комнату, он лежал с закрытыми глазами, будто спал. Я поставила поднос на бюро. *(Спохватившись, поправляет себя.)* То есть… на секретер. Потом подошла к нему, чтобы разбудить. *(Пауза.)* Но он уже был совсем холодный.

Генри. Я услышал, как Амелия зовет меня, и тут же побежал наверх.

Миссис Слатер. Увы! Было слишком поздно! Мы ничего не могли сделать.

Миссис Джордан. Он ушел.

Генри. Да. Отошел в мир иной.

Миссис Джордан. Я всегда знала, что это должно случиться именно так. Внезапно!

Пауза. Все всхлипывают, вытирают слезы.

Миссис Слатер *(резким движением поднимается с места и произносит будничным тоном)*. Так вы сейчас подниметесь к нему? Или вначале чай?

Миссис Джордан. Твое мнение, Бен?

Бен. Мне все равно.

Миссис Джордан *(внимательно обозревая стол)*. По-моему, чайник уже кипит. А потому давайте начнем с чая.

Миссис Слатер снимает с огня чайник и начинает возиться с заваркой.

Генри. И все же кое-что надо решить безотлагательно. Например, дать объявление в газетах.

Миссис Джордан. Я тоже подумала об этом. У вас есть какие-то конкретные пожелания касательно текста?

Миссис Слатер. Сгодится самый обычный. Такого-то числа, в доме своей дочери, по такому-то адресу… и так далее в том же духе.

Генри. Хотелось бы что-то поэтически возвышенное. Немного живого чувства, что ли!

Миссис Джордан. Мне нравится слово «незабвенный». Звучит красиво и, по-моему, очень возвышенно.

Генри. Пожалуй, после смерти мистера Мерриуэдера прошло еще слишком мало времени для того, чтобы бросаться столь сильными словами.

Бен. Ну почему же? Такого, как отец, едва ли забудешь на следующий день после смерти.

Миссис Слатер. А может быть, так: «Любящий муж, заботливый отец, верный друг»?

Бен *(с сомнением в голосе)*. Вы полагаете, нам поверят?

Генри. А какая разница?

Миссис Джордан. Да, главное, чтобы было красиво.

Генри. Мне вчера попался на глаза некролог в стихах в «Вечерних новостях». Очень неплохо, доложу я вам. *(Берет со стола газету и зачитывает вслух.)* «Пускай тебя забудут все, но вечно дорог ты мене».

Миссис Джордан. Ну уж нет! Что это за «мене»? Так никто не говорит. Верх безграмотности.

Генри. Но в газете же напечатали.

Миссис Слатер. Потому что стихи. Так нужно для рифмы.

Генри. Поэтическая вольность, так сказать.

Миссис Джордан. Никаких вольностей! Наше стихотворение должно донести до читателя главное: как сильно мы любили нашего дорогого папу, каким он был замечательным человеком, и вообще… какая это тяжкая утрата для семьи — его уход из жизни.

Миссис Слатер. О, ты, как я посмотрю, замахнулась на целую поэму. А знаешь, во что нам может обойтись подобный поэтический опус?

Миссис Джордан. Хорошо, хорошо! Вернемся к этому разговору после чая. И сразу же займемся его вещами. Составим список и все такое. У него в комнате есть какая-то мебель?

Генри. Ничего ценного.

Миссис Джордан. Да, ценностей у него было немного. Разве что золотые часы. Он обещал их после смерти нашему Джимми.

Миссис Слатер. Твоему Джимми? Впервые слышу.

Миссис Джордан. И тем не менее, он так говорил… когда жил с нами. Ты же знаешь, как он любил нашего Джимми.

Миссис Слатер *(опешив от подобной наглости)*. Нет, я ничего не знаю о том, как именно он любил вашего Джимми.

Бен. Не забудьте, есть еще деньги, которые причитаются по его страховому полису. Кстати, где квитанция о сегодняшнем платеже?

Миссис Слатер. Я ее в глаза не видела.

Виктория спрыгивает с дивана и подбегает к столу.

Виктория. Мама, дедушка сегодня утром ничего не успел заплатить.

Миссис Слатер. Но он же собирался в город. Сам говорил!

Виктория. Никуда он не ходил. Он только вышел из дома и тут же встретил на улице своего старого приятеля, мистера Татершалла. И они оба пошли в сторону церкви святого Филиппа.

М и с с и с С л а т е р. Наверняка потащились в свои «Колокольчики-бубенчики».

Б е н. Куда-куда?

М и с с и с С л а т е р. Да это наш ближайший паб. Его содержит вдова Джона Шоррокса, и отец там постоянно отирается. О Господи! Но если он не заплатил по страховке, то …

Б е н. Вы думаете, он не заплатил? Просрочил платеж?

М и с с и с С л а т е р. Скорее всего, да.

М и с с и с Д ж о р д а н. Мой внутренний голос подсказывает мне, что папа не заплатил. Да, так и есть! Ничего он не платил!

Б е н. Проклятье! Старый пьяница!

М и с с и с Д ж о р д а н. Ручаюсь, он все это нарочно устроил, нам назло.

М и с с и с С л а т е р. Какая черная неблагодарность! И это после всего, что я сделала для него! Все эти три года, пока он жил у нас. У меня просто слов нет для возмущения! Старый негодный мошенник!

М и с с и с Д ж о р д а н. Не забывай, мне пришлось терпеть его целых пять лет.

М и с с и с С л а т е р. Да, и все эти пять лет ты просто из кожи вон лезла, чтобы спихнуть его нам.

Г е н р и. Тише, успокойтесь! Мы ведь еще не знаем со всей определенностью, что он не заплатил.

М и с с и с Д ж о р д а н. Я знаю наверняка. Я с самого начала знала, что так оно и будет.

М и с с и с С л а т е р. Виктория, сбегай наверх и принеси связку ключей. Ту, которая лежит на туалетном столике дедушки.

В и к т о р и я *(со страхом)*. В его комнате?

М и с с и с С л а т е р. Да.

В и к т о р и я. Не пойду! Не хочу! Я боюсь.

М и с с и с С л а т е р. Не глупи! Никто там тебя не тронет. Ступай! *(Виктория неохотно уходит.)* Сейчас мы все проверим. Может, он положил квитанцию в бюро?

Б е н. Куда? В эту вещицу? *(Поднимается со своего места и начинает придирчиво рассматривать бюро со всех сторон.)*

М и с с и с Д ж о р д а н *(тоже встает)*. Кстати, откуда оно у тебя, Амелия? Раньше я его здесь не видела. *(Супруги принимаются исследовать бюро с дотошностью оценщиков мебели.)*

М и с с и с С л а т е р. Ах, это Генри купил. Приобрел по случаю.

М и с с и с Д ж о р д а н. Мне это бюро определенно нравится. Такая изысканная вещица. Вы купили его на аукционе?

Г е н р и. Я? Амелия, где я купил бюро?

М и с с и с С л а т е р. На аукционе.

Б е н *(пренебрежительно)*. А, так это подержанная вещь

М и с с и с Д ж о р д а н. Какой же ты невежда, Бен! Разве ты не знаешь, что все произведения искусства — это вещи, уже побывавшие в употреблении? Вспомни картины старых мастеров.

Возвращается В и к т о р и я. Она сильно возбуждена. Плотно прикрывает за собой дверь.

В и к т о р и я. Мама! Мама!

М и с с и с С л а т е р. Что случилось, дитя мое?

В и к т о р и я. Дедушка встает с кровати.

Б е н. Что?!

Миссис Слатер. Что за чушь ты несешь?

Виктория. Я говорю, дедушка встает с кровати.

Миссис Джордан. Этот ребенок явно сошел с ума.

Миссис Слатер. Перестань говорить ерунду, Виктория! Дедушка умер, и ты это прекрасно знаешь.

Виктория. Нет, не умер! Я только что собственными глазами видела, как он поднимался с кровати.

Все в полном замешательстве: Бен и миссис Джордан слева у стола, справа миссис Слатер, к ней испуганно жмется Виктория; Генри стоит возле камина.

Миссис Джордан. Тебе лучше сходить самой, Амелия, и посмотреть, что там творится.

Миссис Слатер. Да, сейчас. Генри, ступай за мной. *(Генри в испуге жмется к камину.)*

Бен *(внезапно)*. Тише! Слышите?

Все напряженно всматриваются в закрытую дверь. Слышится покашливание и легкая возня. Дверь распахивается, и на пороге появляется старик в поношенном, но очень ярком халате. Он в одних носках. Это румяный жизнерадостный старик лет семидесяти. Энергия бьет из него ключом. Из-под тяжелых рыжих бровей на всех придирчиво смотрят живые проницательные глаза. Либо это дедушка Виктории, мистер Абель Мерриуэдер собственной персоной, либо его дух.

Абель. Чего ты так испугалась, детка? *(Замечает Бена и миссис Джордан.)* Привет! А вы что здесь делаете? Как поживаешь, Бен? *(Абель протягивает ему руку для рукопожатия, но ошарашенный Бен в испуге пятится назад и прячется вместе с миссис Джордан за диваном, на достаточно безопасном расстоянии от Абеля.)*

Миссис Слатер *(робко приближаясь к Абелю)*. Папа, это ты? (*Щиплет его, чтобы убедиться, что он жив.)*

Абель. Конечно я! А кто же еще, по-твоему? Перестань щипаться, Амелия! Больно же! Что за ребячество, право.

Миссис Слатер *(обращаясь ко всем остальным)*. Он живой!

Бен. Да, на покойничка он точно не похож.

Абель *(в некотором раздражении оттого, что все переговариваются между собой вполголоса)*. А ты чего спряталась, Лиззи? И выражение лица у тебя такое кислое, будто и не рада меня видеть.

Миссис Джордан. Прости, папа, но твое неожиданное появление застало меня несколько врасплох. Ты здоров?

Абель *(прикладывает руку к уху, пытаясь расслышать ее слова)*. Что? Что ты сказала?

Миссис Джордан. Я спрашиваю, ты здоров?

Абель. Ах, это… вполне здоров. Вот только голова немного побаливает. А так все в полном порядке. Готов побиться об заклад, что первым из этого дома понесут вперед ногами не меня. Ты только взгляни на Генри. У него такой болезненный вид, тебе не кажется?

Миссис Джордан. Перестань, папа! Как можно так говорить! Да еще в присутствии человека!

Абель. Мелия! Куда запропастились мои чертовы шлепанцы, хотел бы я знать?

Миссис Слатер *(в смятении)*. Разве их нет возле камина, папа?

Абель. Я их там не вижу. *(Замечает, как Генри торопливо пытается стащить с себя шлепанцы.)* Так вот же они! Какого черта ты их напялил, Генри?

М и с с и с С л а т е р *(приходит на помощь мужу)*. Это я попросила Генри, чтобы он немного разносил твои новые шлепанцы. Они такие жесткие. Одну минутку, Генри! *(Проворно стягивает шлепанцы с ног мужа и передает их Абелю. Тот надевает шлепанцы и садится в кресло.)*

М и с с и с Д ж о р д а н *(обращаясь к мужу)*. Верх бесцеремонности! Не успел еще покойник остыть, а они уже влезли в его башмаки.

Г е н р и подходит к окну и поднимает вверх шторы. В и к т о р и я подбегает к А б е л ю и садится на пол возле его ног.

В и к т о р и я. Деда, я так рада, что ты не умер.

М и с с и с С л а т е р *(угрожающе шипит)*. Прикуси язык, Виктория!

А б е л ь. Что ты сказала, детка? Кто умер?

М и с с и с С л а т е р *(громко)*. Виктория говорит, что она очень переживает по поводу твоей головной боли.

А б е л ь. Спасибо, Вики! Весьма тронут. Мне уже гораздо лучше.

М и с с и с С л а т е р *(обращаясь к миссис Джордан)*. Ах, он так любит Викторию.

М и с с и с Д ж о р д а н *(обращаясь к миссис Слатер)*. Да, но нашего Джимми он тоже любит.

М и с с и с С л а т е р. Ты у него лучше спроси, действительно ли он обещал ему свои золотые часы после своей смерти.

М и с с и с Д ж о р д а н *(слегка смешавшись)*. Как можно? Сейчас совсем не время для подобных расспросов.

А б е л ь. А с чего это ты нацепил на себя траур, Бен? И Лиззи в трауре. И Мелия с Генри, малышка Вики... Что случилось? Кто у нас умер? Кто-то из родни? *(Издает короткий смешок.)*

М и с с и с С л а т е р. Ты его не знаешь, папа! Один дальний родственник Бена.

А б е л ь. А кто именно?

М и с с и с С л а т е р. Его брат.

Б е н *(обращаясь к миссис Слатер)*. Какого черта? У меня в жизни не было никаких братьев!

А б е л ь. Надо же! Какая жалость! Как его звали, Бен?

Б е н *(в полной растерянности)*. Его звали… звали…

М и с с и с С л а т е р *(приходит на помощь)*. Фредерик.

М и с с и с Д ж о р д а н *(подсказывает мужу)*. Альберт.

Б е н. Фред, Альб, Исаак.

А б е л ь. Исаак? И где же твой брат Исаак жил?

Б е н. В… э… в Австралии.

А б е л ь. В Австралии? Ничего себе, в какую даль забрался! Он был старше тебя?

Б е н. Да. На пять лет.

А б е л ь. Понятно! Значит, ты на его похороны собрался?

Б е н. Да.

М и с с и с С л а т е р и м и с с и с Д ж о р д а н *(вместе)*. Нет!

Б е н. То есть, я хотел сказать «нет»! *(Ретируется в левый угол сцены.)*

А б е л ь *(поднимается с кресла)*. Что ж, давайте пить чай. Вы, наверное, еще не начинали, меня ждали? А я, между прочим, изрядно проголодался.

М и с с и с С л а т е р *(хватается за чайник)*. Сейчас я налью тебе, папа.

А б е л ь. Не суетись, Мелия. Садитесь к столу, повеселимся, раз уж собрались все вместе. *(Абель усаживается по центру стола лицом к зри-*

телям. Бен и миссис Джордан садятся слева от него. Виктория приносит стул и садится рядом с дедушкой. Справа усаживаются миссис Слатер и Генри. Обе женщины садятся поближе к отцу.)

Миссис Слатер. Генри, подай папе язык.

Абель. Спасибо. Итак, приступим к трапезе. *(Начинает с аппетитом налегать на бутерброды. Миссис Слатер подает ему чай, Генри подает язык. За столом ест только один Абель.)*

Бен. Приятно видеть, какой у вас отменный аппетит, мистер Мерриуэдер! А говорили, что вам нездоровится.

Абель. Ничего серьезного. Просто решил немного полежать, отдохнуть.

Миссис Слатер. Ты же спал, папа.

Абель. С чего ты взяла? Я не спал.

Миссис Слатер и Генри. Не спал?

Абель. На меня и правда вдруг ни с того ни с сего напала какая-то слабость. Не мог шевельнуть ни рукой, ни ногой. Лежал словно в полудреме.

Бен. То есть, вы хотите сказать, что все видели и слышали, мистер Мерриуэдер?

Абель. Разумеется, я все прекрасно видел и слышал. Впрочем, ничего интересного припомнить не могу. Передай мне, пожалуйста, горчицу, Бен. *(Бен подает ему горчицу.)*

Миссис Слатер. Ах, папа! Вечные твои выдумки! Ты просто крепко спал, вот и все.

Абель *(резко, с вызовом)*. Говорю же тебе, Мелия, я не спал! В конце концов, кто лучше знает, спал я или не спал, черт меня дери!

Миссис Джордан. Значит, ты видел, как Генри и Амелия заходили к тебе в комнату?

Абель *(чешет затылок)*. Постой-ка… дай подумать…

Миссис Слатер. Не приставай к нему, Элизабет! Оставь его в покое!

Генри. В самом деле, не стоит тревожить старика.

Абель *(вдруг внезапно что-то вспомнив)*. Вспомнил! Мелия! Генри! Какого черта, хотелось бы мне знать, вы вытащили мое бюро из комнаты?

Генри и Миссис Слатер застывают, словно пораженные ударом молнии.

Абель. Кому я говорю? Что молчите оба? Оглохли?

Миссис Джордан. Какое бюро, папа?

Абель. Какое, какое! Мое бюро! То, которое я купил себе недавно.

Миссис Джордан *(указывает на бюро)*. Это, папа?

Абель. Именно! А что оно здесь делает? А?!

Пауза. Часы на каминной полке бьют шесть часов вечера. Все смотрят на часы.

Абель. Не сойти мне с этого места, черт меня дери! Да ведь это же мои часы! Что творится в этом доме? Ничего не понимаю! *(Пауза.)*

Бен. Вот так-так, разрази меня гром!

Миссис Джордан *(поднимаясь с места)*. Сейчас я объясню тебе, папа, что здесь творится. В этом доме творится форменное безобразие под названием грабеж средь бела дня!

Миссис Слатер. Я попрошу тебя, Элизабет, выбирать выражения!

Миссис Джордан. И не подумаю ничего выбирать! Лицемерка!

Генри. Успокойтесь, Элизабет! Умоляю вас!

Миссис Джордан. А вы тоже хороши! Нечего сказать. Подкаблучник, вот вы кто! Готовы на любую мерзость, стоит ей только приказать вам!

Миссис Слатер *(тоже встает)*. Не забывайся, Элизабет! Ты пока еще у меня в доме!

Генри *(поднимается следом)*. Тише, дамы, тише! Не надо ссориться!

Бен *(встает последним)*. Моя жена имеет полное право говорить все, что считает нужным.

Миссис Слатер. Пусть говорит что ей заблагорассудится, но не в моем доме!

Абель *(поднимается со стула и со всей силой хлопает кулаком по столу)*. Замолчите все, черт меня возьми! Кто-нибудь объяснит мне, в конце концов, что здесь происходит?

Миссис Джордан. Охотно, папа! И вообще, я не потерплю, чтобы тебя обворовывали столь беспардонным образом!

Абель. Кто меня обворовывает, Лиззи?

Миссис Джордан. Амелия и Генри! Они украли твои часы и бюро! *(Распаляется еще сильнее.)* Прокрались к тебе в комнату, словно какие воры, и сразу же после твоей смерти вынесли все вещи!

Генри и миссис Слатер *(вместе)*. Успокойся, Элизабет! Тише!

Миссис Джордан. И не подумаю! Повторяю: после твоей смерти, папа!

Абель. Чьей-чьей смерти?

Миссис Джордан. Твоей!

Абель. Да, но я еще пока жив.

Миссис Джордан. А они решили, что ты умер.

Пауза. Абель в немом изумлении таращится на собравшихся.

Абель. Ах, вот оно в чем дело… Наконец-то до меня дошло, почему вы все обрядились в траур. Значит, решили, что я умер? (*Весело фыркает.)* Ошиблись, мои дорогие! Ошибочка вышла… Непростительная ошибка! *(Снова усаживается за стол и принимается за свой чай.)*

Миссис Слатер *(всхлипывает)*. Папа, прошу тебя!

Абель. Быстро же вы, дети, приступили к дележке моего имущества.

Миссис Джордан. Ничего подобного! Амелия взяла эти вещи по собственному усмотрению!

Абель. Ты всегда была не промах, Амелия. Наверное, боялась, что обойду тебя в завещании?

Генри. Разве у вас имеется завещание, мистер Мерриуэдер?

Абель. Да, имеется, и оно заперто в одном из ящичков этого бюро.

Миссис Джордан. И что в нем сказано, папа?

Абель. Думаю, теперь это не имеет значения. Дело в том, что я решил аннулировать старое завещание и составить новое.

Миссис Слатер *(всхлипывая)*. Папочка! Прошу тебя, не сердись на меня!

Абель. Будь добра, Мелия, налей мне еще чашку! Два кусочка сахара, пожалуйста, и побольше молока!

Миссис Слатер. Сию минуту, папочка! *(Наливает чай.)*

Абель. А я и не сержусь! Ни на кого! И впредь не собираюсь сердиться. Давайте-ка я лучше расскажу вам о своих планах на ближайшее будущее. Итак, после смерти вашей матери я жил поочередно то у тебя, Мелия, то у тебя, Лиззи. Думаю, пришло время составить новое завещание, согласно которому все мои немудреные пожитки достанутся тому, с кем я скоротаю свой век. Ну, и как вам мой план, детки?

Генри. Это сильно смахивает на лотерею.

Миссис Джордан. А с кем ты сейчас собираешься жить?

Абель *(делает глоток)*. Не торопись! Дойдем и до этого.

Миссис Джордан. По-моему, после всего… тебе лучше вернуться снова к нам. У нас тебе будет намного удобнее.

Миссис Слатер. Нет и еще раз нет! Он еще у нас свой срок не отбыл. У тебя он прожил гораздо дольше.

Миссис Джордан. Неужели ты думаешь, что после всех безобразий, которые ты ему устроила сегодня, папа захочет задержаться в этом доме хотя бы еще на одну минуту?

Абель. Так ты настаиваешь, Лиззи, чтобы я снова вернулся к тебе?

Миссис Джордан. Ты же прекрасно знаешь, папа, что наш дом — это твой дом. И ты можешь жить у нас столько, сколько тебе вздумается.

Абель. Что скажешь, Мелия?

Миссис Слатер. То и скажу, что за последние два года Элизабет сильно переменилась, причем в лучшую сторону. *(Поднимается со стула.)* А хочешь знать, папа, из-за чего мы с ней повздорили последний раз?

Миссис Джордан. Амелия, не будь дурочкой! Сядь!

Миссис Слатер. Ну уж нет! Если он мне не достанется, так тебе и подавно его не видать! Мы поссорились с Элизабет из-за того, что она заявила тогда, что ни за какие деньги не примет тебя обратно. А еще она сказала, что ты ей надоел до чертиков и что отныне смотреть за тобой наша очередь.

Абель. Иными словами, дорогие мои и горячо любимые дочурки, ни у кого из вас нет особых причин гордиться собой. Тем более что, прямо скажем, обе вы обращались со мной так себе! Далеко не самым лучшим образом…

Миссис Слатер. Папа, если я чем-то обидела тебя, прошу прощения.

Миссис Джордан. И я тоже.

Абель. Немного поздновато для извинений, вам не кажется? Ведь если взглянуть правде в глаза, никто из вас не пылал особым желанием жить под одной крышей с отцом. Ведь так?

Миссис Слатер и миссис Джордан *(хором)*. Это неправда, папа!

Абель. Правда, дети мои, чистая правда! Но сейчас вы передумали… Смекнули, что после моей смерти останутся кое-какие деньжата. Ведь так? А я скажу вам вот что! Коли я для вас обуза, то мне следует заняться поисками такого места, где я никому не буду в тягость!

Бен. Что вы говорите такое, мистер Мерриуэдер? Вы должны жить в доме одной из ваших дочерей.

Абель. Сейчас я расскажу тебе о том, что и кому я должен! В понедельник мне предстоит сделать три важные вещи: сходить к адвокату и составить новое завещание, навестить страховое агентство и заплатить очередной взнос. А потом я отправлюсь в церковь святого Филиппа и женюсь.

Б е н и Г е н р и. Что?!
М и с с и с Д ж о р д а н. Женишься?
М и с с и с С л а т е р. Он сошел с ума.

Общее замешательство.

А б е л ь. Да, я намереваюсь сочетаться законным браком.
М и с с и с С л а т е р. С кем?
А б е л ь. С миссис Шоррокс, владелицей паба «Колокольчики-бубенчики». Мы уже давно с ней обо всем столковались, но я до поры до времени держал язык за зубами. Решил сделать вам сюрприз, мои дорогие детки! *(Встает из-за стола.)* Я ведь не первый год живу на белом свете и не вчера понял, как я вам всем надоел. Вот и решил заняться поисками хорошей женщины, которой мое общество пока еще будет приятно. Одним словом, рад буду видеть вас всех на церемонии бракосочетания. *(Направляется к двери.)* Итак, до понедельника. Не забудьте, в два часа, церковь святого Филиппа. *(Открывает дверь.)* А все же ты молодец, Мелия, что сволокла это бюро вниз. Так много проще будет забрать его в понедельник и перевезти в «Колокольчики». *(Уходит.)*

Занавес.

Вступительное слово и перевод с английского
Зинаиды КРАСНЕВСКОЙ.



ОЛЕГ СУДЛЕНКОВ

Память из глубины веков

Книга с экслибрисом, какой бы библиографической редкостью она сама по себе ни являлась, обладает сверх того повышенной мемориальной ценностью, ибо связана с именами конкретных людей. Особое значение, с этой точки зрения, приобретают экслибрисы владельцев, оставивших след в отечественной истории.

О. Г. ЛАСУНСКИЙ

Как часто, взяв в руки старинную книгу, мы не обращаем внимания на оттиснутый на обложке герб или не замечаем приклеенный с внутренней стороны обложки листок с латинской надписью «Ex libris...», т. е. «Из книг …», а они бы могли рассказать о многом.

С появлением письменности появилось и стремление владельцев письменных памятников обозначить принадлежность их определенным лицам с целью указать на собственника рукописи или книги и предупредить похитителей о наказании, если книги будут украдены.

В найденных в столице Ассирии Ниневии глиняных табличках с клинописным текстом имеются угрозы в адрес похитителей.

Во время археологических раскопок холма Куюнджик в 1854 году археолог Ормузд Расам нашел развалины дворца ассирийского царя Ашшурбанипала (668—631 гг. до н. э.). Здесь была раскопана царская библиотека, состоявшая из книг, которые были изготовлены из обожженных табличек. Они представляли собой своеобразные глиняные брикеты размером 32х22 см и толщиной 2,5 см. Каждая такая табличка была пронумерована, а рядом с номером было написано название книги. На каждой табличке было выдавлено: «Дворец Ашшурбанипала, царя Вселенной, царя Ассирии». Среди 30 000 глиняных табличек с клинописными текстами царской библиотеки встречались таблички, которые, как выяснилось, служили охранными грамотами для законченных текстов. Ученый-ассириолог Карл Бецольд из Гейдельбергского университета в Германии перевел текст на этих табличках: «Того, кто посмеет унести эти таблицы, пускай покарают своим гневом Ашшур и Бэлит, а имя его и его наследников навсегда пусть будет предано забвению в этой стране».

Древние египтяне использовали вместо глины папирус, но и они угрожали жестокими карами похитителям папирусных свитков. В Лондоне, в Британском музее хранятся папирусные свитки эпохи фараона Аменофиса III, правившего в 1410—1375 гг. до нашей эры. К папирусам прикреплялась голубая фаянсовая пластинка, 4/5 которой были заняты титулом фараона, владельца папируса, а оставшаяся часть — названием свитка.

После появления письменности и книгопечатания в славянском мире там также стали заботиться о сохранении рукописей и книг у владельцев. Поскольку самой сильной угрозой в те времена был гнев Божий, то и надписи делались соответствующие: «А кто бы смел ей (т. е. рукопись. — *О. С.*) взяти от церкви,

тот будет проклят, в сей век, и в будущий, и не прощен, и по смерти не разрешен. Аминь». Одна из самых страшных угроз обещала похитителям: «А кто изволит сию книгу продати, да будет проклят на сем свете и на том от Великого Бога Саваофа, и от всех ангел и от всех пророков и мученик, и святых отец, или купитея, также да будет проклят, или выдерет, единопроклятие примет, и со мной суд будет имати во второе Божие пришествие, егда судья сядет бранный и нелицемерный тысячами тысяч ангел окрест его». Бывали угрозы и проще: «Кто эту книгу не отдаст, у того пусть рука отсохнет». Однако, несмотря на эти надписи, книги воровали и перепродавали.

Книги и рукописи были в средневековье очень большой ценностью: их передавали по наследству, давали в приданое невесте, отдавали в виде штрафов или за долги, то есть они превратились в реальное богатство и средство для расчетов. Именно в это время появился термин Ex libris, в переводе с латинского — «Из книг», то есть указание на то, кто является владельцем книги.

Важным фактором, повлиявшим на появление термина «экслибрис», было правило из юриспруденции многих европейских стран о том, что если какая-либо вещь помечена знаком ее владельца (собственника), то любой иной ее обладатель считается незаконным владельцем. До наших дней существует правило метить ценные вещи владельческими специальными знаками или метами, например, ставить тавро на скот.

Экслибрис как вид графического искусства можно по содержанию условно разделить на 5 основных разновидностей. Экслибрисы бывают гербовые (или геральдические), сюжетные, вензелевые, шрифтовые и смешанные, т. е. имеющие в своей композиции включения разных видов — например, сюжетный и геральдический.

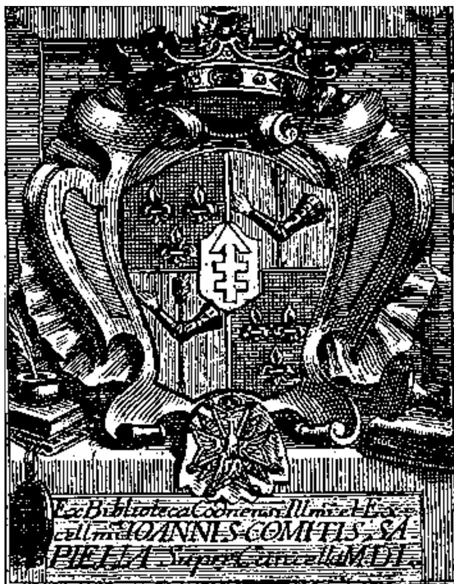
Гербовые (или геральдические) экслибрисы до сих пор являются ценным материалом для вспомогательной исторической дисциплины — геральдики, предметом изучения которой являются герб и его владельцы. Это связано с тем, что рядом с гербом часто указывались кроме фамилии также должности, звания и награды.

Герб как совокупность графических изображений, составленных композиционно из ряда принятых элементов по условным правилам, возник в эпоху крестовых походов. Исходя из этого, основой герба, как правило, является щит, который может делиться на части, зачастую расцвеченные. Рыцарские шлемы и короны (княжеские, графские, баронские и т. д.) тоже относятся к важным составным частям герба. Как правило, имеется девиз — лозунг рода или отдельного его представителя. Известный специалист по геральдике В. К. Лукомский писал: «Благодаря гербу вещественный или документальный памятник получает более широкое значение в качестве исторического источника, так как герб раздвигает пределы научного исследования и представляет к изучению вещи ряд новых и очень существенных данных: указания на национальность и социальное положение ее владельца, место изготовления и бытования вещи, ее датировку и т. д.». При монохромном воспроизведении цвет поля передается различной штриховкой частей герба.

Сюжетные экслибрисы, как правило, изображали интерьеры библиотек, пейзажи, декоративные элементы, портреты исторических деятелей, памятники архитектуры, иногда натюрморты с книгами.

Вензелевые экслибрисы (польское «węzeł» — узел) — это изящно переплетенные начальные инициалы имени и фамилии владельца. Как правило, они окружались рамками, декоративными элементами.

Шрифтовые экслибрисы-ярлыки с текстом, набранным типографским шрифтом. Они содержали, как правило, линейную рамку и могли быть исполнены различными декоративными шрифтами, имевшимися в типографии.



Кн. знак графа Фридриха Сапеги (1680—1751), канцлера ВКЛ (с 1735 г.). Рис. Я. Ф. Милиуса, 1736 г.

Характерной чертой экслибрисов является разнообразие технических приемов их исполнения. В основном это гравюра — на дереве, металле, линолеуме. Применяются и другие технические приемы: литография, офорт, цинкография, шелкография и другие, более редкие репродукционные техники. Выполняли экслибрисы художники и граверы, воплощая в книжном знаке черты и качества, свидетельствующие о любви владельца библиотеки к книге, к собирательству, порой отражая его привязанности, иногда происхождение, богатство. Стилистические приемы выполнения знаков прямо связаны с книжными украшениями своего времени и течениями в искусстве. Экслибрисы эпохи барокко более строги и тяжеловесны по сравнению с графически уравновешенными знаками эпохи классицизма, в эпоху модерна и экспрессионизма появляются черты стремительности.

Первым появившимся в Европе экслибрисом, напечатанным на бумаге, считается книжный знак, награвированный Бартелем Шеном в 1460 году для Бернгардта фон Рорбаха в Германии. Это была эпоха бурного развития европейского книгопечатанья. Библиотеки собирались в монастырях, университетах, при дворцах и замках. Учитывая ценность книг, в те далекие времена в библиотеках даже приковывали книги к столам цепями, чтобы невозможно было украсть. Книги переплетались в специальных мастерских. Переплеты украшались драгоценными камнями, на крышках переплета оттискивался герб владельца книги, и такой книжный знак, пометка о собственности книги получил название «суперэкслибрис». В Беларуси он известен с XVI века, и в библиотеках можно увидетьувражи этого времени — книги большого формата, украшенные тиснеными владельческими знаками на крышках переплетов.

Интересен суперэкслибрис брестского епископа Адама (Ипатия) Поцея (1541—1613). Он был православным архиепископом Волынским и Брестским (1596), с 1600 года в Киеве униатским митрополитом. После смерти по его завещанию библиотека вернулась в Вильно и, по некоторым свидетельствам, была распределена по нескольким библиотекам Великого Княжества Литовского. Суперэкслибрис епископа размещен по центру переплета. В декоративной овальной рамке — герб владельца, украшенный епископской митрой и инициалами «APAK» (Adam Pociej Archimandryta Kijowski).

Примечателен суперэкслибрис Юзефа Корсака (Józef Korsak), умершего в 1643 году. Он оставил после себя библиотеку, в которой было около 3000 книг и рукописей. Корсак служил воеводой полоцким и мстиславским, успешно руководил войсками Великого Княжества Литовского. Суперэкслибрис его книжного собрания представлял овал, внутри которого оттиснут герб владельца с буквами «IKPM», т. е. «Юзеф Корсак, воевода мстиславский».

Суперэкслибрис стоил очень дорого, применение его было затруднено, а поэтому позже, в XV веке, появился гравированный экслибрис, отпечатанный на бумаге, который приклеивался с внутренней стороны обложки. Это позволяло отметить принадлежность книги владельцу с меньшими затратами, но не менее красиво и точно. При богатых книжных собраниях в своих имениях владельцы

библиотек стали содержать граверов и художников, которые по их заказам выполняли книжные знаки или иллюминировали рукописи и книги.

Текст на книжных знаках был разный: «из книг», «из библиотеки», «из собрания» и т. д., плюс данные владельца. При этом в те далекие времена кроме фамилии собственника обычно указывался титул, если он был, или должность, либо отмечались какие-либо заслуги владельца, а иногда все это вместе.

Экслибрис мог выглядеть как скромный ярлычок с типографским наборным текстом: «Józef Scipion Starosta Lidzki», т. е. «Юзеф Сципион, староста лидский», а мог — как большой гравюрный лист с пышным титулом, гербом и текстом на латинском языке: «Ex Libris Bibliothecae Codnensis Illustrissimi et Excellentissimi Dni Ioannis Friderici Comitis Sapieha Cancellarii Supremi Magni Ducatus Lithvaniae Capitanei Brestensis 1736» (Из кодненской библиотеки Сиятельного и Превосходительного Иоанна Фредерика графа Сапеги, канцлера Великого Княжества Литовского, старосты брестского, 1730).

Иногда библиотеки разделялись между наследниками или давались как приданое невесте. Причем в последнем случае через год после женитьбы заказывался новый экслибрис, в котором были скомпонованы два герба: мужа и жены.

Ниже мы остановимся на книжных знаках графов Хрептовичей, по которым можно проследить разнообразные должности, которые занимали представители этой фамилии.

В XVII веке появились штемпеля и трафареты, которые позволяли сразу после покупки помечать книги знаком собственника. Ими пользовались в основном низшие слои общества, но не брезговали ими и аристократы. Например, у графа Иоахима Хрептовича, пока он не занял высокий пост в Великом Княжестве Литовском, был скромный штемпель с текстом: «Ex Bibl. Joach. Com. Chreptowicz», т. е. — «Из библиотеки Иоахима графа Хрептовича», а затем появились гравированные экслибрисы с указанием должностей, занимаемых им в Великом Княжестве Литовском.

Впоследствии штемпеля стали очень распространенными в библиотеках казенных учреждений, учебных заведений, воинских частей и т. д. в силу дешевизны и простоты употребления. Характерной чертой дореволюционных книжных собраний частных лиц в Российской империи, в том числе и в Беларуси, было то, что геральдических и художественных экслибрисов существовало не более 10% от общего количества известных знаков, все остальные — это ярлыки и штемпеля. В отличие от Западной Европы, где, как правило, дорогие книги имели и дорогие экслибрисы, исполненные в различных гравюрных техниках известными мастерами, на территории Российской империи и в больших книжных собраниях широко использовались ярлыки, штемпеля и т. п. дешевые техники печати. Достаточно вспомнить, что светлейший князь Ф. И. Паскевич для своей библиотеки имел литографированный экслибрис в виде инициала «П», который наклеивался порой на очень дорогие книги. Техника литографии довольно простая и дешевая, в листе печаталось сразу по 60 знаков «П», и тираж был практически неограничен.

Эпоха Просвещения, в связи с развитием книгопечатанья и, как следствие, удешевления книг, привела к резкому увеличению числа их любителей — и, соответственно, к увеличению числа книжных собраний и библиотек. С развитием технического прогресса книга стала доступной широким слоям населения, владельцами библиотек стали купцы, мещане, крестьяне, ремесленники.

Отдельно стоит остановиться на частных собраниях религиозных книг и рукописей. В первую очередь это касается старообрядчества, где грамотность в семьях была обязательна. В Беларуси старообрядцы в основном селились в Ветковском районе Гомельской области. Свои книги, в т. ч. Библию, сборники богословских трудов и песнопений (октоихи) они переписывали от руки. В районном музее г. Ветка Гомельской области можно увидеть рукописи, которые были

созданы в этом районе переписчиками-старообрядцами, они поражают своим мастерством и тщательностью проработки каждой детали орнамента или заглавных букв, красотой шрифта. Практически в каждой старообрядческой семье до нашего времени хранится небольшая библиотека старообрядческих книг и рукописей, сборников песнопений.

Книжные собрания составлялись, передавались, распродавались, исчезали в пожарах войн и революций, и часто лишь экслибрис напоминает нам о былом существовании книжных собраний и их владельцах.

Изучение белорусских экслибрисов в исторической перспективе следовало бы вести с Великого Княжества Литовского, переходя затем к Речи Посполитой, а позже к Российской империи. Границы Беларуси тогда не совпадали с современными государственными границами. Владельцы книжных собраний, хранившихся в имениях на территории Великого Княжества Литовского и современной Беларуси, зачастую постоянно в этих имениях не проживали, а если и бывали, так только наездами. Например, генерал-фельдмаршал З. Г. Чернышев, получив в дар от российской императрицы Екатерины II белорусский город Чечерск, там практически не бывал, но экслибрис для библиотеки, размещенной в этом имении, был заказан и расклеен на книги. (Город на этом экслибрисе был обозначен как Чичерск.) То же самое можно сказать и о дворцовой библиотеке графа И. Ф. Паскевича в Гомеле. Князья Радзивиллы, проживая в Вильне или в других местах Великого Княжества Литовского по делам службы, оставались княжеским родом из Несвижа. С другой стороны, на книги Несвижской библиотеки Радзивиллов зачастую наклеивались экслибрисы с упоминанием Вильно.

То же самое можно сказать о библиотеках, расположенных в районах, которые ранее входили в состав белорусских губерний, а впоследствии в состав нынешней Беларуси не вошли. К примеру, граф Генрих Броель-Платтер владел имением в Краславе Двинского уезда Витебской губернии — ныне это территория Латвии, а сам владелец родился в Великом княжестве Познанском и служил в австрийской армии. Исходя из того, что книги с экслибрисом графа довольно часто встречаются в библиотеках и собраниях наших коллекционеров, его следует включить в корпус дореволюционных белорусских книжных знаков по территориальному признаку размещения библиотеки в тогдашней Витебской губернии.

Исследования по истории белорусского экслибриса следует, видимо, вести по нескольким основным разделам. Это, во-первых, геральдические экслибрисы белорусской знати и шляхты, а также иные их владельческие книжные знаки, во-вторых — владельческие знаки мещан и обывателей, в-третьих — знаки учебных заведений, различного рода организаций, включая общественные, и в-четвертых — экслибрисы религиозных организаций и служителей культа, т. е. библиотеки монастырей, церквей, церковнослужителей и религиозных учебных заведений. Мы специально отдельно не рассматриваем библиотеки воинских частей и соединений, дислоцированных на территории нынешней Беларуси, т. к. в российской армии библиотеки комплектовались начиная с отдельной роты, при этом должность ротного библиотекаря входила в штатное расписание. Принимая во внимание количество и постоянные передислокации воинских подразделений, относить экслибрисы воинских частей к тому или иному региону было бы крайне затруднительно. Достаточно вспомнить, что в коллекциях российских коллекционеров Е. А. Розенбладта, И. Н. Жучкова и Б. А. Вилинбахова экслибрисов, принадлежащих воинским подразделениям, числилось, по некоторым данным, около 10 000 экземпляров. Видимо, исходя из этого, известный справочник «Российский книжный знак» С. И. Богомолова принципиально не содержит никаких данных по экслибрисам, относящимся к воинским соединениям, военным организациям и военно-учебным заведениям.

Суперэкслибрисы библиотек Беларуси

В конце XV — начале XIV веков на территории Великого Княжества Литовского начали формироваться личные библиотеки. В уже упоминавшейся Метрике ВКЛ в 1510 году описывается собрание, которое, как считают историки, принадлежало канцлеру ВКЛ и виленскому воеводе А. Гаштольду (1465?—1539). После смерти самого Гаштольда и его сына Станислава (1507—1542), неимевшего наследников, библиотека перешла в королевскую собственность, т. к. король Жигимонт Август (1520—1572) женился на вдове С. Гаштольда — Барбаре Радзивилл. Наследников от С. Гаштольда у нее не было, и она принесла в казну выморочные владения и имущество Гаштольдов. Библиотека собиралась в 1545—1572 годах, в ней насчитывалось около 5000 томов. Ее составили библиотека Гаштольдов, книги, вновь приобретенные для пополнения библиотеки, книги, присланные авторами и издателями — например, Мартин Лютер прислал изданную им Библию. Все тома были тщательно оформлены, имели кожаные переплеты с суперэкслибрисом, оттиснутым золотом. Именно благодаря суперэкслибрису известна дальнейшая судьба библиотеки, которая после смерти владельцев распалась, и книги из нее хранятся теперь в собраниях Польши, России, Германии и других европейских стран.

Широко применялись суперэкслибрисы в библиотеках Радзивиллов. Как правило, в центре переплета был оттиснут герб Радзивиллов — орел, на груди которого щит с тремя рожками. Уже упоминались суперэкслибрисы Адама Поцея и Юзефа Корсака. Граф Э. К. Гуттен-Чапский пользовался двумя суперэкслибрисами для книг своей библиотеки в имении Станьково под Минском. На суперэкслибрисах использовались элементы четырехчастного герба, утвержденного высочайшим указом. Следует заметить, что в первом варианте суперэкслибрис был аналогичен печатному экслибрису с текстом: Граф Эмерик Гуттен-Чапский. Этим знаком он стал пользоваться после 12 июня 1874 года, когда высочайшим указом троим братьям — Адаму-Иосифу-Эразму с сыном Адамом, Эмерику-Захарию-Николаю-Северину и Игнатию-Фелициану — было дозволено пользоваться в России графским титулом.

Использование суперэкслибрисов было весьма дорогой операцией, при этом их тиснение требовало наличия специального оборудования, гравированных матриц и обученного персонала. Именно поэтому на смену тиснению на крышках переплетов пришли бумажные книжные знаки, которые наклеивались, как правило, на внутренней стороне обложки. Они изготавливались художниками-граверами, а тиражи печатались печатниками. Их применение позволило ускорить обработку книг, указывать титул владельца, а зачастую должности, им занимаемые, или награды, которых владелец библиотеки был удостоен. В дальнейшем появились ярлыки и штемпеля, что удешевило учет книг и ускорило обработку.

Экслибрисы княжеского рода Радзивиллов

Когда речь заходит о самых богатых родах Беларуси, то первыми в памяти всплывают Радзивиллы. Члены этого рода оставили заметный след в истории нашей страны. Представители Радзивиллов на протяжении многих столетий занимали высшие должности в Великом Княжестве Литовском и Речи Посполитой, владели несметными богатствами, землями и замками. Их вклад в нашу историю до сих пор не обобщен и не оценен по достоинству, а потомки рода Радзивиллов до сих пор приезжают в Беларусь — на родину своих предков, и помогают восстанавливать свои бывшие владения. В соответствии с традициями

того времени все ветви рода Радзивиллов (гонендзско-мядельская, несвижско-олыкская и биржанско-дубинская) имели при своих замках библиотеки. Государство восстановило Мирский замок, провело реконструкцию Несвижского замка, но одно мы уже никогда не восстановим — родовые библиотеки Радзивиллов в замках.

В первую очередь это касается книжного собрания ординации Радзивиллов в Несвижском замке. Ее история начинается в XVI веке, когда князь Николай Радзивилл, известный под именем Черный (1515—1565), начинает составлять здесь собрание книг и рукописей. Следует учесть, что у Радзивилла Черного были типографии в Несвиже и Бресте, что позволяло пополнять собрание и вести книгообмен. Все Радзивиллы получили хорошее образование, а поэтому понимали ценность рукописей и книг, необходимость их собирать, к тому же богатства позволяли им заказывать и приобретать рукописи, книги, покупать картины и гравюры известных художников. Именно таким образом, кстати, в собрание попала так называемая Радзивилловская летопись, выдающийся памятник рукописного наследия, по заказу скопированная с рукописи XII века.

Значительно пополнилась библиотека Несвижского замка при старшем сыне Радзивилла Черного — Николае Христофоре Сиротке (1549—1616), первом ординате (1589—1616) Несвижской ординации. Радзивилл Сиротка, получив образование за границей, совершил паломничество по святым местам. Во время путешествия он скупал и отсылал в Несвиж книги и рукописи.

С течением времени в библиотеке Несвижского замка собрался архив исторических документов, который включал в себя следующие разделы: пергаменты (около 1200 экз.), при этом самый старый пергамент датировался XII веком (это было свидетельство о даре польского короля Казимира Справедливого монастырю в Сулееве); писанные на пергаменте так называемые привилеи, т. е. документы, возводящие Радзивиллов в сан гетманов Великого Княжества Литовского, подтверждающие их привилегии и права на княжеский титул; переписку с большинством царствующих дворов Европы того времени; летописи, включая дневники, как личные, так и сеймов, сеймиков и конфедераций, а также документы т. н. Литовской Метрики, т. е. вторые экземпляры всех государственных документов и актов Великого Княжества Литовского.

Для собрания дополнительно были приобретены: архив князей Витгенштейнов, библиотека маршала Класа Флеминга (1535—1597) после его смерти. Анна Екатерина Радзивилл (1676—1746) передала из Белой Подляски т. н. Бельскую библиотеку. После смерти Констанции Сапеги (1697—1756) в замок вернули часть ее библиотеки. При Карле Станиславе Радзивилле (1734—1790), более известном как Пане Коханку, для библиотеки был построен специальный павильон, в котором трудились библиотекари, переписчики, переплетчики книг, художники-иллюстраторы, граверы. Все собрание было разобрано по 30 отделам с каталожными списками, имелся каталог рукописей и старопечатных книг, включавший их описание. На пополнение собрания и содержание библиотеки ежегодно выделялось 200 злотых.

Рост книжного собрания можно проследить по реестрам. Так, при Людвиге Радзивилле (1594—1654) собрание едва превышало 700 томов, а уже в середине XVII века в библиотеке было свыше 14 000 томов. В конце XVIII века, после третьего раздела Речи Посполитой, когда библиотека прекратила свое существование, она насчитывала свыше 24 000 томов. Здесь необходимо отметить, что в те времена часто составлялись т. н. конволюты, т. е. подборки книг, и в первую очередь брошюр и листовок, под одним переплетом. Они при инвентаризации учитывались как один том, а поэтому книжный состав библиотеки, видимо, был значительно больше и шире.

После третьего раздела Речи Посполитой в 1792 году собрание библиотеки Несвижского замка составляло более 24 000 книг и рукописей, свыше 500 000



Кн. знак Михаила Иеронима Важинского, скарбека ВКЛ.
Рис. В. П. Бальцевича, около 1750 г.

документов архива Радзивиллов. Здесь были т. н. Литовская метрика, собрание маршала графа Класа Флеминга, свыше 300 000 документов архива князей Витгенштейнов. Все это было доставлено генерал-аншефом А. И. Бибиковым в Санкт-Петербург и распределено между библиотеками Академии наук, Духовной академии и Синода, часть книг попала в библиотеку Московского университета, часть впоследствии оказалась в Финляндии, в библиотеке Хельсинкского университета (по каталогу 1119 книг).

Николай Радзивилл Рыжий (1512—1584) в 1564 году принял кальвинизм и начал собирать книги по богословию.

Историкам книги хорошо известен суперэкслибрис на книгах, принадлежавших Миколаю Радзивиллу Черному (1515—1565), который оттискивался на обложках кожаных переплетов книг и рукописей. Этот суперэкслибрис представлял собой вытянутый овал, внутри которого были размещены щит с орлом и четырехчастный герб, состоящий из трех скрещенных рожков — родового герба Радзивиллов, герба Миколая Черного, его матери — Анны из рода Кишек (именно она, выйдя замуж за Яна II Радзивилла Бородатого, принесла мужу в качестве приданого Несвиж), и его отца — Яна Миколая Радзивилла. Такой экслибрис легко датировать, т. к. на книгах наряду с суперэкслибрисом внизу оттискивался год (например, 1526, 1545 и т. д.).

Для пропаганды и распространения идей реформации Радзивилл Черный основал первую на территории Беларуси типографию в Бресте с помощью приглашенных из Польши печатников. В типографии печатались богословская литература и светские книги. Шедевром издательской деятельности этих печатников стала Библия, изданная на польском языке, прекрасно иллюстрированная, вошедшая в исторический оборот под названием Брестская — по месту размещения типографии, или Радзивилловская — по фамилии владельца типографии и заказчика. В настоящее время в полном объеме и безупречном состоянии эта книга известна только в нескольких экземплярах. Благодаря попечению Радзи-

вилла Черного в городе Несвиже, где размещалась резиденция Радзивиллов, была открыта типография, в которой трудился, в частности, Сымон Будный, один из первых издателей книг на белорусском языке, — им были напечатаны книги: «Катехизис» и «Об оправдании грешного человека перед Богом». В 1551 году архив Несвижского замка был приравнен к государственному архиву Великого Княжества Литовского, и туда стали поступать вторые экземпляры государственных актов и документов (т. н. Литовская Метрика).

Значительно пополнил родовую библиотеку его сын Миколай Христофор Радзивилл Сиротка (1549—1616), который получил прекрасное образование в Лейпцигском и Страсбургском университетах. Совершив паломничество в Святую землю (Иерусалим, Палестину и Египет), он написал очень интересные воспоминания об этом путешествии. Впоследствии, в 1601 году, они были напечатаны и к XX веку выдержали 19 изданий на нескольких европейских языках, в том числе и на русском. Под влиянием Петра Скарги (1536—1612) в 1567 году Сиротка оставил кальвинизм и принял католичество и с этого момента начал ревностно насаждать его в своих владениях. Именно при Радзивилле Сиротке деревянный замок в Несвиже перестроили в каменный, благодаря ему в городе было возведено несколько монастырей и общественных зданий. Он имел библиотеки во дворцах в Вильно, Несвиже и Мире. Для книг библиотеки использовались три суперэкслибриса, выполненных по принципу аналогичного знака его отца — четырехчастные, включавшие герб его матери Эльжбеты Шидловецкой (1533—1562). На переплетах книг также оттискивалась дата, что позволяет изучить пополнение книжного собрания замковых библиотек по годам.

Безусловный интерес представляет экслибрис библиотеки Богуслава Радзивилла (1620—1669), который был не очень заметен на фоне своих блестящих родственников — канцлера ВКЛ Альбрехта и гетмана Януша. Следует отметить, что он отличился в баталиях, особенно в сражениях с казаками Богдана Хмельницкого в 1649 году. Библиотека хранилась в Слуцке, которым с 1612 года владели Радзивиллы. Начали ее собирать прежние владельцы Слуцка — князья Олельковичи, а Богуслав Радзивилл усиленно пополнял книжное собрание. Сюда была передана часть книг из Кейданской библиотеки Радзивиллов. Во время Северной войны библиотека была в значительной мере разграблена шведами. К моменту смерти Богуслава Радзивилла она насчитывала около 400 книг — в соответствии с каталогом в двух томах, который был составлен доктором теологии Мартином Сильвестром Грабе. Поводом для составления каталога стало то, что в 1671 году согласно завещанию библиотека в количестве 371 книги была передана по описи зятю Богуслава Радзивилла — курфюрсту (электору) Бранденбурга и герцогу Пруссии князю Фридриху Вильгельму. Это были книги по богословию, медицине, истории, архитектуре и т. д. Условием передачи было хранение библиотеки в Кенигсберге, в замке герцога. Экслибрис был награвирован неизвестным художником и исполнен в стиле барокко. В основе композиции портик, по арке которого идет надпись «Bibliotheca», в центре герб Радзивиллов — орел в княжеской короне со щитом, в центре которого три скрещенных рожка. На основании колонн дата: «anno 1671» (1671 год). Под гербом идет текст: «A Celsissimo Principe Dno Boguslavo Radzivillio Bibliothecae Quae Regiomonti est, electorali legato donata» ((Библиотека), подаренная по завещанию высочайшим князем господином Богуславом Радзивиллом электорской библиотеке, что в Кенигсберге). Тяжеловатый и немного примитивный, этот экслибрис представляет очень хороший образец искусства эпохи барокко.

Особенно быстро книжное собрание несвижского замка стало расти при Карле-Станиславе Радзивилле (1669—1719) — канцлере Великого Княжества Литовского. Он подбирал книги по многим отраслям науки. Его познания и ученость были так велики, что Карл-Станислав вошел в историю под именем «Viva Bibliotheca Eruditionis» («Живая библиотека учености»). Именно при нем

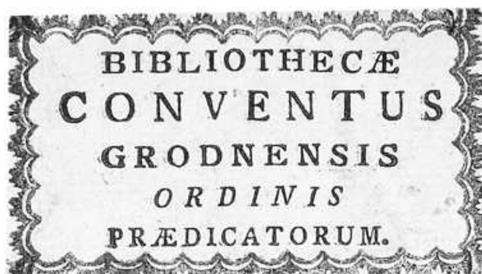
для Несвижской библиотеки было приобретено собрание маршала графа Класа Флеминга после его смерти в 1597 году. Для библиотеки был заказан экслибрис, ставший традиционным для Радзивиллов: в тонкой линейной рамке на княжеской мантии под княжеской короной четырехчастный герб, включавший в себя герб Радзивиллов — три рожка под тремя коронованными шлемами с наметом. Ниже в рамке текст: «Ex Bibliotheca ducali Radzivilliana Nesvisiensi», т. е. «Из княжеской Радзивилловской Несвижской библиотеки». Известны три варианта экслибриса с небольшими изменениями, видимо, имелись разные доски. Судя по манере гравирования, они были исполнены одним и тем же гравером, возможно, Гершко Лейбовичем (1700—1770), который в это время появился в Несвиже и поступил на службу придворным гравером при ординации.

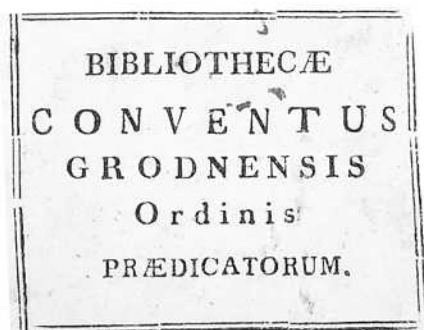
Библиотека значительно увеличилась при Михаиле Казимире Радзивилле Рыбоньке (1702—1762), прозванном так за любимое обращение к собеседникам. Он прославился тем, что восстановил город, разрушенный шведами в годы Северной войны. В пригороде Несвижа Альбе и городе Слуцке основал фабрики так называемых литых слуцких поясов. В Несвиже был открыт кадетский корпус, готовивший офицеров для войска магната. И в 1750 году в том же Несвиже вновь была открыта типография. При ней состоял уже упоминавшийся гравер Гершко Лейбович, который гравировал титульные листы, иллюстрации к книгам, издаваемым в несвижской типографии, и экслибрисы. Он же, кстати, стал автором сюиты гравюр «Портреты рода Радзивиллов», в которой насчитывалось 165 портретов. В центре экслибриса, который Лейбович награвировал для Радзивилла Рыбоньки, на заштрихованной горностаевой мантии с княжеской короной — герб младшей ветви Радзивиллов, орел, на груди которого на щите три скрещенных рожка под тремя коронованными шлемами, с нашлемниками и наметом. Герб поддерживают два щитодержателя — грифон и лев, стоящие на постаменте с воинскими атрибутами: пушками, знаменами, ядрами, алебардами и т. д. Герб окружен двумя лентами с орденскими крестами. На постаменте надпись: «Ex bibliotheca Radviliana ducali Nesvisiensi» — «Из княжеской Радзивилловской Несвижской библиотеки». Знак отличается великолепной техникой гравирования и удивительным чувством пространства гравюрного листа. Следует заметить, что коллекционерам известны по меньшей мере четыре варианта этого экслибриса с разницей в размерах и некоторых деталях, что позволяет сделать вывод о том, что были награвированы и использовались для печати по меньшей мере четыре доски.

Гершко Лейбович награвировал экслибрис и для жены Михаила Казимира Рыбоньки — Урсулы Францишки Радзивилл (1703—1753) — дочери Януша Вишневецкого, воеводы Краковского. Урсула была последней представительницей рода Вишневецких. Образованная женщина, она заботилась о пополнении библиотеки, доведя собрание замка до 9000 книг, сама написала 16 пьес и оперных либретто, поставленных в придворном театре. Для своих произведений широко использовала сюжеты классических произведений, помещая их в местные реалии. Экслибрис был геральдический, из двух частей. На фоне декоративной рамы горностаевая мантия, увенчанная княжеской короной, с картушем, на котором размещены гербы Радзивиллов и Вишневецких. Ниже мантии фигурная рамка с надписью: «Bibliothecae Ducalis Radzivillianae Nesvisiensis» — «(Из) княжеской Радзивилловской Несвижской библиотеки». Интересно, что художник вывел края мантии и корону за рамки поля, создав тем самым особую пространственную структуру гравированного листа.

Примечательный знак был исполнен для книжного собрания Иеронима Флориана Радзивилла (1715—1760). Один из самых жестоких представителей своего рода, он в то же время увлекался собиранием книг и рукописей, имел несколько библиотек. Геральдический экслибрис, совмещенный с пейзажем, для книг его библиотеки был, по сути, универсальный. На фоне пейзажа — долины,







Кн. знак библиотеки гродненского монастыря предикаторов (доминиканцев), 2-я половина XVIII века.

окруженной лесом с двумя виднеющимися вдали городами, — парит орел с княжеской короной со щитом на груди. На щите герб Радзивиллов — три скрещенных рожка, вверху идет лента, в которую от руки вписывался текст: «Ex libris Hieronimi Ducis Radziwill» — «Из книг Иеронима князя Радзивилла». Поскольку такой экслибрис встречается только с именем Иеронима Радзивилла, то принято относить этот знак к его библиотекам. Экслибрис выполнен в технике классического офорта (возможно, его гравировал итальянец Каньони), он до сих пор поражает гармоничной композицией и техникой гравирования. Достаточно обратить внимание на то, как уравновешены деревья на краях рисунка и лента, которая образует замкнутый контур, как рамку. Два города, виднеющиеся вдали, — видимо, Несвиж, где родился князь, и Слуцк, где он жил. После смерти Иеронима Радзивилла библиотека перешла к его брату Михаилу Казимиру Радзивиллу (1702—1762) и была перевезена из Слуцка в Несвиж.

Высшего расцвета библиотека в Несвиже достигла при сыне Радзивилла Рыбоньки Карле Станиславе Радзивилле (1734—1790), за манеру обращаться к собеседнику прозванном Пане Коханку. Он был уникальной личностью, совмещавшей в себе замашки гуляки, безудержное бахвальство, достойное барона Мюнхгаузена (рассказы и байки Пане Коханку заслуживают отдельного исследования), мужество во время военных действий, начитанность и патриотизм. Видный политический и военный деятель Великого Княжества Литовского, Пане Коханку был любимцем местной шляхты, именно к ее представителям он имел привычку всегда обращаться: «Пане Коханку» т. е. «Любезный пан», что стало дополнением к его имени. Шляхта боготворила его за показное равенство, удаль, юмор, за умение поддержать беседу. При его правлении библиотека замка резко увеличилась в объеме, и собрание книг превысило 20 000 экземпляров. В это время неизвестный художник награвировал экслибрис для его книжного собрания. Размер экслибриса был 84x57 мм — на заштрихованном фоне овальная рамка на постаменте. В рамке герб Радзивиллов под тремя коронованными шлемами, с нашлемниками и наметом. На постаменте текст: «Ex libris Caroli Stanislai Ducis Radziwill Palatini Vilnensis» — «Из книг Карла Станислава князя Радзивилла, воеводы виленского». Для библиотеки был построен специальный павильон, все книги и рукописи были приведены в порядок и тщательно описаны. К сожалению, как уже упоминалось, в 1792 году все собрание было вывезено и рассеяно. Архив был вывезен в Вильно и растворен среди других

архивов. Впоследствии из библиотеки Санкт-Петербургского университета часть книг, собранных Радзивиллами, была передана в библиотеку Хельсинкского университета (ныне Финляндия). Об этом свидетельствует каталог с описанием хранящихся в университетской библиотеке в Хельсинки 1119 томов с экслибрисами из собрания Радзивиллов, который недавно был издан в Финляндии.

Карл Станислав Радзивилл — Пане Коханку скончался в 1790 году, не оставив наследников, и владельцем Несвижского замка стал его племянник — последний представитель Радзивиллов по мужской линии Доминик Иероним Радзивилл (1786—1813). Однако он принял участие в войне 1812 года на стороне войск Наполеона и погиб в 1813 году в битве под Ганау. Несвижское имение Радзивиллов было разорено, и жизнь в нем замерла.

Книжные собрания, а с ними и экслибрисы, имели почти все представители Радзивиллов, включая и женскую линию. Привлекает внимание экслибрис княгини Марии Браницкой-Радзивилл — жены Радзивилла Пане Коханку — овал, окруженный четырьмя резными подставками с ангелами на них, в центре овала герб Радзивиллов — орел со щитом на груди, в центре щита три скрещенных рожка. Композицию венчает княжеская корона. По овалу идет текст: «Marya Branicka Radziwiłł».

Среди всей этой сюиты родовой геральдики выделяется экслибрис для Антония Генрика Радзивилла (1775—1833). Широкообразованный, прекрасный музыкант, великолепно игравший на виолончели, он был одним из первых композиторов, создавших оперу по известному произведению Гете «Фауст». Художник X. де Халерштейн сумел в сложной смешанной технике (офорт и пунктирная гравюра) точно отразить интересы владельца. В центре экслибриса профильный портрет владельца в шейном платке, сюртуке, с орденами на груди, справа от него гитара, виолончель и ноты, слева книга, на которой листки бумаги, ручка и картины. Все это отражало интересы владельца книг, его культурные запросы, содержание библиотеки.

Каштелян виленский Михал Иероним Радзивилл (1744—1831) для книг своей библиотеки использовал экслибрис, награвированный Я. М. Вейсом. Экслибрис был исполнен в технике офорта в конце XVIII века. На мантии с княжеской короной герб Радзивиллов: три скрещенных рожка под коронованными шлемами с нашлемниками, с гербового щита свисают на лентах три орденских креста. Под мантией два лежащих льва, ниже рамка с надписью: «Le Prince Michel Radziwill Castelan de Vilna:» — «Князь Михаил Радзивилл, каштелян виленский».

Интересный экслибрис принадлежал знакомой А. С. Пушкина Софье Александровне Радзивилл (1804—1889), урожденной княжне Урусовой, которая с 1833 года была замужем за генерал-майором князем Львом Людвиговичем Радзивиллом (1808—1884), кстати, участником подавления польского восстания 1830—1831 гг. Выполнен был экслибрис трафаретом: в линейной рамке под княжеской короной два щита с гербами князей Радзивиллов и Урусовых. Под рамкой надпись: «Princesse Radziwill» — «Княгиня Радзивилл».

Более 60 лет Несвижский замок пустовал, т. к. Антоний Генрих Радзивилл (1775—1833), который по указу царя стал ординатом Несвижской и Клецкой ординаций, женатый на племяннице прусского короля, стал наместником Великого княжества Познанского и ни разу не появился в своих владениях. В 1875 году новый ординат Несвижа и Клецка Антоний Вильгельм Радзивилл и его супруга Мария де Кастелян де Талейран решают восстановить Несвижский замок и с 1878 года поселяются в Несвиже. Новый ординат развернул в замке ремонтно-восстановительные работы, начал добиваться в Санкт-Петербурге возвращения вывезенных в 1813 году сокровищ и ценностей, и в 1905 году часть их из Эрмитажа была возвращена владельцам.

Следует учесть, что в 30-е годы XIX века библиотека Несвижской ординации пополнилась книгами из библиотеки закрытого Несвижского коллегиума иезуи-

тов. Об этом свидетельствуют рукописные экслибрисы иезуитских библиотекарей и экслибрисы Несвижской ординации, наклеенные на внутренние стороны обложек книг — книжные знаки работы французского художника Агри (Agry), исполненные в конце XIX века.

В это же время появились экслибрисы у владельца несвижского майората Ежи Радзивилла (1860—1914), поручика лейб-гвардии полка германской армии, камергера двора германского императора, который заказал экслибрисы уже упомянутому известному парижскому граверу Агри, создавшему немало экслибрисов для русской аристократии. Были исполнены несколько знаков в технике резцовой гравюры, отличавшиеся только текстами на картушах и отдельными деталями рисунка картушей. Знаки представляли картуш в стиле рокайль, внутри герб Радзивиллов — орел в княжеской короне со щитом, в центре которого три скрещенных рожка, ниже картуша шла надпись на польском языке. Тонкость и изящество линий, стилизованная манера исполнения, характерная для одного из последних мастеров рокайльных композиций: капризные завитушки, россыпь пуантильи по щиту как фон для герба сумели создать вместе с картушем единую, стилистически законченную композицию. Знаки были выполнены для следующих книжных собраний: библиотеки Несвижского замка, Несвижской ординации, а также для самого Ежи Радзивилла. Аналогичный экслибрис тогда же был исполнен для Станислава Вильгельма Радзивилла (1879—1920). Здесь следует заметить, что в XX веке книги Несвижской ординации помечались наряду с гравированным экслибрисом красным штемпелем с текстом: «Ordynacja Nieświeska biblioteka», т. е. «Несвижская ординация, библиотека», — и ставился инвентарный номер. Штемпель имелся в двух вариантах — круглый и овальный, но текст был одинаков.

Отдельно следует остановиться на кражах книг и рукописей из книгохранилищ Радзивиллов. Книги и рукописи похищались, как правило, служащими библиотек и сбывались собирателям. Известно, что в 1822 году несвижский библиотекарь К. Квятковский выкрал рукописи из собрания Радзивиллов. 96 из них, включая пергаментные списки XIII столетия, он продал познанскому магнату графу Титусу Дзялынскому (1797—1861) за 2000 талеров (12 000 злотых) для его Курницкой библиотеки. Именно в эту библиотеку впоследствии попали собрание древних рукописей Квятковского, библиотеки Яна Лукашевича и Огинского. Поэтому точный подсчет книг, которые были в собрании Радзивиллов, не всегда возможен, т. к. зачастую трудно установить, каким образом книги с владельческими знаками Радзивиллов попали в то или иное собрание.

Библиотека Несвижской ординации продолжала пополняться до 1939 года, когда, после присоединения Западной Беларуси к Советскому Союзу, книги были частично вывезены в Минск, а оставшиеся были рассеяны и потеряны в ходе войны. Часть книг попала в государственные хранилища, в 2010 и 2012 годах библиотека Академии наук Беларуси выпустила каталоги книг из отдела редкой книги библиотеки, ранее принадлежавших Несвижской ординации Радзивиллов, о чем можно было судить по экслибрисам и владельческим записям. Каталоги стали мемориальной памятью о книжных собраниях, когда-то составлявших гордость князей Радзивиллов — владельцев Несвижа, Мира и Клецка.

Сюита экслибрисов рода Радзивиллов кроме исторического представляет и искусствоведческий интерес. По ним можно проследить историю графического искусства на протяжении 300 лет. Исследователь пройдет путь от тяжелого и строгого барокко первых знаков Радзивиллов до конца XIX века, когда французский гравер Агри выполнил экслибрисы в стиле рокайль — своеобразного ремейка рококо. И хотя художники-граверы очень часто были неизвестны, экслибрисы остались как память об их трудах и о заказчиках.

С 1997 года реализуется проект реконструкции и восстановления документально-книжного наследия рода Радзивиллов — Радзивиллиана (Radzivilliana).



Кн. знак Богуслава Радзивилла (1620—1669), 2-я половина XVII века.

В 2006 году был создан Международный совет по разработке проекта виртуальной реконструкции документального наследия и библиотеки ординации Радзивиллов в Несвиже. В 2008 году проект был расширен, получил новое название «Документальное наследие Речи Посполитой» и одобрен ЮНЕСКО. В этом проекте по воссозданию, хотя бы виртуальному, уникального собрания книг и документов активно участвуют национальные библиотеки нескольких стран. Подтверждением важности собрания Радзивиллов для истории мировой культуры является принятое в 2009 году решение включить книжную коллекцию и архив ординации в Несвиже во Всемирный регистр ЮНЕСКО «Память мира». В описании книг библиотеки обязательно указывается владельческий родовой книжный знак с неизменным элементом: парящий орел со щитом на груди, на поле щита три скрещенных рожка. Это символ, прошедший через века.

Экслибрисы рода Сапег

Изучая историю Беларуси, мы обязательно вспомним самый влиятельный в Великом Княжестве Литовском после Радзивиллов род — это Сапеги. На протяжении столетий представители рода Сапег занимали самые крупные и влиятельные должности в органах власти Великого Княжества Литовского и Речи Посполитой. Достаточно указать, что род дал 38 сенаторов. Среди Сапег были канцлеры, гетманы, военачальники, церковные деятели. Род приобрел такие богатства, что во многом сравнялся с Радзивиллами. Впрочем, род Сапег был служивый, графское достоинство пришло к ним только в XVIII веке. До этого они служили не за звания, а ради пользы Отечества.

Следует вспомнить те должности, которые занимали представители рода Сапег в разное время в Великом Княжестве Литовском и в Речи Посполитой: 16 занимали так называемые «дигнитарские» должности, т. е. были сановниками, три служили начальниками артиллерии Великого Княжества Литовского, 25 — воеводами, четыре — каштелянами, четыре — гетманами великими литовскими, два — епископами, два — гетманами польными литовскими. В ходе антироссийских восстаний члены рода Сапег, как правило, примыкали к повстанцам, т. е. были противникам русского царизма, а посему имения Сапег в Беларуси были конфискованы и богатства, накопленные веками, потеряны.

Для всех представителей рода было характерно весьма приличное по меркам того времени образование, тяга к знаниям и собиранию книг. В отличие от

Радзивиллов, у Сапег долго не было родового гнезда, как Несвиж или Мир у Радзивиллов, и только в 1598 году канцлер Великого Княжества Литовского Лев Сапега приобрел местечко Ружаны, а затем и Деречин — оба в Слонимском повете. Достаточно легко и быстро Ружаны получили Магдебургское право. В обоих имениях Сапег были построены дворцы, собирались коллекции книг, гравюр, картин и скульптур. Самый известный представитель рода Лев Сапега вошел в историю как видный политический и военный деятель, оказавший большое влияние на ход истории Великого Княжества Литовского. У книжных собраний Сапег были экслибрисы, которые достаточно полно отражали интересы владельцев. Первые известные нам суперэкслибрисы датируются серединой XVI века (1544 г.), однако они не могут быть персонифицированы в связи с отсутствием уточняющих данных по владельцам знаков. Единственное указание на владельцев — родовой герб Сапег: в щите стрела с двумя поперечинами.

Граф Александр Михал Сапега (1730—1793) — один из самых известных представителей рода. Его послужной список впечатляет: с 1748 по 1750 гг. — староста пинский, с 1754 г. — полоцкий воевода, с 1775 г. — канцлер Великого Княжества Литовского. Свое имение Ружаны в нынешней Гродненской области он превратил в значительный культурный центр. При имении существовал придворный театр, в котором было 40 музыкантов и 60 артистов и танцоров, т. к. на сцене ставились и балетные спектакли. Для коллекций картин и предметов старины было предназначено западное крыло дворца, там же находилось и очень интересное собрание книг и рукописей. В 1784 году Ружаны посетил король Речи Посполитой Станислав Август Понятовский (1732—1798).

Для книг библиотеки было награвировано два экслибриса. Один из них приписывается Франциску Бальцевичу (Balcewicz), известному художнику из Вильно. На пышном экслибрисе, исполненном в стиле барокко, на двух колоннах на архитектурном постаменте установлены два бюста, между ними на постаменте женская фигура с копьем и щитом, на котором герб владельца и его инициалы A и S. На постаменте щит с надписью: «Ex bibliotheca Alexandri Comitis Sapieha Praef: Pun» (Из библиотеки Александра графа Сапеги, наместника пунского), постамент окружают книги, над книгами по краям постамента два земных глобуса. Судя по отсутствию графского титула, знак был исполнен до 1768 года. Ф. Бальцевич достаточно точно решил проблему черно-белых пятен гравюрного листа, без светотеней, показав хорошую технику владения штихелем.

Второй экслибрис представлял наборный типографский ярлык с текстом на латыни: «Ex bibliotheca Alexandri comitis Sapieha cap pun», что в переводе означало: «Из библиотеки Александра графа Сапеги, старосты пунского». Это позволяет с полной уверенностью сказать, что книжный знак был исполнен после 1768 года, т. к. графом он стал в 1768 году.

Другая родовая библиотека принадлежала графу Яну-Фридриху Сапеге (1680—1751), который с 1735 года занимал пост канцлера Великого Княжества Литовского. Книжное собрание находилось в имении Кодень Бельского уезда Седлецкой губернии.

Библиотека имела экслибрис, награвированный по рисунку художника Я. Ф. Милиуса из Гданьска. В линейной рамке на заштрихованном поле постамент, на котором стоит картуш с дворянской короной и гербом, все это окружено книгами и печатями. Внизу герба на орденской ленте орденский крест. На постаменте по доске идет титул владельца: «Ex libris Bibliotecae Codnensis Illustrissimi et excellentissimi Dni Johannis Friderici Comitis Sapieha Cancellarii Supremi Magni Ducatus Litvaniae Capitanei Brestensis 1736» (Из книг Коденской библиотеки сиятельнейшего и превосходительнейшего господина Яна Фридриха графа Сапеги, великого канцлера Великого Княжества Литовского, старосты Брестского 1736). Знак скомпонован симметричными массами по вертикали, мастерски решены светотени. Практически используя только горизонтальную штриховку, Я. Ф. Милиус

добился большой выразительности. Показательны корешки фолиантов: левый с блинтами, а правый гладкий.

Судьба библиотеки в Кодне была печальна. Все собрание книг в 1811 году было передано Обществу любителей наук, Александр Сапега выделил средства для содержания и пополнения собрания, а сама библиотека переехала из Кодня в Варшаву. После смерти графа в 1812 году в Деречине около Зельвы (во время охоты на кабана он был смертельно ранен) библиотека продолжала функционировать, но после разгрома восстания в 1832 году книжное собрание было конфисковано и перевезено в Гродно, а затем в 1858 году передано в библиотеку Виленской Археологической комиссии. Богатый архив, собиравшийся много лет, был в том же 1832 году отправлен в Санкт-Петербург в Императорскую публичную библиотеку, туда же попала и часть книг. В настоящее время книги из собрания графа Александра Сапеги хранятся в Вильнюсском университете, а также в Российской национальной библиотеке и библиотеке Эрмитажа в Санкт-Петербурге.

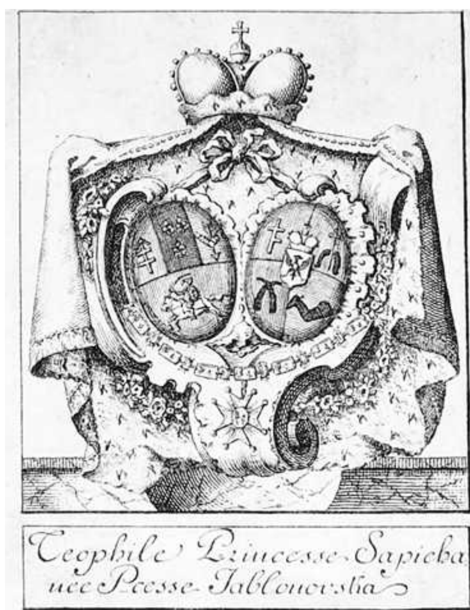
Жена графа Яна-Фридриха Сапеги — графиня Констанция (1697—1756), урожденная княгиня Радзивилл, полное ее имя было длинным — Констанция-Франтишка-Агнешка-Клара-Анна-Викторина Радзивилл, — вышла замуж за графа в 1717 году. В составе приданого она привезла с собой книги и продолжала подбирать библиотеку до конца жизни.

Вышеназванный художник Я. Ф. Милиус создал для книг экслибрис в геральдических традициях — в двойной линейной рамке с заштрихованным полем два орла по верхним углам держат мантию, украшенную княжеской короной, на поле мантии парящий орел с гербом Радзивиллов — тремя скрещенными рожками. Ниже мантии картуш на постаменте, по краям которого княжеская корона и висящая печать. Текст под рамкой гласит: «Z Biblioteki Ias: Osw: Xiazney I msci: Konstancyi z Radziwillow Sapiezyney Kanclerzyney Wielkiey W^{o} X^{a} L^{o}. 1741» (Из библиотеки светлейшей княгини ее милости Констанции из Радзивиллов Сапеги, (супруги) великого канцлера Великого Княжества Литовского 1741). Следует отметить, что, в нарушение традиций, в геральдической части экслибриса жены отсутствовал парный герб мужа — видимо, графиня Констанция считала ниже своего достоинства иметь рядом с гербом Радзивиллов герб Сапег. Судьба библиотеки была печальна. Вместе с книжным собранием мужа она была конфискована, вывезена в 1832 году после поражения польского восстания 1831 года в Санкт-Петербург и рассеяна по российским библиотекам.

Граф Иосиф Станислав Сапега (1708—1754) был видным деятелем церкви и имел несколько церковных титулов: препозит Виленский, архидиакон Жмудский, каноник Варшавский, великий референдарий Литовский, коадъютор (т. е. заместитель) епископа Виленского. На его экслибрисе были перечислены вышеуказанные должности. Экслибрис был создан Ф. Бальцевичем в 1733—1745 годах и представлял архитектурный постамент с двумя бюстами и глобусом. В центре круг с надписью: «Ex bibliotheca Josephi comitis Sapieha Praepositi Prelati Vilnensis. Archid: Samogi: Canon: Vars:» (Из библиотеки Иосифа графа Сапеги, епископа прелата виленского, архидиакона жемайтского, каноника варшавского), ниже овал с гербом Сапег на мантии с княжеской короной, под шляпой каноника. У основания постамента книги, циркуль и перо.

Одной из интереснейших женщин XVIII века была княгиня Анна-Паулина Яблоновская (1727—1800), с 1768 года княжна Сапега, которая была женой брацлавского воеводы князя Яна-Каэтана Яблоновского. Большая библиотека размещалась в имении Семятичи Бельского уезда Гродненской губернии, там же хранилась коллекция редкостей. На книги библиотеки наклеивалось два геральдических экслибриса.

На первом, конца 1740-х годов, на горностаевой мантии, увенчанной княжеской короной, семейный парный герб: князей Яблоновских и графов Сапег, под мантией текст на французском языке: «De la bibliotheque de Son Altesse



Кн. знак Феофилы Сапеги (1740—1816), урожденной княгини Яблоновской. Рис. Я. М. Вейса.

Madame la Princesse Jablonowska Palatine de Braclawie. Nee Comtesse de Sapiehe» (Из библиотеки ее высочества княгини Яблоновской, (супруги) брацлавского воеводы. Урожденной графини Сапеги). На втором, исполненном художником Я. М. Вейсом во входившем тогда в моду стиле рокайль, на княжеской мантии размещены княжеские гербы Яблоновских и Сапег в картуше рокайль, окруженном орденской цепью. Ниже в рамке по-французски: «Anne Princesse Jablonowska nee P-cesse de Sapieha Palatine de Braclau» — «Анна княгиня Яблоновская, урожденная княжна Сапега, (супруга) воеводы Брацлавского». Знак легко датируется, т. к. княжеское звание Сапеги получили в 1768 году, следовательно, экслибрис появился после 1768 года.

Обращает на себя внимание и другой женский экслибрис, принадлежавший княгине Теофиле Сапеге (1740—1816), урожденной княгине Яблоновской, дочери известного польского геральдика князя Александра Яблоновского, которая была замужем за князем Иосифом Сапегой — кстати, родным братом вышеупомянутой Анны Яблоновской. Экслибрис был исполнен по рисунку художника Я. М. Вейса после 1768 года. Художник сделал классический семейный знак: на мантии с княжеской короной помещен картуш с гербами мужа Иосифа Сапеги и его жены Яблоновской, исполненными в двух медальонах, вокруг гербов орденская цепь с наградным крестом. Ниже рамка с текстом изящным шрифтом: «Teophile Princesse Sapieha nee P-cesse Jablonovska» — «Теофила княгиня Сапега, урожденная княжна Яблоновская».

Книжные собрания князей Сапег были в основном конфискованы и вывезены в библиотеки крупнейших заведений царской России — из-за того, что Сапеги участвовали во всех восстаниях против царизма. От библиотек, размещавшихся в их владениях в Слониме, Кодени, Ружанах и Деречине, памятью остались только книги с владельческими знаками — экслибрисами. Совместные усилия Национальной библиотеки Беларуси и Российской национальной библиотеки позволили создать виртуальный каталог — «Книжное собрание рода Сапег». Путеводной звездой в этом нелегком деле служили экслибрисы владельцев книг.

Выше уже упоминался Михаил Иероним Важинский (?—1773), который в 1746—1755 годах был великим писарем Великого Княжества Литовского. Знак исполнил художник Ф. Бальцевич (Balcewicz) в чисто геральдической манере: картуш в стиле барокко окружен военной арматурой (пушки, пики, алебарды, булавы и т. д.), опирается на герб с короной, герб поддерживают два щитодержателя-льва, над кругом — сфера. В центр картуша вписан круг с надписью: «Ex bibliotheca Michaelis Hieronimi Wazynski Notarij Magni M.D. Litv» — «Из библиотеки Михаила Иеронима Важинского, писаря Великого Княжества Литовского», между строчками курсивом первая часть фамилии — Skarbek. Судя по всему, памятью о библиотеке и ее владельце остался лишь этот экслибрис, но книги с ним изредка встречались в антикварных магазинах Вильнюса и Минска.

Собрание Хрептовичей

В книжной истории Беларуси существует лишь две библиотеки — Хрептовичей и Гуттен-Чапских, — которые сохранились в неизменном составе на протяжении столетий и дошли до наших дней. Остановимся на семейной библиотеке графов Хрептовичей, рода, оставившего заметный след в истории нашей страны. Достаточно вспомнить, что граф Иоахим Хрептович был последним канцлером Великого Княжества Литовского.

Основал библиотеку граф Иоахим Литавор Хрептович (1728—1812) в своем имении Щорсы Новогрудского уезда Минской губернии. Он подбирал книги по многим отраслям знаний: здесь были произведения классической литературы от античности до ренессанса, книги по теологии, по истории Польши и Великого Княжества Литовского. Были они как в подлинниках, так и в переводах. Иоахим Хрептович не жалел ни сил, ни средств на пополнение библиотеки. Будучи в Риме, приобрел часть библиотеки скончавшегося в 1737 году кардинала Джузеппе Империали, а когда в 1768 году сослали в Калугу епископа Иосифа Залусского, скупал книги из его библиотеки, которые разворовывал и продавал библиотекарь. Активно скупал и книги из католических костелов, которые массово закрывались в конце XVIII — начале XIX веков. Особое внимание было уделено литературе эпохи Просвещения, как богословской, так и светской. Были представлены лучшие издания польских типографий. Собрание летучих изданий (памфлетов) и листовок эпохи Реформации поражало своей полнотой, так как включало не только книги, но также листовки и рисунки, точнее, карикатуры на действующих лиц Реформации — с обеих сторон. Имелось интересное собрание рукописей или их копий по истории Великого Княжества Литовского и Речи Посполитой XVI—XVIII веков. Большая их часть поступила в библиотеку Хрептовича из собрания графа Михаила Раецкого после его смерти, в соответствии с завещанием. Это были акты и документы сеймов и сеймиков, конфедераций, переписка государственных деятелей и т. д.

В собрании было несколько экслибрисов, на которых последовательно указывались должности владельцев. Первоначально, скорее всего, применялся известный штемпель с текстом прописью: «Ex Bibl. Joach. Com. Chreptowicz» — «Из библиотеки Иоахима графа Хрептовича». Затем появился другой знак — в овальной рамке награвирован текст: «Ex bibliotheca Joachimi Comitis Chreptowicz Pro= cancelarii MDL» — «Из библиотеки Иоахима графа Хрептовича — подканцлера Великого Княжества Литовского». Когда владелец библиотеки стал канцлером, был изготовлен другой экслибрис — в декорированной рамке текст: «Ex Bibliotheca Joahimi Comitis Chreptowicz Cancellarii Magni Ducat. Lithuani» — «Из библиотеки Иоахима графа Хрептовича, канцлера Великого Княжества Литовского». Сын канцлера — Адам Хрептович (1768—1844) продолжил собирательскую деятельность отца и пополнял собрание. В 1820 году библиотека насчитывала 7600 названий и более 10 000 томов. В собрании появился новый экслибрис: штемпель с набранным текстом «Ex Bibl. Adami. Com. Chreptowicz» — «Из библиотеки Адама графа Хрептовича».

В 1910 году их наследник М. А. Хрептович-Бутекев передал родовую библиотеку в депозит университету Святого Владимира в Киеве — с условием, что если откроется университет в Вильно, собрание книг будет передано в его университетскую библиотеку. Но это не было исполнено, и до настоящего времени библиотека белорусского рода Хрептовичей, собиравшаяся свыше 150 лет, хранится в основном в библиотеке Киевского университета и является его гордостью. Следует заметить, что во время мировых войн библиотека Хрептовичей эвакуировалась, а затем возвращалась назад с минимальными потерями.

Окончание следует.

Женщины пишут графу Огинскому

В № 6 журнала «Нёман» за 2017 год читателям был предложен материал «Романтическая легенда нашей истории», в котором рассказывалось о долгом и нелегком «возвращении на родину» нашего славного соотечественника — музыканта, литератора, государственного деятеля Михала Клеофаса Огинского. Там же мы познакомили своих читателей с уникальными документами той эпохи, нигде и никогда ранее не публиковавшимися на русском языке. Так, из обширного архива графа Огинского, хранящегося ныне в Минском музее театрального и музыкального искусства в виде копий, мы выбрали лишь малую, но исключительно интересную часть — письма к графу разных женщин, связанных с ним творческими интересами и дружескими чувствами. Итальянки, француженки, польки, русские... При всех различиях в социальном статусе, круге общения, сразу обращает на себя внимание то, что их объединяет: все они были незаурядными личностями. Могло ли быть иначе, если сам адресат (это понимали уже тогда) — выдающееся явление в европейской культуре? И при этом — «просто человек», обаятельный, тонкий, по-настоящему ценивший единственно достойную роскошь — роскошь человеческого общения. Подобное привлекает к себе подобное.

Одной из этих замечательных женщин, которая состояла в частой дружеской переписке с Михалом Клеофасом, была Мария Шимановская — виртуозная пианистка и талантливый композитор. История ее жизни во многом типична для ее времени и в то же время необычна.

Марианна Агата (урожд. Воловская) родилась 14 декабря 1789 года в Варшаве, в семье зажиточного пивовара и домовладельца Франтишка Воловского и его жены Барбары. Это был переломный год в истории всей Европы: грянула Великая Французская революция. И хотя непосредственного ее влияния на жизнь семьи польского пивовара усмотреть нельзя, но ветер перемен уже ворвался в застоявшуюся атмосферу старой Европы. Серьезное брожение умов началось и в Польше; через два года оно выльется в принятие Конституции — первой в Европе. Повсюду начало поднимать голову «третье сословие», не соглашаясь более оставаться в обществе «третьим сортом». Так, в свете новых веяний и приобщение к культуре, в частности музыкальной, перестало считаться исключительно дворянской привилегией.

Возможно, именно в духе нового времени родители Марыси, заметив музыкальную одаренность дочери, отдали ее в обучение игре на фортепьяно и *композиции* — самому Йозефу Элснеру[1]. Женщина, желающая заниматься сочинением музыки, — тогда это выглядело все-таки очень непривычно...

Игра на фортепьяно, даже весьма беглая, была достаточно распространенным явлением в семьях того времени: ею услаждали гостей на домашних праздниках, развлекали в салонах. Это была «музыка для себя». Талант же Марыси Воловской явно не умещался в рамках салонного музицирования — и вот результат: в 1810 году она уже дает свои первые публичные концерты в Варшаве и в Париже.



Мария Шимановская

А дальше... А дальше — в том же 1810 году состоялся ее брак с Йозефом Шимановским, помещиком средней руки и заурядным человеком. Заурядность его выражалась вполне обычно, как это нередко случается и в наше время, — в неприятии им творческой натуры своей жены. Десять лет совместной жизни подарили супругам троих детей. Что же до обожаемой музыки, то если у Марии и случались творческие порывы — они тут же гасились благонамеренным супругом. Однако если в человеке живет настоящее его призвание — оно неизбежно и властно заявит о себе, рано или поздно. И хорошо, если это случится не слишком поздно...

В 1820 году супруги расстались; это было нелегко в то время вообще, а тем более — в католической Польше. Но вот, наконец, невзгоды позади, а впереди — главное: Мария Шимановская отныне вольна заниматься тем, чего жаждет ее душа, — исполнять любимую музыку и сочинять самой. Так появляются ее знаменитые фортепьянные пьесы «Двадцать экзерсисов и прелюдий» и множество замечательных песен.

Поначалу сказывается неуверенность в своих силах (очевидно, приобретенная в браке с «чутким» супругом) — и Мария отваживается исполнять свои сочинения только перед друзьями и гостями. Затем приходит убежденность в своем праве, и даже *обязанности* отдать свой талант широкой публике. Да и зарабатывать нужно — на себя и на своих детей. Так музыка, оставаясь любовью, становится *профессией*.

Первые успешные концерты в Варшаве в 1822 году придают смелости виртуозной пианистке, и начинается ее гастрольная жизнь — жизнь «бродячего музыканта» со всеми ее тяготами и тревогами. А как же ее трое детей? — может спохватиться здесь иной дотошный читатель. Представьте себе, ее трое детей всегда были при ней. Думается, что в ее положении это был материнский подвиг...

В 1823—1827 годах Мария Шимановская объездила всю Европу: давала концерты в Германии, Англии, Франции, Швейцарии, Италии, России. По мнению исследователей, она была первой пианисткой, исполнявшей свои многочисленные сочинения по памяти. В Лондоне и Берлине она выступала перед особами королевской крови. В Веймаре она привела в восторг знаменитого Гете: певец «юного Вертера», сам великий романтик, называл Марию Шимановскую «пленительной богиней музыки». Адам Мицкевич тоже был самого высокого мнения о ее чудесном таланте: он величал ее «королевой музыки».

В 1828 году Мария Шимановская была приглашена в Санкт-Петербург придворной пианисткой и преподавательницей игры на фортепьяно. Наконец ее жизнь стала обеспеченной и надежной, не зависевшей от прихотей переменчивой судьбы. Образовался у нее и постоянный ближний круг общения: ее музыкаль-

ный салон посещали многие выдающиеся люди своего времени, как русские, так и поляки.

Устроились и судьбы ее дочерей. Старшая дочь, Елена, вышла замуж за юриста Франтишка Малевского, который служил вместе со знаменитым государственным деятелем России М. М. Сперанским и принимал участие в составлении Свода законов. Другая дочь, Целина, стала супругой Адама Мицкевича.

Мария Шимановская умерла 25 июля 1831 года и была похоронена на Митрофаниевском кладбище Санкт-Петербурга.

В России не забывают об этой замечательной женщине, выдающемся музыканте, чьи произведения не канули в Лету, волнуют и радуют настоящих любителей музыки и в наше время. Для увековечения ее памяти в 2010 году на Тихвинском кладбище Александро-Невской лавры был открыт художественно выполненный кенотаф.

Хотелось бы, чтобы и у нас, в Беларуси, больше знали о ней, чтобы ее произведения чаще исполнялись великолепными нашими музыкантами. Мария Шимановская этого заслуживает.

Предлагаем вашему вниманию два письма этой замечательной женщины к графу Огинскому в переводе с французского. Они относятся к первой половине 20-х годов XIX века. Письма существуют только в своем изначальном, рукописном варианте, и некоторые имена собственные в них трудноразличимы, к сожалению, из-за особенностей почерка автора.

Рим, 14 декабря с. г.

Г-н граф,

зная о Вашем благожелательном интересе к польским путешественникам, спешу сообщить Вам, что мы добрались сюда целыми и невредимыми в субботу в два часа пополудни. Погода нам благоприятствовала, и наш возница, старательный и опытный, оказал нам тысячу добрых услуг. Когда же мы проезжали через Площадь Испании, некто, вроде Франца, любезно предложил разместить нас в частном доме. Через полчаса мы уже были устроены. Вам будет приятно узнать, что нам здесь уютно, причем за приемлемую плату.

Не буду рассказывать Вам, господин граф, о чудесных достопримечательностях Рима — Вы знаете их и способны оценить лучше, чем кто-либо другой.

*Мы не теряем времени даром, и все мои письма (*рекомендательные. *— Е. Ч.) уже переданы по назначению. Одно из прошений, от любезного графа Коссаковского*[2]*, было адресовано секретарю самого Папы: оно касалось разрешения на проведение концерта раньше, чем «дверь Храма падет»*[3]*. Со всех сторон на меня обрушился ливень визитов, советов, приглашений, разных любезностей, — и всем этим я обязана моим добрым флорентийцам, ведь именно они способствовали распространению такого интереса к моей особе.*

Мне пока что не довелось повидать графа Дунина[4]*, так как его здоровье несколько пошатнулось, зато г-н Коссаковский сумел очень быстро осуществить Ваши пожелания — это значит, что он занимается нами так, как это делали Вы, дорогой граф, и этим все сказано. Я никогда не забуду Вашей бесконечной заботы о нас, и память о Вашей трогательной доброте останется во мне навсегда.*

В Риме не устраивают балов, но нет недостатка в разнообразных светских собраниях. Вчера весь вечер мы провели у княгини Гагариной — дети у нее настоящие амурчики. Сама же она добра, приветлива и горячо увлекается музыкой, поэтому можете представить, дорогой граф, как приятно будет мне поддерживать отношения с нею. Сегодня же вечером мы приглашены на большой прием к герцогу де Монморанси. Как видите, дела идут полным ходом. И все эти многообразные занятия не препятствуют моему крепкому сну — к великому удовольствию Казимиры, а также Вашему, я надеюсь.

Торвальдсен[5] и директор Французской академии г-н Герен исполняют при нас роль чичероне[6]. Аббат Брутти и профессор Джанотти, со своей стороны, прилагают все усилия, чтобы угодить нам. Чудесный генерал Свитабен (?) добыл для нас карты и путеводители по древнему и современному Риму. Если бы мы не грустили так сильно по покинутой нами милой Флоренции, то Рим, вероятно, показался бы нам раем.

Будьте так любезны, г-н граф, передать наши самые почтительные и нежные пожелания дорогому семейству графа Комара. У меня набегают слезы на глаза, когда я вспоминаю, что со времен Парижа я постоянно находилась, так сказать, под их опекой. Казимира собирается написать подробное письмо очаровательной графине Дельфине[7], но хочет повременить еще несколько дней, чтобы набралось побольше материала для него.

Не забудьте, убедительно прошу Вас, передать от меня привет Вашей любезной соседке и моей признанной благодетельнице. Я радуюсь, когда предполагаю снова повидаться с ней в Неаполе, а заодно — и с г-ном Артуром, закутанным в его хорошенькое манто[8].

Я даже затрудняюсь наилучшим образом построить фразу, когда вспоминаю несравненную мадам Сверчкову (?) и ее достойного супруга. Когда мои чувства так остры, я зачастую не нахожу нужных слов. Г-н граф, возьмите на себя труд донести до них мою благодарность за доброту, которой они меня осыпали.

Ничего не передаю для графини Буасси, потому что настал мой черед наслаждаться общением с ней, но уже ответным. Возле Вас находится моя любезная и очаровательная ученица мадемуазель Камилла, которой я сразу же хочу передать тысячу добрых пожеланий, как и для мадам д'Энан (?).

Покидаю Вас, чтобы написать г-ну Демидову; хочу воспользоваться его салоном в Риме. Это один из лучших салонов для проведения в нем академий[9]. Он от всей души уверял меня в том, что я должна смело рассчитывать на подобную услугу с его стороны.

Прощайте же, наконец, или лучше сказать «до свидания» — это звучит утешительнее.

Примите, прошу Вас, г-н граф, уверения в самых лучших чувствах к Вам от двух сестер, к которым присоединяется их брат.

М. Шимановска.

Тысяча приветов г-м Исидору и Франсуа Собаньским. Я не могу забыть и столь обязательного г-на Ходько[10] и осмеливаюсь (чтобы не потерять навыка давать поручения) просить его пройтись на Понто Веккио[11] к ювелиру Картези и забрать у него два коралловых крестика на цепочках — мне было бы так приятно получить их с оказией здесь или в Неаполе. Этот сувенир у меня от княгини Четвертынской — вот одна из причин, чтобы особенно ценить их.

Не забудьте также передать от меня привет знаменитой пианистке. Мое почтение обеим Примам. Целую мою милую маленькую подругу.

Мы написали в Пизу.

Для г-на Комара в ящике писем нет.

Неаполь, 25 января с. г.

Зная об интересе, который Вы питаете к некоей польской артистке, тороплюсь сообщить Вам, что ее концерт состоялся вчера в зале Театра Рондо и что, несмотря на тяжелый траур, омрачающий сердца жителей Неаполя, нашлось достаточно большое их количество, чтобы прийти послушать ее и наградить аплодисментами — даже более, чем она того заслуживает.

Раскрыв таким образом перед Вами свою душу, любезный граф, теперь сообщаю Вам, что 29 числа мы покидаем Неаполь и отправляемся в Рим, где рассчитываем задержаться на пару дней. Затем мы сразу же возвратимся

в прелестный город Флоренцию, где с особым интересом повидаемся вновь с нашими добрыми знакомыми. Усталость, вчерашние волнения, количество писем, которые я должна успеть отправить с сегодняшним курьером, и многочисленные визиты, которые ливнем обрушиваются на меня сегодня, — поглощают все мое время; вот почему я сейчас пишу Вам это письмо в такой спешке и вынуждена закончить его раньше, чем мне бы хотелось.

Не могу, однако, отложить перо, не попросив Вас, любезнейший граф, сообщить мне в Рим известия о здоровье маленького Артура и его прекрасной мамы, которая так сильно переживала за него. Я настоятельно прошу также известий о семье наилучшего на свете[12] *графа Комара. Казимира намеревается ответить на милое письмо мадемуазель Дельфины. Я совершенно готова выполнить поручение, которое она соблаговолит мне дать. Если бы ей угодно было, чтобы я прошла сквозь огонь или пересекла реку вплавь — я бы охотно пошла и на это.*

До свидания, многоуважаемый граф. Заверяю Вас в наилучших чувствах уважения и признательности, которые испытывают к Вам обе сестры и к которым присоединяется их брат.

М. Шимановска.

Прошу Вас, не забудьте передать от нас привет мадам [неразб.] *и моей очаровательной Ученице.*

Передавайте при случае нежные приветы друзьям в Пизе. Посылаем наилучшие пожелания г-ну Ходько.

Нужно ли говорить Вам, что на моем концерте присутствовали Дзингарелли[13] *и Крешентини*[14]*?*

Присутствие на концерте М. Шимановской таких людей говорит, конечно, о высокой оценке ее таланта музыкальной элитой. Из скромности она упоминает об их посещении лишь в краткой приписке.

Приведенные письма содержат упоминания о некоторых лицах, сведения о которых найти трудно или даже невозможно. Однако здесь важнее отметить другое: при всей широте и разнообразии круга общения Марии Шимановской в ее письмах мы не находим ни одного имени человека, о котором она не отозвалась бы с симпатией и доброжелательностью. Это свидетельствует об исключительном обаянии и искреннем дружелюбии самой Марии по отношению *ко всем*, с кем сводила ее жизнь. Эти качества сразу проявляются в общении, их невозможно «подделать», и люди платили и всегда платят за них доверием и любовью.

Комментарии

[1] Элснер Йозеф Антони (1769—1854) — польский композитор, дирижер, преподаватель. Писал оперы, симфонии, полонезы, вальсы, а также духовную музыку для Вроцлавского собора; автор известной оратории «Иисус Христос». Служил дирижером Императорского театра во Львове, затем главным дирижером Национального театра в Варшаве. Активно занимался преподавательской деятельностью; среди его учеников был и Фридерик Шопен.

[2] Коссаковский Станислав Осипович (1795—1872). В 1822—1827 гг. был первым секретарем Российского посольства в Риме. Занимался литературой, живописью, ваянием. Им написано несколько комедий на польском и французском языках.

[3] Возможно, здесь имеется в виду запрет на проведение светских мероприятий перед большим церковным праздником.

[4] Дунин Станислав (1786—1851) — ученый-химик и минералог, а также крупный специалист по библиотечному делу. Получил образование в Фрейбургской горной академии. Владел несколькими языками, написал несколько ценных научных работ. На родине,

в Галиции, в 1818 году организовал «Общество сельских хозяев». В 1827—1829 гг. участвовал в создании научной библиотеки во Львове. В 1829 году был приглашен заведовать библиотеками всех учебных заведений Варшавы, но отказался из-за слабого здоровья. Дальнейшая его деятельность малоизвестна.

[5] Торвальдсен Бертель (1770—1844) — знаменитый датский скульптор и художник, яркий представитель позднего классицизма.

[6] Cicerone (*итал.*) — гид, проводник.

[7] Дельфина Потоцкая (урожд. Комар) — 1807—1877. Всесторонне образованная, наделенная разнообразными талантами, известная по всей Европе светская львица. (Во время, относящееся к написанию письма, — еще юная девушка.) В 1825 году вышла замуж за Мечислава Потоцкого, известного своим эксцентричным нравом. Две их дочери скончались во младенчестве. Граф жестоко обращался с супругой, обвиняя ее в неспособности родить ему желанного наследника. В 1830 году Д. покинула Потоцкого и уехала в Париж — брак распался, однако супруг до самой своей смерти выплачивал ей по 100 тыс. франков в год.

В Париже Д. полностью отдалась светским развлечениям и любовным приключениям. В нее были влюблены очень многие, в т. ч. Жозеф Бонапарт, брат Наполеона, и Оноре де Бальзак. Пригласив молодого Фридерика Шопена в качестве учителя музыки, Д. увлеклась им, и их роман длился четыре года. Ей был посвящен 2-й концерт для фортепьяно «фа-минор» и знаменитый «Вальс-Минута». Добрые отношения они сохранили до конца жизни Шопена; у его смертного ложа Д. играла сонаты.

В Италии Д. познакомилась с известным польским поэтом-романтиком Зигмунтом Красинским, и их любовь стала для них обоих «самым великим событием в жизни».

Последним ее увлечением стал известный художник Поль Деларош. На портрете Дельфины, написанном Деларошем в 1849 году, мы видим еще прекрасную зрелую женщину, умеющую держаться с большим достоинством. Их связь прекратилась только в 1856 году — со смертью художника.

Дельфина Потоцкая, будучи сама талантливым человеком, оставила свой след в европейской культуре как муза, вдохновлявшая многих людей искусства.

[8] Шутливо-нежное упоминание о болезненном ребенке.

[9] Так принято было называть подобные концерты.

[10] Леонард Ходько — личный секретарь М. К. Огинского.

[11] «Старый мост» в Риме — место, где располагались разнообразные лавочки и мастерские.

[12] В оригинале по-польски.

[14] Дзингарелли Никколо Антонио (1752—1837) — оперный композитор неаполитанской школы; писал также церковную музыку: мессы, оратории. Работал в Ла Скала, затем хормейстером в Сикстинской капелле, но был отстранен от должности за отказ дирижировать мессой в честь коронации брата Наполеона королем Римским; был отправлен в Париж под арестом, но Наполеон, поклонник его таланта, освободил его от наказания и даже назначил ему государственный пенсион. Последние 20 лет жизни Дзингарелли занимал должность хормейстера Неаполитанского собора.

[15] Крешентини Джироламо (1762—1846) — знаменитый в свое время певец сопрано (кастрат) болонской школы. Пел в Италии, Вене, Лондоне, в Париже при дворе императора Наполеона. Занимался также композицией: сочинял арии, кантаты, составил сборник вокализов. Состоял членом «Академия филармоника» в Болонье.

Текст, комментарии и перевод писем Елены ЧИЖЕВСКОЙ.



С точки зрения рецензента

Слоны с Луны и еще кое-что



Читать талантливую книгу, адресованную детям, — истинное удовольствие и для взрослых. Во всяком случае, у меня появляется такое ощущение, когда открываю для себя новые страницы творчества замечательного поэта Владимира Мозго. Вниманием он не обделен. Лауреат премии Федерации профсоюзов Беларуси, двух литературных — престижного «Золотого Купидона» и имени Василя Витки. Плодотворно пишет автор для дошкольников и младших школьников.

Владимир Мозго — сегодня один из ведущих белорусских детских писателей. На его творческом счету много книг. Кстати, не менее хорошо известен он и как «взрослый» поэт. Известные композиторы охотно пишут песни на его стихи. Не чужда ему и публицистика. Успешно работает как переводчик. Да и его произведения звучат уже на нескольких языках.

На русский язык его стихи перевел Петр Кошель. По-чувашски ему помогли «заговорить» народный поэт Чувашской республики Юрий Семендер и Василий Кервень. А Геннадия Авласенко привлекли произведения В. Мозго для детей. В Редакционно-издательском учреждении «Издательский Дом «Звязда»» вышла его русскоязычная книга стихов, сказок, скороговорок, каламбуров «Слоны с Луны». И вот «Слоны с Луны» снова пришли к маленьким читателям. Одноименная книга В. Мозго издана в Москве. Полностью предыдущую она не повторяет, хотя в основу ее и положены многие произведения из минской книги. Также в переводе Г. Авласенко. Но иллюстрации сделала не Рита Тимохова, а российская художница Алла Высотская.

Интересна сама по себе и история появления книги. Зеленый свет перед московскими «Слонами с Луны» зажег Фонд поддержки и развития детской литературы «Евразийский форум детской книги». Что он собой представляет, в небольшом предисловии рассказывает его директор Надежда Пилько. Она отмечает, что Фонд «[…] занимается продвижением детской литературы из стран СНГ в России. Мы ставим перед собой задачу познакомить юных читателей с культурой и историей наших соседей, стремимся сделать доступными для детей книги писателей стран ближнего зарубежья, улучшить книгообмен между ними, найти новые имена и новую аудиторию для писателей».

Уже то, что поставлена такая благородная задача, отрадно. Однако вдвойне радостно, что книга В. Мозго «Слоны с Луны» стала первой ласточкой, «при-

летевшей» из Беларуси в Москву, чтобы оттуда «полететь» уже по необъятным просторам СНГ и России. Немаловажен и тот факт, что Н. Пилько коротко знакомит мальчишек и девчонок с нашей страной: «Беларусь — государство, граничащее с Россией. В Беларуси многие говорят на русском языке, и когда ты туда приедешь, все будут понимать тебя. Беларусь — удивительно красивая страна. Там много прекрасных озер и лесов. Может быть, ты слышал когда-нибудь о Беловежской пуще? Так вот, она находится там. У нас много общего с этой страной. История, язык, культура — объединяют нас».

От себя добавлю, что после всего сказанного книга «Слоны с Луны» воспринимается как бы своего рода визитной карточкой Беларуси. Конечно, такой, которая знакомит с современной детской литературой. Если же конкретно — через произведения В. Мозго. После знакомства с ними, замечу еще раз, и у взрослого читателя появится чувство радости от соприкосновения со стихами, сказками, настолько правдивыми — не удивляйтесь, в детской литературе все возможно, — что создается впечатление, будто все то, о чем рассказывает поэт, происходило и в самом деле. Начиная со стихотворения, давшего книге название.

Короткое оно, но это тот случай, когда можно сказать: мал золотник, да дорог. Ощущение такое, что оно вовсе и не написано В. Мозго, а как бы услышано им от кого-либо из мальчишек и девчонок. Они делятся тем необычным, что и возможно только в детстве. Рождению этого способствует сама богатая фантазия. Она срабатывает тогда, когда что-нибудь для тебя становится открытием, приносит радость. А уже ею хочется как можно быстрее поделиться с ровесниками. Да и не только с ними:

Ко мне
С Луны
Пришли
Слоны!
Они
Ко мне
Пришли…
Во сне.

Стихотворение выигрывает и от того, что все подано просто, без какой-либо поэтической усложненности. Сказано именно устами ребенка. Это — свидетельство того, что В. Мозго чудесно понимает детскую психологию. Он придерживается традиционной, классической формы, характерной для настоящей детской литературы. Как в связи с этим не вспомнить Агнию Барто с ее «Наша Таня громко плачет…» или «Идет бычок, качается…». Там также все очень просто. Но не придумано, а взято из самой детской повседневности.

В. Мозго старается разговаривать с детьми на понятном им языке. Однако это не означает, что полностью отказывается от метафорической наполненности строки. Но у него никогда не встретишь чрезмерно усложненные образы. Тот или иной поэтический рисунок легко запоминается, поскольку, создавая его, поэт опять-таки отталкивается от самой жизни. И при всем прочем, никогда не забывает, что в произведениях для детей кроме познавательности и занимательности должны присутствовать и воспитательные элементы. Благодаря этому мальчишки и девчонки могут познакомиться с тем, что связано с реалиями сегодняшнего дня. Как в сказке «Лесная аптека». Дятел просит лекарство для сыночка, поранившего ножку. В лесной аптеке помогли не только ему, но и Медведю. С Волком все оказалось сложнее. Узнали медики, что зубы у него не просто так себе разболелись. Застудил Волк их, ловя Зайца. Потому сказали ему, чтобы отпустил зайчонка, иначе не помогут. Ничего не оставалось Волку, как послушаться. Завершается сказка так:

В жизни,
А не только в сказке,
Лечат нас
Добро
И ласка.

А от злого
Волка
Никакого
Толку!

Определенная дидактичность очень к месту. Как и в некоторых других случаях. Иначе и нельзя. Нужно убедить мальчишек и девчонок в необходимости поступать так, как и нужно это делать в определенных ситуациях. Однако элементы поучения не мешают В. Мозго доводить свою мысль ненавязчиво, сохраняя при этом чувство меры. Он понимает, чрезмерная дидактика может просто оттолкнуть детей. Поэтому и разговаривает с ними на равных. Пример тому и стихотворение «Книжка»:

Не играйте,
Дети,
Долго в Интернете.
Отложите мышку,
Почитайте
Книжку.

Книжка –
Развлечение,
А еще – учение.
Ведь в учебе фишка,
Безусловно,
Книжка.

Хотя среди нынешних детей есть и такие, как «Света из Интернета»: «Каждый день // Соседка Света // «Странствует» // По Интернету. // Заменяет // Интернет // Для Светланы // Целый свет». Не понимает Света того, о чем напоминает ей поэт: «Не заменит // Чудо века // Человеку // ЧЕЛОВЕКА».

В книге «Слоны с Луны» детвору ожидает и встреча с кошкой Мальтой, которая «крутит сальто // И ничуть // Не устает» («Кошка Мальта»). Мальчишки и девчонки узнают, что не только некоторые их ровесники не в ладах со знаниями («Неграмотный турникет»). Задумаются над вопросом «Есть ли в Слониме слоны». Да и много всего неожиданного, невероятного, загадочного ожидает на страницах этой захватывающей книги, талантливо написанной В. Мозго и мастерски переведенной Г. Авласенко.

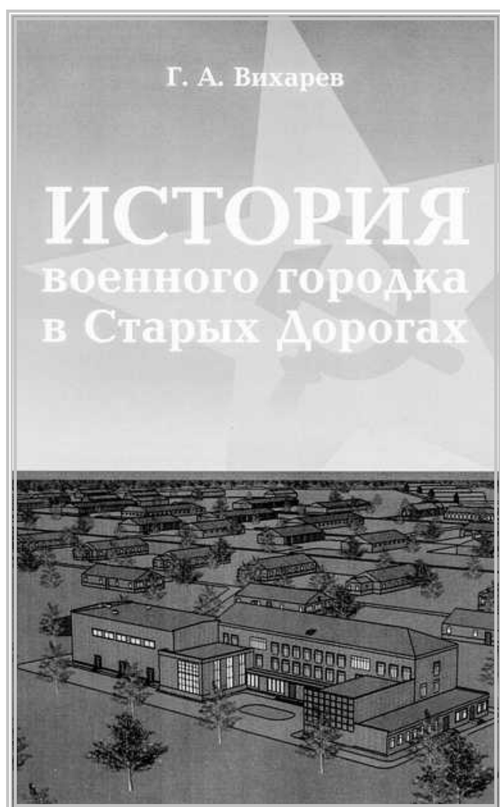
Нелишне, пожалуй, добавить, что презентация ее успешно прошла в Москве в Российской государственной детской библиотеке в рамках I Евразийского форума детской книги. Стихи Владимира Мозго читал заслуженный артист России Василий Куприянов. А мастер-класс провела иллюстратор книги Алла Высотская.

Егор ЧУВАЕВ



С точки зрения рецензента

Военные городки в истории Беларуси



Эту небольшую книжицу объемом в 64 страницы, вышедшую из печати в минском издательстве «Медисонт» в 2016 году (Вихарев, Г. А. История военного городка в Старых Дорогах / Г. А. Вихарев. — Минк: «Медисонт», 2016), попавшуюся нам на глаза на очередной выставке новых поступлений Национальной библиотеки Беларуси, можно без преувеличения считать «первой ласточкой» — эта книга открывает историографию военных городков Беларуси.

По данным Министерства обороны Беларуси, в настоящее время в стране насчитывается 245 военных городков, а до распада Советского Союза их было 698 — самая многочисленная и мощная группировка, вооруженная грозным оружием, территориально входившая в состав Краснознаменного Белорусского военного округа, границы которого совпадают с границами современной Беларуси. Истории этого вида населенных пунктов до сих пор никем не написаны, это гигантское белое пятно в истории страны. Сотни тысяч военнослужащих из 15 бывших республик, всех автономных округов и областей СССР, десятки тысяч единиц боевой техники, многочисленные капитальные и временные строения различного предназначения, технические и жилые, — где и как они размещались, для чего предназначались, как использовались, их нынешнее состояние, судьбы военнослужащих и их семей, — все предано забвению. С каждым днем становится все меньше тех, кто еще мог бы что-то поведать, уходят из жизни ветераны войны, военные пенсионеры, представители вольнонаемного и обслуживающего персонала, старожилы.

Тираж и объем книги, увы, ясно и четко говорят читателям о невостребованности и отсутствии интереса прежде всего со стороны военного ведомства, военных историков к данной тематике. В то же время, из нашего богатого личного опыта исследователя, историка-краеведа знаем, как непросто, порой невозможно, получить

доступ к документам Центрального архива Министерства обороны Республики Беларусь, одной из объективных причин такого положения является то обстоятельство, что многие документы воинских частей до их пор хранятся под грифом «секретно».

Безусловно, вместить историю населенного пункта, ведущего свой отсчет от 26 декабря 1930 года в 64-страничный труд дело не из легких. Как отмечено в аннотации — это исторический очерк о военном городке с момента основания и до настоящего времени, написанный на основе архивных данных, опубликованных документальных источников и воспоминаний. Отметим сразу, что традиционного содержания или оглавления в книге нет. Лишь пролистав и ознакомившись, можно узнать, что она состоит из 4 основных глав: «Историческое описание», «Архитектурные особенности», «Соединения и части», «Основные источники». В книге отсутствуют вступление (предисловие или от автора), а также послесловие (заключение или выводы). Если в самом начале имеется совсем небольшой исторический экскурс в середину XX века, который можно посчитать «суррогатным» вступлением, то в конце книги текст обрывается и вовсе неожиданно. Полностью отсутствует необходимый для такого издания минимальный научно-справочный аппарат — указатель имен, географический указатель, список аббревиатур (в первую очередь). Разберем подробно каждый из разделов.

Первый из них «Историческое описание» включает следующие подразделы: «Предвоенные годы», «Война», «Годы мирного строительства». Каждый из подразделов содержит минимум ценных исторических сведений, позволяющих выявить некоторые закономерности и типичные черты функционирования городков до войны: фактор «новой границы» после неудачной для первого в мире социалистического государства советско-польской войны и возникшая острая потребность в укреплении армии и поспешном возведении военных городков практически с нуля; решения местных властей об отводе земель под территории военных городков; совместное участие строителей и военнослужащих в возведении зданий и сооружений; сжатые сроки проектирования и строительства; централизованный контроль сверху за ходом строительства; постоянная, параллельно проводящаяся передислокация частей. Интересный факт: к 1936 году военный городок по размерам был сопоставим с самими Старыми Дорогами и соответствовал нынешним границам военного городка. Подраздел «Война» кроме известных фактов поспешного отступления советских войск летом 1941 года содержит неизвестные и малоизвестные сведения об активном использовании ресурсов военного городка немцами в период оккупации, о дислокации конкретных немецко-фашистских подразделений и какие из советских частей первыми пришли сюда в самом конце войны, представляющие несомненный краеведческий интерес. Подраздел «Годы мирного строительства» повествует о воинских частях, прибывавших в городок с августа 1945 года, их дислокации, передислокации и послевоенном переформировании. Автор отмечает, что к началу 1950-х годов закончилось формирование «автомобильно-химического» профиля гарнизона, который сохранился вплоть до нашего времени. В начале 1970-х годов гарнизон был на особом счету у окружного командования, так как все части были центрального подчинения. В конце 1960-х — начале 1970-х годов начинается, по словам автора, «перерождение городка»: территория была огорожена железобетонным забором, восстановлен Дом офицеров, старые деревянные хранилища заменялись кирпичными, появился ряд новостроек бытового и технического предназначения, в жилом городке началось возведение пятиэтажных панельных домов. В середине 1970-х годов вместо старых бараков были построены

пятиэтажки, а также магазины и почта, на въезде установлен контрольно-пропускной пункт, всем жителям военного городка выдали пропуска для прохода на территорию. С образованием независимой Республики Беларусь войсковые части гарнизона Старые Дороги вошли в состав Вооруженных Сил страны. В 1996 году жилой район поселка Новый (несмотря на отсутствие пояснения, читатель догадывается, что это бывший военный городок) был передан в состав города и переименован в микрорайон Новый, позже центральную улицу назвали Армейской. Г. А. Вихарев констатирует, что после передачи поселка из ведения Министерства обороны местным властям территория городка стала постепенно приходить в упадок. В дальнейшем, в рамках проводимых реформ Вооруженных Сил Республики Беларусь, проходило постепенное сокращение Стародорожского гарнизона. В настоящее время микрорайон Новый активно застраивается, количество жилых домов увеличилось почти вдвое, а площадь военного городка постепенно уменьшается, так как неиспользуемые территории поэтапно передаются городским властям.

Глава «Архитектурные особенности» нам представляется уникальной, так как практически никто до этого не обращал внимания и не писал на эту тему. В то же время аутентичные постройки довоенного периода Беларуси, ранее подведомственные военным, не фиксируются в качестве архитектурного наследия, не изучаются должным образом, а перестраиваются порой без учета особенностей, сносятся, и лишь небольшой процент зданий капитально ремонтируется и бережно используется. В качестве интересного локального примера сошлемся на опыт постройки Республиканского детского реабилитационно-оздоровительного центра «Жемчужина» в военном городке Боровка Лепельского района, возведенного на основе казарменного, складского и технического фондов танковых полков бывшей гвардейской танковой дивизии. Архитекторам и проектировщикам приходилось буквально на ходу принимать сложные и ответственные решения. Автор книги справедливо отмечает, что «к сожалению, ни одно из этих зданий не сохранило оригинальную колористику краснокирпичных фасадов и в нынешнем виде не полностью передают дух той эпохи». Здесь тоже можно выделить типичные черты: автономность такого вида населенного пункта, как военный городок; придание руководством страны важнейшего значения политической, идеологической и культурной составляющим для проживающих здесь людей (доминанта довоенной застройки — многофункциональный Дом Красной Армии, перед самой войной, являясь учреждением политпропаганды, он стал отдельной воинской частью); «третьяковский период» (по фамилии командующего войсками БВО Ивана Моисеевича Третьяка, недаром прозванного военными «Иван-строитель») истории военных городков Беларуси начала 1970-х годов — масштабное строительство и благоустройство, решение жилищного вопроса, отлаживание быта.

Самая небольшая по своему объему из трех, глава «Архитектурные особенности» тем не менее заставляет о многом задуматься, в частности, о неиспользованной по настоящее время в полной мере туристической составляющей военных городков, об их дальнейшем предназначении и перепрофилировании. Что касается последнего, то в некоторых регионах этот процесс успешно завершен.

Известно, что войсковые части — градообразующие «предприятия» любого военного городка, поэтому один из главных разделов — «Соединения и части», в котором повествуется о 16 войсковых частях Красной (Советской) Армии и Вооруженных Сил Республики Беларусь, дислоцировавшихся здесь в разное время (из них две гвардейские: управление 8-го гвардейского стрелкового корпуса и 106-я гвардейская стрелковая диви-

зия), сведения о которых установлены на данный момент и условно систематизированы автором по родам войск: бронетанковые (механизированные) войска (2), стрелковые и воздушно-десантные войска (3), артиллерия (1), химические войска (3), автотранспортные части (6), инженерные войска (1). В приведенном перечне мы не нашли, видимо, из-за отсутствия данных, 216-й войсковой лазарет, с началом войны развернутый в 216-й полевой эвакогоспиталь, который автор упоминает в подразделе «Предвоенные годы». Первым из частей сюда в 1931 году из города Бобруйска был передислоцирован 12-й Ярцевский стрелковый полк. Вскоре на его основе была сформирована 3-я отдельная механизированная бригада. До войны здесь дислоцировалось семь воинских частей — пехота, танкисты, автомобилисты и медики. Таким образом, благодаря сведениям, приведенным в этом разделе, становится ясной специализация городка, его предназначение и специфика. Ценными сведениями являются представленные данные о составе, вооружении и технической оснащенности частей, об их переформированиях, переименованиях и передислокации, участии в Великой Отечественной войне. По нашему мнению, здесь весьма к месту было бы привести фамилии командиров частей, если, конечно, они известны автору. Редким исключением стали лишь фамилии довоенных командиров-танкистов, в том числе Героя Советского Союза генерал-лейтенанта танковых войск С. М. Кривошеина, командира 8-й отдельной механизированной бригады и дважды Героя Советского Союза генерала армии, а тогда, в 1938 году, командира танкового батальона этой же бригады капитана И. Д. Черняховского.

Завершает книгу важный раздел «Основные источники», включающий 70 источников, в том числе 33 архивных (документы Российского государственного военного архива, Центрального архива Министерства обороны Российской Федерации, Центрального архива Министерства обороны Республики Беларусь, Национального архива Республики Беларусь, Государственного архива Минской области), опубликованные сборники документов, несколько биографических словарей, опубликованные и неопубликованные воспоминания (к сожалению, воспоминания Александра Борноволокова по тексту не локализованы), краеведческие материалы Стародорожской центральной библиотеки (лишь «каталог статей»), картографические материалы, техническая литература, учебники и наставления для военнослужащих, 14 сетевых источников. Однако источники абсолютно не систематизированы, библиографические описания оставляют желать лучшего. И главное, ссылки на источники в тексте не приводятся, поэтому можно лишь догадываться, откуда взята та или иная информация, что недопустимо.

Следует отметить несомненно интересный и любопытный материал, содержащий мелкие, но важные подробности: воспоминания Михаила Абрамова, до войны служившего в 32-м автотранспортном полку (подраздел «Война»); ветеранов 16-й гвардейской воздушно-десантной дивизии, подразделения которой с августа 1944 года непродолжительное время базировались в Старых Дорогах (подраздел «Война»); бывшего узника концентрационного лагеря Освенцим, а с июля по сентябрь 1945 года узника фильтрационного лагеря для иностранцев в военном городке итальянца Примо Леви, позже ставшего известным писателем и публицистом (подраздел «Война», а также раздел «Архитектурные особенности»); военнослужащего 10-й артиллерийской дивизии прорыва Петра Николаевича Оглоблина, с июля 1945 года по июнь 1947 года проходившего службу в военном городке (подраздел «Годы мирного строительства»); главного инженера 227-й окружной базы по ремонту гусеничных тягачей полковника Г. К. Милицина (подраздел «Автотранспортные части» раздела «Соединения и части»). На 3-й стра-

нице мягкой обложки помещен увеличенный соответствующий фрагмент советской военной топографической карты 1936 года.

Два слова об авторе книги: Геннадий Александрович Вихарев — выпускник средней общеобразовательной школы № 3 города Старые Дороги. Именно в этой школе в 1997 году был создан первый в Беларуси военно-патриотический класс при Военной академии. Среди учеников этого класса был и Геннадий Вихарев, окончивший школу с золотой медалью и поступивший в Военную академию. Ныне Геннадий Александрович — бывший военнослужащий, майор в отставке, житель поселка Новый.

Данному изданию предшествовала обстоятельная статья Г. А. Вихарева с характерным названием «Неизвестный поселок Новый: гарнизоны» в газете «Белорусская военная газета. Во славу Родины» (см. № 217 от 20 ноября 2012 г.). Хочется обратить внимание дотошных и излишне критически настроенных читателей, что компьютерный дизайн и верстку книги выполнил сам автор (тем самым не избежав мелких огрехов), корректором выступила его жена (дочь?), научно-популярное издание вышло на средства автора. Мы более чем уверены, что ограниченность личных финансовых средств не позволила автору издать бережно собранный материал в полном объеме. Несмотря на многочисленные недостатки и явные минусы издания, отдадим должное автору, патриоту своей малой Родины, — он попытался частично ликвидировать то самое белое пятно, о котором мы говорим выше. Дай-то Бог, его примеру последуют другие историки и краеведы, которые напишут о других военных городках, несомненная польза от этого будет для всех, кто интересуется историей нашего родного края.

Андрей БАРАНОВСКИЙ



Литературное содружество

Вместе мы сильнее



В феврале этого года в Минском государственном лингвистическом университете прошло торжественное мероприятие, посвященное 135-летию со дня рождения великого азербайджанского поэта, драматурга и философа Гусейна Джавида. Оно состоялось в рамках программы празднования 25-летия установления дипломатических отношений между Азербайджанской Республикой и Республикой Беларусь.

В вечере приняли участие главы дипломатических миссий Китайской Народной Республики, Турции, Кыргызстана, Молдовы, Туркменистана, председатель Союза писателей Беларуси Н. И. Чергинец, поэтесса и переводчица стихов азербайджанских поэтов на белорусский язык Т. Н. Сивец, представители Министерства культуры Республики Беларусь. А также находящаяся с визитом в Беларуси делегация Азербайджанского университета языков, которую возглавил ректор университета, член-корреспондент Академии наук Азербайджана Камал Абдуллаев.

В рамках мероприятия ректором Азербайджанского университета языков и ректором Минского государственного лингвистического университета было подписано соглашение о долгосрочном сотрудничестве: уже в следующем учебном году в Минском государственном лингвистическом университете появится Центр азербайджанского языка и культуры, а в Азербайджанском университете языков откроют центр белорусского языка и культуры.

С речью о жизни и творчестве Гусейна Джавида, которую мы приводим ниже, выступил Чрезвычайный и Полномочный Посол Азербайджанской Республики в Республике Беларусь Латиф Гандилов.

В этом году исполняется 25 лет установления дипломатических отношений между Азербайджанской Республикой и Республикой Беларусь. И сегодняшнее мероприятие проводится в рамках этой юбилейной даты.

Наши народы, наши страны являются братскими. Мы долгие годы жили в одной стране, делили единые ценности, у нас были одни на всех и радость, и горе. Наши отцы и деды защищали одну страну.

Вот уже 25 лет мы являемся независимыми государствами. Но благодаря нашим двум мудрым и харизматичным руководителям Ильхаму Гейдаровичу Алиеву и Александру Григорьевичу Лукашенко наша дружба крепнет и развивается. И это доказывает, что мы не можем останавливаться на достигнутом, нужно расширять эту дружбу и передавать все это будущим поколениям, потому что вместе мы сильнее, богаче духовно и нравственно.

И здесь большая ответственность возлагается на культурные связи между нашими странами. Если мы хотим передать эстафету дружбы нашим детям, то должна проводиться непрерывная работа в области языка, культуры и искусства.

И тут мы обращаемся к истинным ценностям — культурному наследию, т. к. именно это позволяет нам носить гордое имя народа высококультурного и цивилизованного.

Азербайджанский народ хорошо знает великих сыновей белорусского народа — Франциска Скорину, Якуба Коласа, Янку Купалу и многих других. Эти личности своим творчеством, своими мыслями стали не только достоянием самого белорусского народа, но и внесли вклад в развитие всей мировой цивилизации.

Я горжусь тем, что и представители моего народа также внесли большой вклад в развитие мирового творчества и мысли. И наша культура является одной из богатейших культур человечества. Великие поэты и мыслители Низами и Физули, великие композиторы Узеир Гаджибеков, Кара Караев, Фикерат Амиров, Ариф Меликов, Ниази, великие певцы Муслим Магомаев, Рашид Бейбутов, Бюль Бюль, великий художник Таир Салахов, которых хорошо знал советский народ, — они являются яркими представителями азербайджанского народа и внесли большой вклад в развитие мировой цивилизации. Какой народ в мире не хотел бы гордиться такими именами!

Одним из ярких представителей таких мыслителей был поэт, драматург, не побоюсь этого определения — философ, Гусейн Джавид. Совсем недавно мы отметили 135 лет со дня рождения этого основоположника прогрессивного романтизма в Азербайджане.

Творчество таких великих людей служит сегодня сохранению нации, развитию ее культуры и искусства. Когда мы слушаем Моцарта и Бетховена, читаем Конфуция и Достоевского, Янку Купалу, мы никогда не думаем об их национальности. Своим гением они преодолели национальные границы. Понимание этого и есть настоящая дружба народов.

Долг и обязанность серьезной литературы — видеть, находить, анализировать проблемы, которые беспокоят общество. Литература должна также предлагать возможные выходы из критического положения, с которым нельзя больше мириться. Так вот, Джавид один из немногих, кто попытался добиться решения подобных задач в своем творчестве. Одну из таких проблем он раскрывает в произведениях «Шейх-Санан», «Дьявол», «Пророк». Бог посылает на Землю пророков, чтобы возродить в человеческом обществе духовные ценности, не допустить нравственного падения, формировать цивилизацию. Здесь встает вопрос: если это так, то тогда почему же идет нелепая вражда, проливается кровь между народами, принадлежащими к разным конфессиям и религиям? Джавид в своих произведениях нашел ответ на этот вопрос. Он говорит о том, что все дело в Любви. Без любви не может быть ничего: ни семьи, ни детей, ни изменений в природе… Надо всего лишь любить — искренно, жертвенно, бескорыстно… Ведь все священные книги говорят: «Возлюби ближнего своего…» В этом золотом правиле нравственности вся суть творчества Джавида.

Его «Бог — красота и любовь». И вера.

Обратите внимание на афоризмы Гусейна Джавида, которые он использует в своих произведениях:

В любви, как в бесконечном
новоселье,
Я черпаю и счастье, и веселье;
Отрекаюсь
Ото всего, что нелюбовь! И каюсь
В том, что нелюбовь во мне самом.

В его творчестве прослеживается и большая любовь к Господу.

Не радуйся чужому горю, милый.
Злорадство брось, не смейся
над бедой.
И не встречай улыбкою постылой
Того, кто схвачен горькою нуждой.

Это стихотворение Гусейна Джавида как будто повторяет Притчу 24, стих 17 из Библии: «Не радуйся, когда упадет враг твой, и да не веселится сердце твое, когда он споткнется».

К сожалению, Гусейн Джавид так и не был до конца понят в своем творчестве в период революции. Он был репрессирован и трагически погиб в ГУЛАГе в 1941 году. Как был прав великий Конфуций, когда говорил, что не дай бог жить в период великих перемен. Эти слова в полной мере относятся и к судьбе Гусейна Джавида. На мой взгляд, его творческий путь очень схож с творческим путем Янки Купалы — вопросы национальной идентичности, красоты, любви к родной земле…

Я это время не осуждаю и не оправдываю. Это было такое время, которое можно сравнить с ночным боем в узкой траншее, когда нельзя отличить своих и чужих.

Трагической была не только судьба самого Гусейна Джавида, но и судьба его семьи. Его сын Эртогрул Джавид Расизаде — талантливый юноша, художник, поэт, музыкант, любимый ученик Узеира Гаджибекова — погиб в 24 года от туберкулеза.

Гусейн Джавид был не только поэтом и драматургом. Он был философом, одним из выдающихся мыслителей Востока, сумевшим в период своего творчества и за свою трагическую жизнь показать духовное богатство мудрого Востока. Гусейн Джавид в своем творчестве раскрывал не только проблемы мусульманского мира, но и общечеловеческие проблемы. Он как будто сносил ограду, что стояла на пути развития человечества.

Я очень надеюсь, что на сцене Русского драматического театра имени Максима Горького будет поставлена его пьеса «Шейх-Санан», переведенная на русский язык, которая по своей глубине нисколько не уступает шекспировской трагедии «Ромео и Джульетта».

Творчество Гусейна Джавида является образцом глубоко нравственного философского наследия. Его герои выступали против несправедливости, тирании и произвола.

Еще в 1982 году общенациональный лидер Гейдар Алиев добился переноса могилы поэта из Сибири в Нахичевань и этим показал свое глубокое уважение и почтение к национальной истории и культуре. Президент Азербайджана Ильхам Алиев, оставаясь верным национальным обычаям и ценностям, принял решение о том, чтобы 135-летний юбилей Гусейна Джавида был отмечен на государственном уровне.

Вспоминаю слова Достоевского: «Учитесь и читайте. Читайте книги серьезные. Жизнь сделает остальное». А это значит, что читать нужно таких, как Низами, Хафиз, Гете, Пушкин, Толстой, Янка Купала, и конечно, Джавид.

Историю человечества пишут не только великие полководцы и ученые. История цивилизации обязана и великим мыслителям, таким, как Гусейн Джавид.

Однако великими считаются также и народы, которые умеют бережно относиться и хранить ценности других народов. Сегодняшнее торжество является ярким примером великодушия белорусского народа. Уверен, что все участники сегодняшнего мероприятия унесут с собой много-много Любви, о которой столько писал Гусейн Джавид.

Чрезвычайный и Полномочный Посол
Азербайджанской Республики
в Республике Беларусь
Латиф ГАНДИЛОВ.

Литературное содружество

«Утром встречал Вознесенского…»

Россия, русская литература в дневниках белорусского поэта Рыгора Бородулина



Дневники — всегда лучшее свидетельство искренних, чистых проявлений сопричастности их авторов тем или другим явлениям, тем или другим людям, событиям. Ведь пишутся они, как правило, без расчета на публикацию оперативную, в лучшем случае — с расчетом, что будут обнародованы со временем. Как правило, после смерти автора. Как новый, неизвестный ранее писатель предстает из своих дневников, к примеру, Михаил Пришвин. Так и в белорусской литературе. Открытием, откровением для читателя стали дневники, дневниковые записи Максима Танка, Владимира Короткевича, Михаила Дубенецкого, Пимена Панченко…

В последние годы в минском издательстве «Кнігазбор» увидели свет четыре тома дневников, рабочих записей народного поэта Беларуси Рыгора Бородулина. На многих страницах издания — записи о поездках белорусского литератора в разные уголки России, о встречах с известными писателями Москвы, Санкт-Петербурга, других городов и весей бескрайних российских просторов.

И начинал в 1951 году писать свой дневник ушачский (Ушачи — небольшой городок на Витебщине) старшеклассник на русском языке. Вот запись о книгах, которые 2 сентября 1951 года шестнадцатилетний мальчишка взял в библиотеке: «Я взял три книги в библиотеке: «Горе от ума», «Недоросль», «Бригадир», «Избранное» Радищева…» В том же 1951-м восьмиклассник Гриша Бородулин записывает свои впечатления от знакомства с романом Федора Панферова «Бруски». Отмечает, что роман «очень хороший», а «Панферов владеет пером весьма искусно… Жизнь знает не из кабинета. Написал простым, живым языком. Где надо, и «кругленькие словечки», все уместно...»

С 1954 года Рыгор Бородулин — на филфаке Белорусского государственного университета. Студенческие годы вывели молодого и подающего надежды литератора в ряд наиболее интересных поэтов его поколения. В 1959 году выходит первая книга стихотворений — «Месяц над степью». А двумя годами ранее подборка «На земле целинной», составившая основу

этого сборника, была отмечена серебряной медалью Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Москве. В скором времени в российской периодике начали появляться первые публикации Рыгора Бородулина в переводе на русский: в «Дружбе народов», «Молодой гвардии», «Литературной газете», «Советской России»… Переводчики — Иван Бурсов (он и весь первый русский сборник Бородулина «Целиноград», вышедший в Москве в 1961 году, перевел), Игорь Шкляревский, Яков Хелемский… Пройдет время — белорусского коллегу будут переводить и другие мастера стихосложения: Григорий Куренев, Александр Дракохруст, Владимир Цыбин, Илья Фоняков, Анатолий Парпара… И будут выходить в Москве одна за другой поэтические книги Бородулина — «Аист на крыше», «Баллада о Брестской крепости», «Небо твоих очей», «Озеро у горизонта», «Праздник пчелы», «Поэма признания», «Каждый четвертый», «Белая яблоня грома»…

Уже записи в дневниках, рабочих блокнотах 1964—1969 годов свидетельствуют о многих поездках белорусского поэта в разные уголки Российской Федерации: только в 1964 году он побывал в Красноярском крае, Туве, Хакасии, в 1965-м — на Дальнем Востоке. Кстати, если говорить о Владивостоке и его окрестностях, то здесь особая история. Все родилось в результате розыгрыша. Три друга-писателя (Бородулин, Геннадий Клевко, Владимир Короткевич), шутя, играючи, задали отставному генералу и писателю Алексееву, работавшему в писательской организации Беларуси, вопрос о том, нельзя ли их призвать на сборы, мол, чтобы с армией или флотом поближе познакомились. Задали и в суматохе о своей просьбе забыли. Вот только генерал все помнил и через какое-то время организовал для молодых коллег привлекательную, как ему показалось, флотскую стажировку. Так белорусские писатели оказались в редакции газеты Тихоокеанского флота «Боевая вахта»… «12 августа. Наконец-то получили корочки «боевой вахты» стажеров. Осчастливили. Гаврила (журналист) обещал море — сорвалось. Командировочных не будет. Весело…» Во Владивостоке Бородулин с товарищами — весь август и сентябрь. Удалось и поездить: Высокогорск, Кавалерово, Варфоломеевка, Яковлевка, Владимировка, Спаск, Анучино, Арсеньев, Чугуевка, Черниговка, Уссурийск… А главное — писатели открывали для себя людей, которые жили, трудились, испытывали все тяготы непростой жизни на окраине Дальнего Востока.

Следующие восемь лет (об этом — во втором томе дневникового «Собрания сочинений») — встречи Рыгора Бородулина с Ленинградом, Пензой, Тарханами, Клином, Калинином, Вышним Волочком, Новгородом, Старой Руссой, Красноярском, Минусинском, Москвой, Чебоксарами, Калиниградом, Балтийском, Нальчиком, Ижевском, Глазовом, Ростовом, Ярославлем…

С 1973 года начинается знакомство Рыгора Бородулина с русским поэтом Андреем Вознесенским, которое затем переросло в добрые дружеские отношения. 8 июля 1973 в дневнике появляется следующая запись: «Утром встречал Андрея Вознесенского. Утомленный, поседевший. Добрым славянским спокойствием и какой-то первозданностью повеяло от самого ультрасовременного поэта. Есть сердцевина. Поехал сразу с Виктором Жаком в какую-то деревню Скрунди на Козловщине. Это за Слонимом…» 1 августа: «…Приехал Андрей Вознесенский. Выступал в СП. Несколько необычно было вначале. Микрофон, видно, не нужен. Немного выкрикивал, а потом стало хорошо слушать. Читать он умеет. Доверяет слушателю, заставляет его идти за ним…» И еще небольшая запись от 2 августа: «Андрей Вознесенский — открытый нерв поэзии. Перефразируя его же слова — великий крепостной Великого русского языка, того языка, который не знает шовинизма, пренебрежения к другим языкам, языка искреннего русского сердца. Что-то от крестьянина есть у Андрея, доверчиво-усталые

глаза, как летние озера: теплые, загадочные, полные доброты…»

За встречами последовало сотрудничество. Рыгор Бородулин в 1980 году в серии «Поэзия народов СССР» издал белорусские переводы произведений Андрея Вознесенского «Небом единым». Замечательное и ясное название. Кстати, рецензия критика Татьяны Кобржицкой на эту книгу, опубликованная в газете «Літаратура і мастацтва», называлась не менее ясно и лаконично: «Гармония единства и многообразия».

С интересом читаются страницы бородулинского дневника, посвященные поездке поэта с российскими коллегами во Францию. 1987 год… И в Париже — встречи с русскими переводчиками, художниками. Многие записи — о славянском единстве белорусской и русской культур. Француженка, славист, учредитель журнала «Русская литература» говорит о переводе повести Василя Быкова «Знак беды». Встречи с Ириной Заборовой (Басовой), женой белорусского и французского художника Бориса Заборова, русской поэтессой, журналисткой.

На страницах дневника — и о московском совещании по вопросам перевода «Слова о полку Игореве». Егор Исаев, Дмитрий Лихачев, литературовед Лев Дмитриев, переводчик, поэт, историк литературы Андрей Чернов… Записи о связи с памятником древнерусской литературы писателей из других времен… Интересным представляется обращение к сказанному Д. Лихачевым. Выделяю как цитату в изложении Р. Бородулина: «Выступление Лихачева: «Слово…» как будто геральдический знак целой культуры. Хотя он самый маленький среди всех памятников. Есть мысль, что на восточнославянские языки (переводы) не нужны, а на европейские невозможно (перевести). Так думала и Ахматова. Переводы, особенно со старого на новые, и терминологический список каждого слова…»

Перелистывая страницы дневников Рыгора Бородулина, которые еще и дальше продолжают издаваться, можно с уверенностью заметить, что поэт трудился и жил в гармонии с великой русской поэзией. Иначе, пожалуй, белорусский поэт и не переводил бы на язык Купалы стихотворения Андрея Вознесенского, Евгения Евтушенко, Евгения Винокурова, Виктора Бокова, Игоря Шкляревского, Николая Рыленкова, Якова Хелемского, Николая Тихонова, Булата Окуджавы, Беллы Ахмадулиной, и конечно же, классиков: Александра Пушкина, Николая Некрасова, Сергея Есенина. Над подготовкой дневников, записей Рыгора Бородулина плодотворно и скрупулезно работает замечательная русская поэтесса, прозаик Марина Наталич (Наталья Давыденко), многоопытный издательский редактор, коллега Рыгора Ивановича по издательству «Мастацкая літаратура».

Кирилл ЛАДУТЬКО



Литературное содружество

Полюбить поэта — значит, полюбить его народ



Известный белорусский поэт, лауреат Государственной премии Беларуси Микола Метлицкий стал лауреатом Международной литературной премии «Алаш» Союза писателей Казахстана.

Микола Метлицкий известен в Казахстане как первый переводчик всей лирики Абая — 90 стихотворений, вошедших в книгу «Степной простор», изданную в 2011 году в Минске при поддержке Посольства Республики Казахстана в Беларуси. Никогда еще Абай в таком объеме не переводился на иностранный язык одним поэтом. Предваряя книгу, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Республике Беларусь Анатолий Смирнов писал: «Наши народы в историческом развитии объединяет и роднит терпеливое мужество выживания, мечта о лучшем будущем и настойчивое служение грядущему — все то, что делает народ сильным, духовно состоятельным, известным во всем мире. Уверен, что и сердцу белоруса будут близки надежды и мечты казахского поэта, его не столько печальная, сколько душевно просветленная песня».

Примечательно, что международное признание заслуг Миколы Метлицкого состоялось в год 120-летия Мухтара Ауэзова, автора романа «Путь Абая», благодаря которому Абай стал для всего мира символом своей эпохи, персонификацией казахской философии и литературы. В Республиканском Доме дружбы и культурных связей с зарубежными странами, где казахстанское посольство проводило абаевский литературный вечер, Микола Метлиццкийн прочел одно из стихотворений казахского классика в своем переводе, после чего посол А. В. Смирнов заметил, что у белорусского поэта «хватило бы духу» и на всю книгу Абая.

На книгу Метлицкий сразу замахиваться не стал, а пообещал сделать подборку для журнала «Полымя», где он был главным редактором. В его кабинете мы и беседовали о его работе над книгой Абая в один из моих приездов на День белорусской письменности в Минск.

— *Прежде всего, в президентской библиотеке я решил раздобыть все, что у нас есть об Абае*, — рассказывал Николай Михайлович. — *И когда окунулся в его произведения, даже в переводах на русский язык, увидел, что имею дело с поэтом, настолько близ-*

ким моей душе, настолько современным… Абай — это поэт на все времена, каждый его стих как будто только что снят с письменного стола: у него все как сегодня написанное. На нем нет штампа времени. Он никогда не станет архаикой, — потому что такая экспрессия, такая динамика, такое внутреннее состояние его — как будто вокруг сжатый воздух, и он в этой атмосфере готов для взрыва. Это меня очень тронуло и покорило. И сам себя я упрекнул: какой же ты филолог, если этого явления не знал. Но мог только успокоиться одним — что это явление на нашу почву не просочилось еще. И это мне тоже придавало сил.

— То есть, первую свою подборку вы делали по русским переводам, переводили с русского? — уточняю я.

— Когда начал переводить с русского, я стал задыхаться — мне показалось, что в русских переводах как раз самого Абая и не хватает. Я понимал, что они делались в те времена, когда довлели идеологические шоры, и переводчики подпадали под них, даже лучшие поэты. Тогда я обратился к вам в Союз писателей — помочь раздобыть подстрочники. И Кайрат Бакбергенов, председатель Союза переводчиков Казахстана, выслал мне свои подстрочники всего Абая. И поверьте, по содержанию каждого из них я прошел с карандашом внимательнейшим образом. Ведь подстрочник дает что? — дает понимание поэта.

— Наверное, понимание поэта все же лучше всего дает оригинал? Как же быть без знания языка?

— Подстрочник — это мировая практика… Мы не выучим все языки мира. Но все поэты мира говорят на одном языке, — на языке чувства, мысли и взлета своего внутреннего, назовем его вдохновением. А настоящий подстрочник дает возможность все это почувствовать. Он дает масштабы, детали, он сводит все смыслы воедино. И когда видишь эту смысловую и эмоциональную нагрузку и понимаешь, какой структуры должно быть стихотворение, проникаешься его духом, то и начинаешь работать.

Если вы обращали внимание, в русских переводах, например, стихотворение «Зима» переведено четырехстрофикой, а оно же в оригинале совершенно другое и по смыслу более объемно… «Времена года» Абая — это четыре самых главных гвоздя, по самую шляпку вбитых им в историю мировой поэзии. И я хотел, чтобы не только эти стихи, но и другие были настолько же совершенны на моем родном языке. Это самое главное.

— В общем, вы считаете, что подстрочник — это не вина и не беда для хорошего переводчика?

— Да ведь я за что иногда переводчиков упрекаю? Все у них может быть: они могут знать иностранный язык, знать язык оригинала... а как переведут на свой родной — невозможно читать. Все рассыпается. Вот, допустим, лежит кубометр вагонки, добротно сложенной, а как берутся эти досочки прибивать — никакого рисунка. Понимаете, это вещи очень тонкие, они наживные. И хорошие переводчики давно постигли, я думаю, самую главную истину: что в переводе не то важно, как ты покажешь себя, а как покажешь поэта… Какое присутствие в своей душе отдашь ему. Ведь можно отсебятиной какой-то от него отгородиться, дотянуть где-то, дописать под себя… все можно… И многие пользовались этим и пользуются доныне. Но когда перед тобой настоящий поэт, надо просто окунуться в его стихию, надо просто ею жить и дать ему возможность остаться собой на твоем родном языке.

Мне самой доводилось переводить стихотворения Миколы Метлицкого на русский язык. Ярый поборник сохранения белорусского языка, национального народного духа, традиций, Микола Метлицкий в своем творчестве, по точному замечанию академика Национальной академии наук Беларуси Владимира Гниломедова, — и тонкий лирик, и яркий публицист. И в этом он сродни Абаю. Это поэзия, не поддающаяся спекулятивным модным веяниям, поэзия, идущая, по определению Янки Купалы, «шляхам жыцця» — дорогой

самой жизни. И на этой дороге народной жизни у поэтов девятнадцатого века и современного — общие моральные ценности и духовные истины.

А то главное, что почувствовал белорусский поэт в Абае, — «он ценен во все времена», в середине прошлого века Мухтар Ауэзов обозначил так: «Нет никакой надобности причесывать Абая под нашу современность», поскольку «историю нельзя ни ухудшить, ни улучшить». А еще призывал помнить, что душа поэта — всегда загадка. Об этом писал сам Абай: «Если ты в себе сумеешь разобраться, // То подумай обо мне: я человек-загадка….»

Представляя казахстанскому читателю книгу «Степной простор», лауреат премии Президента Республики Беларусь «За духовное возрождение», известный белорусский критик и издатель Алесь Карлюкевич писал в газете «Казахстанская правда»: «Александр Пушкин в России, Адам Мицкевич в Польше, Махтумкули в Туркменистане, Тарас Шевченко, Иван Франко в Украине, Якуб Колас, Янка Купала, Максим Богданович в Беларуси… Разве не они открывали простор для волеизъявления народа, который до этого не всегда свое родное, национальное и выразить мог? И в этом ряду равный среди равных, величавый в своем казахском взгляде на мир — великий и неумирающий Абай. Он не просто стал первооткрывателем новой жизни и просветителем казахов, поэт сумел разглядеть мир в самых разных его проявлениях как раз в тот момент, когда народу нужен был этот проницательный, подобно ясному свету, взгляд. Много составляющих способствовали тому, чтобы в истории казахов появилась именно такая значимая Личность, могущая прозреть мир и соотнести его с судьбами своих земляков.

И потому неудивительно, что продолжается новое прочтение Абая в наше время. Сегодня белорусские читатели открывают бессмертное творчество Абая в блестящих переводах Миколы Метлицкого. Перевод стихов Абая на язык Купалы и Коласа позволяет и нам, белорусам, ярче увидеть исторический путь народа Казахстана — путь к своей независимости, к своей вековой мечте о свободе. Абай, зазвучавший по-белорусски, вышел к белорусскому читателю, выходит на европейский простор. Поэт становится рядом с нашими классиками, его стихи начинают способствовать извечной задаче поэтического слова — объединять здоровые, творческие силы народа, создавать основу для гуманистического развития общества».

В том же 2011 году на прошедшем в Минске «круглом столе» «Белорусский акцент: опыт и перспективы международного культурного сотрудничества» Алесь Карлюкевич представил вместе с книгой «Степной простор» и сборник «Лучнасць» — «Единение», в который вошли переводы на белорусский язык Миколы Метлицкого из мировой поэзии — более 30 поэтов. Включены в нее и переводы Абая с казахского. Запомнились слова поэта о роли книги в нашей жизни и возвышающей человека миссии литературы:

— *Ничто не может так возвышать и роднить человеческие души, как это умеет делать книга, истинная поэзия. Полюбить поэта — значит, полюбить его народ*, — говорит Микола Метлицкий. — *Я уверен: на каком бы языке мира ни зазвучал великий Абай, он тронет сердце каждого человека. Он дал тот надежный духовный фундамент, на котором казахский народ гордо стоит сегодня и выстоит завтра. И я счастлив, что соприкоснулся душой и сердцем с творчеством казахского классика, а значит, и с вашей национальной судьбой. Наши политики раздвинули таможенные границы наших стран, а мы, поэты и деятели культуры, в силах раздвинуть границы человеческого духа. И это прекрасная миссия…*

Любовь ШАШКОВА

События

Успешный проект белорусского дирижера в Италии

Для многих белорусских музыкантов путь в большое искусство, как и признание на родине, прокладывается за пределами родной страны, через зарубежные подмостки. Зачастую, чтобы добиться успеха и признания у себя на родине, творческому человеку может понадобиться вся жизнь, но порой даже целой жизни напряженного труда может не хватить для осуществления своих творческих планов. Наверное, поэтому многие талантливые музыканты самого разного профиля, получив у нас на родине прекрасное музыкальное образование, уезжают за рубеж в поисках лучших условий для собственной реализации. Достаточно вспомнить скрипачей Артема Шишкова, Владу Бережную, гитариста Яна Скригана, цимбалиста Михаила Леончика и многих других, которые покинули нашу страну и радуют своим мастерством зарубежных зрителей.

Для Владимира Оводка осознание этого постулата стало отправным моментом в его творческих планах и устремлениях. Он решил не ждать счастливого случая, не надеяться на авось, а действовать, пробовать, искать и дерзать. Именно дерзость в хорошем понимании этого слова привела Владимира в лоно европейского оперного искусства. Но этот короткий по культурным меркам путь был далеко не простым.

Выходец из интеллигентной музыкальной семьи, Владимир Оводок с детства находился в атмосфере всеобщего стремления к прекрасному. Мать — преподаватель музыкальной школы по классу фортепиано — сподвигла сына на серьезные занятия именно этим инструментом. Отец Владимира — баянист, дирижер, доцент кафедры народно-инструментального творчества БГУКИ, вручив сыну дирижерскую палочку, поставил его за пульт к оркестру и познакомил с искусством дирижирования. Так Владимир впервые смог прикоснуться к профессии дирижера — одному из самых сложных видов музыкального искусства, и по-настоящему ощутить магию оркестрового звучания, исходящую под воздействием его мануальных жестов.

К этому времени В. Оводок, закончив Республиканский музыкальный колледж в классе заслуженного деятеля искусств А. Н. Гужаловской, поступает в БГАМ сразу на две специальности: по фортепиано, в класс профессора Л. С. Шеломенцевой, по оркестровому дирижированию, в класс народного артиста России Геннадия Проваторова. Став дипломированным пианистом и дирижером камерного оркестра, В. Оводок, вновь поступает в Академию музыки на отделение оперно-симфонического дирижирования в класс Вячеслава Волича, дирижера Московского академического музыкального театра им. К. С. Станиславского и В. И. Немировича-Данченко и Национального академического Большого театра оперы и балета Республики Беларусь.

На первом ответственном этапе обучения дирижированию отец Владимира, владея навыками управления оркестром, не мог оставаться в стороне

от процесса обучения сына. Вместе с ним он посещает уроки дирижирования в классе Г. Проваторова, делает видеозаписи этих уроков. Затем дома они вместе внимательно изучают все замечания и советы педагога, подробно разбирают все огрехи дирижерской техники, детально прорабатывают сложные музыкальные эпизоды. Отец давал сыну дельные советы, учил терпению, выдержке, самообладанию, умению находить выход из сложных жизненных ситуаций, которыми так богата творческая среда.

Все эти меры способствовали воспитанию крайне серьезного, глубоко вдумчивого отношения к делу, чрезвычайной ответственности, собранности — таких важных качеств в дирижерской профессии! И эти уроки не прошли даром. Великий труд и великий подвиг (в том числе подвиг родителей и учителей) рано или поздно должны были быть вознаграждены — такова логика человеческого бытия...

Усилия всей семьи не прошли даром. Получив прекрасное образование пианиста и дирижера, Владимир не останавливается на достигнутом. Человек ищущий, активный, творчески устремленный, он не пасует перед трудностями и неудачами, перед громкими именами: такими, как Юрий Симонов, Риккардо Мути. Он смело бросается в водоворот напряженной конкурсной борьбы, принимает участие в мастер-классах именитых дирижеров. Как правило, такие мастер-классы основаны на жестком конкурсном отборе, который Владимир с честью преодолевает, и это позволяет ему непрерывно двигаться к вершинам дирижерского искусства, вбирая в себя бесценный опыт, и под руководством всемирно известных музыкантов совершенствовать свое мастерство.

Что самое удивительное в характере Владимира — умение преодолевать трудности и противостоять неудачам, которые случаются практически у каждого творческого человека. Иных неудачи, что называется, «выбивают из седла», на долгие годы лишают покоя или, наоборот, закаляют, укрепляют и вдохновляют на новые свершения. Именно к такому стойкому типу музыкантов принадлежит Владимир Оводок, в жизни которого также случались неудачи на первых этапах его творческой карьеры.

Он упорно и последовательно пробует свои силы в самых разных жанрах симфонического и оперного искусства, оттачивая свое мастерство всеми возможными способами. Так, однажды Владимир задался целью освоить партитуру Девятой симфонии Ф. Шуберта при помощи внутреннего слуха: только глазами читая ноты, воспроизводя в уме звучание целого оркестра. Имея возможность послушать многочисленные записи этой симфонии, он намеренно отказался от этих общепринятых средств постижения нового материала и благополучно с этим справился.

Владимир также не упускает ни единой возможности поучиться у опытных дирижеров-практиков. Ему трижды посчастливилось побывать на мастер-классах народного артиста СССР, профессора Юрия Симонова и работать с оркестром Московской филармонии. И всякий раз его кандидатура была в числе участников заключительных концертов, проходивших в Концертном зале им. П. И. Чайковского.

Следующим этапом в жизни музыканта стал конкурс в Оперную академию всемирно известного дирижера Риккардо Мути, который около 20 лет возглавлял театр Ла Скала, а ныне является руководителем Чикагского симфонического оркестра. В. Оводок, преодолев огромный конкурс в несколько отборочных туров, с участием многочисленных претендентов со всего мира, желающих совершенствовать свое мастерство под руководством всемирно известного дирижера, вначале попадает в десятку конкурсантов, а затем становится одним из четырех финалистов, отобранных самим маэстро Р. Мути для работы над постановкой последней, самой сложной оперы Дж. Верди «Фальстаф» в театре Алигьери в г. Равенна. Для любого музыканта оказаться в Италии — колыбели оперного искусства, уже победа и



большая удача! Об этом блестящем реванше белорусского дирижера в 2015 году (единственного представителя из постсоветского пространства, попавшего в академию оркестровых дирижеров Риккардо Мути) сообщали многие итальянские и белорусские издания.

Обучение и работа в Италии под руководством именитого дирижера имели огромное значение для начинающего белорусского музыканта. Его запомнили критика, журналисты, также взыскательная итальянская публика, и конечно же, сам маэстро Р. Мути, который внимательно следит за успехами своих подопечных. После завершения конкурсных испытаний в первом мастер-классе Владимиру была предоставлена возможность еще дважды посетить Оперную академию Риккардо Мути. Старания и усердие белорусского музыканта не прошли бесследно, и вскоре В. Оводку поступило предложение продолжить работу в театре Алигьери в Равенне, но уже в качестве самостоятельного постановщика-дирижера трех опер: «Сельская честь» П. Масканьи, «Тоска» Дж. Пуччини и «Паяцы» Р. Леонкавалло. В знак особого расположения Р. Мути предоставил Владимиру собственные экземпляры партитур этих опер со своей дирижерской разметкой, сказав: «Это дороже золота…» Годами наработанный опыт маэстро, отраженный в виде его пометок в партитурах, оказался бесценным подспорьем в работе белорусского музыканта.

Премьера опер состоялась в Равенне в середине ноября 2017 года и прошла весьма успешно. Всего Владимир провел девять спектаклей (по три на каждую оперу) при полном аншлаге. Маэстро Р. Мути, присутствовавший на четырех спектаклях, одобрительно воспринял работу молодого белорусского дирижера. Профессиональную зрелость Владимира подчеркнула и госпожа Кристина Мути — супруга маэстро, которая являлась весьма требовательным режиссером-постановщиком всех трех опер. Ее похвалу заслужить было весьма непросто. Уставший, но счастливый, Владимир Оводок вернулся в Минск и поделился своими впечатлениями от этой работы, ставшей важным этапом в профессиональной карьере музыканта.

Следует отметить, что условия осуществления данного мероприятия для дирижера были невероятно сложными. На постановку трех опер Владимиру отводилось два месяца! В нашем понимании это экстремальные сроки. Осуществить такое стало возможным благодаря организаторам проекта, которые разработали подробный план, где предусматривалось определенное количество репетиций в каждом отдельном сегменте: для пев-

цов-солистов, вокальных ансамблей, хора, оркестра. Все участники данного мероприятия, включая солистов и артистов оркестра, предварительно прошли отборочный конкурс. Таким образом, дирижеру отводилась исключительно музыкально-постановочная роль.

Определенная сложность в работе дирижера заключалась в том, что оркестр базировался в другом городе, в 230 километрах от Равенны, куда Владимира доставляла специальная служба театра для проведения оркестровых репетиций. Видимо, данное решение руководство театра посчитало наиболее оптимальным, поскольку большинство музыкантов (преимущественно итальянцы) проживало за пределами Равенны. Таковы реалии западного мира, где просчитывается все до мельчайших подробностей и подчиняется коммерческим интересам.

В то же время коммерческая составляющая этого проекта обеспечивала четкое выполнение необходимых функций всеми участниками мероприятия. Певцы, артисты оркестра, режиссер-постановщик, дирижер и даже работники сцены — каждый знал свои служебные обязанности и старался выполнять свою работу с максимальной отдачей, что в конечном итоге обеспечило успех музыкальных спектаклей.

Владимир вспоминает и то, с какой легкостью решался вопрос с костюмами для персонажей опер. Их просто арендовали на момент спектаклей. Оказывается, в Италии есть служба проката, которая предоставляет сценические костюмы любому театру для самых разных оперных постановок. Костюмы там не шьют для каждого спектакля отдельно, как это принято у нас, а арендуют, и этим значительно упрощают и удешевляют стоимость оперных постановок. Естественно, в стране, славящейся своим оперным искусством и соответственно театрами по всей стране (не только Ла Скала), такой подход к постановкам музыкальных спектаклей вполне оправдан.

Так же эффективно, по мнению Владимира, осуществлялось декоративное оформление оперных спектаклей с использованием современных Led-технологий, позволяющих воссоздать на сцене впечатляющие красочные картины декораций, что значительно упрощало и ускоряло постановочный процесс.

Владимир также обратил внимание на то, что в таком небольшом итальянском городке, как Равенна, есть оперный театр со своей древней историей и традициями, где люди знают и любят оперу. И несмотря на утверждение некоторых специалистов о том, что итальянская опера теряет популярность, реальная музыкальная практика и бесценное музыкальное наследие итальянских композиторов, давших миру непревзойденные образцы оперного искусства, свидетельствуют о невероятном культурном богатстве этой страны. И нет ничего удивительного в том, что даже рядовой таксист в Италии может напеть популярные оперные арии. Побывать в такой атмосфере, непосредственно окунуться в лоно оперной мекки — это большая удача и хорошая школа для любого музыканта.

По возвращении из Италии В. Оводка ожидало приятное долгожданное событие, произошедшее в его отсутствие, — это рождение сына-первенца, который, надо полагать, продолжит славные традиции своей музыкальной семьи. Нам остается лишь поздравить Владимира с этим замечательным событием и пожелать дальнейших успехов в дирижерской карьере и в воспитании сына.

Лариса ТАИРОВА



Память

Билет в обратную сторону

Загадочная Атлантида... Верить ли в то, что до нашей эры существовал такой остров-государство, или это всего лишь захватывающие измышления великого философа древности Платона?

Сколько всяких тайн сокрыто под покровом времени, которые настойчиво будоражат воображение, но так и остаются недоступными для страждущих познать неизведанное современников.

Немногим больше чем полстолетия отделяет нас от событий советского времени, а названия маршрутов «Негорелое—Хабаровск», «Негорелое—Париж», «Негорелое—станция Маньчжурия» кажутся такими же ирреальными, как легендарный остров в Атлантическом океане с развитыми технологиями, быстроходными судами, летательными аппаратами, с неведомыми источниками энергии.

Свыкнуться с мыслью, что десятки тысяч лет тому назад человечество было еще более прогрессивным, чем современное общество, не каждый сочтет возможным. Именно такой представляется древняя Атлантида с ее высокоразвитой цивилизацией.

Однако еще не такие далекие, но весьма значимые события нашей истории упорно свидетельствуют о том, что слухи рождаются не на пустом месте. Что-то все-таки было на этой грешной земле, раз не смыли дожди истории артефакты далекого прошлого...

Что за снегами белыми?

Станция Негорелое ныне подобна таким же станциям-вековухам, волей судьбы примкнувшим к стальным рельсам. Приросли они, прикипели к стремительно ускользающим на запад—восток, север—юг блестящим змейкам железной магистрали.

Их слух ласкают скорости пролетающих поездов. Они вздрагивают и улыбаются только ведомой им улыбкой при каждом задорном гудке. Дыхание электрички они чувствуют задолго до



того, как увидит ее обрадованный пассажир. Они, как иголка с ниткой, не мыслят себя друг без друга.

На таких станциях, близких и далеких полустанках гулким эхом отражается жизнь под монотонный перестук колес. Станции молчаливо хранят в себе людские переживания, сопряженные с радостью желанных встреч и горькими минутами предстоящих разлук. Сколько повидали они на своем веку фигур, отчаянно машущих вслед уходящему поезду… Сколько здесь было ожиданий так и не состоявшихся встреч. Сколько растрачено эмоций от несбывшихся радужных надежд…

Такая же и станция Негорелое, типичная в своем предназначении встречать и провожать пассажиров, соединять и разлучать людские судьбы… Но в то же время, благодаря своему историческому прошлому она имеет полное право считаться особенной, быть другой, не такой, как все причалы железнодорожного пути. Белоснежное здание вокзала и сегодня невольно влечет взгляд странствующего пассажира из окна вагона мчащегося поезда…

А ведь в начале двадцатых годов прошлого века этот железнодорожный пункт имел мировое значение. Станция была отмечена на многих географических картах как стратегически важная.

Здесь каждого ждала остановка, и не только для того, чтобы, как на любой границе, пройти контроль. Здесь пролегала своеобразная грань в мышлении, в осмыслении двух образов жизни, в восприятии двух систем: социалистической и капиталистической.

В советские времена эта станция обязательно упоминалась в учебниках по литературе. Владимир Маяковский когда-то с восторгом воскликнул:

На горизонте —
белое.
Снега
и Негорелое.

Ход истории изменил роль и значимость станции Негорелое. Он как неожиданно приподнял на мировой уровень ее географический и политический статус, так и резко лишил главенствующего положения на западной границе СССР.

Но слишком много оказалось свидетелей на полустанке двух миров, чтобы память о станции-легенде бесследно канула в неизвестность. Тем более, что очевидцами тех событий были люди, умеющие профессионально отразить свое восприятие действительности. Впечатления многих писателей, поэтов, других известных личностей если не легли в основу их произведений, то сохранились в качестве ярких высказываний об особой атмосфере, царившей в то время на западном форпосте СССР.

Агния Барто в «Записках детского поэта» описывала состояние взрослого человека, которого ждала неизвестность поездки. На тот момент это был ее всего лишь творческий вымысел. И каково же было удивление писательницы, когда она оказалась в Негорелом: «Из Советского Союза я уезжала впервые. Могла ли я думать, куда приведут меня строчки из моей детской книжки «На заставе», когда писала: «Здесь рядом граница, чужая земля. Здесь рядом не наши леса и поля…». Из Негорелого послала телеграмму домой, и как только скрылся из глаз последний советский пограничник, приготовилась напряженно смотреть в окно…»

На конторке — полмира

…Баловень-ветер на перроне играет в догонялки со всем, что встретится на его пути. В поседевшем свете дня трудно различить: это благодаря стараниям ветра оторвался от ветки пожелтевший шалун-листок — предвестник наступающей осени, или пустился в пляс утерянный кем-то билетик, который, как хулиганистый мальчишка, до поры до времени выглядывал из-за угла. А вдруг он, пусть и потрепанная временем бумажка, еще будет кому-то полезен?..

…Издавна эти места — в общем-то, центр современной Беларуси — покрывали вековые пущи, богатые лесными дарами и дичью. Как известно, самой

большой бедой для леса во все времена был огонь. Ни один зверь не рычит с такой силой, как пылающее чудище, поглощающее все на своем пути. Так случалось и в этих краях: огненный смерч оставлял после себя лишь чернеющее пепелище. Пожарища наводили страх, их боялись, сторонились.

Согласно преданиям, перед отдельными местами огонь замирал, стена пламени рушилась мгновенно. Кто знает, каким чудом это происходило. Люди считали такой знак символичным, называли хранимой Богом землей и селились на ней как на негоревшей, негорелой.

Во времена Великого Княжества Литовского Негорелое входило в состав Минского уезда. В 1569 году его включили в состав Минского воеводства Речи Посполитой. Владели местечком — составной частью Койдановского графства — магнаты Радзивиллы.

В документальных источниках того времени Негорелое упоминается как пересадочная и почтовая станция на конном тракте Минск—Новогрудок. На Негорелое приходилась 41 волока земли. Крестьяне платили чинш, выполняли натуральную и другие повинности.

Автор «Недоросля» Денис Фонвизин, побывавший в Негорелом 27 августа 1777 года, позже делился впечатлениями: «Ехали по узкой дороге дремучим лесом. Неожиданно сухая жердь въехала в окно дорожной кареты, разбив стекло в мельчайшие частицы… Выехав из Минска, пустились мы опять в дремучий лес и, доехав до деревни Негорелой, ночевали».

После второго раздела Речи Посполитой Негорелое оказалось в составе Койдановской волости Минского уезда Российской империи.

По этой земле во времена Отечественной войны 1812 года прошлось наполеоновское войско.

За поддержку восстания 1831 года Радзивиллы были лишены права владения Негорелым, которое перешло в пользу царской казны.

В 1872 году Негорелое приобрел Юзеф Абламович. Через шесть лет очередным владельцем Негорелого стал граф Эмерик фон Гуттен-Чапский. Он присоединил новое владение к своему Станьковскому ключу.

К концу XIX века этому местечку была уготована размеренно текущая сельская жизнь аграрной на то время Беларуси. Но идея прокладки железной дороги переставила стрелки заурядного местечка на совсем другие рельсы, зажгла «зеленый свет» на пути к мировой известности.

О том, из каких людских страданий ткалось полотно стального пути, хранят молчание здешние места. Царское правительство на строительство железной дороги сгоняло крестьян со всей Беларуси. Их выматывал тяжелый физический труд, голод, примитивные условия жизни.

Линия Московско-Брестской железной дороги имела принципиальное стратегическое значение, соединяя восток с западом, являлась надежной транспортной магистралью. Ценой каких потерь давались километры пути, в расчет не брал никто.

День 28 ноября 1871 года стал эпохальным: по железнодорожному маршруту Минск—Койданово—Негорелое прошел первый поезд. В дальнейшей летописи этого населенного пункта было немало событий, которые эхом отзывались в нем, или же он сам становился эпицентром важных перемен.

Советская власть в Негорелом была установлена в ноябре 1917 года. Через три месяца его оккупировали кайзеровские войска. В это неспокойное время созданный здесь партизанский отряд, в который входило около ста бойцов, боролся с интервентами. В декабре 1918 года части Красной Армии освободили Негорелое, а в марте 1919 года его захватили поляки. Отступая в июле 1920 года, они подожгли здание железнодорожного вокзала, из бронепоезда пытались разгромить водонапорную башню.

Когда в 1920 году в Риге был заключен договор о перемирии, Негорелое оказалось в «нейтральной зоне». Согласно подписанному в 1921 году Рижскому мирному договору, грани-

ца пересекла линию железной дороги Варшава—Москва между местечками Столбцы и Негорелое, в 15 километрах к западу от последнего. Неизвестный пункт росчерком пера стал самой крупной в Советском Союзе пограничной сухопутной станцией, промежуточным звеном на маршруте железнодорожного сообщения между Европой и Дальним Востоком.

Как позже заметил известный немецкий писатель Франц Карл Вайскопф, «…на конторке лежали расписания поездов чуть не полмира…», и здесь была «пересадка, совсем особая пересадка: в XXI век».

Привет трудящимся!

…Моросит холодный промозглый дождь, и редкие пассажиры, наставив воротники, спешат за билетами в теплое здание приземистого вокзала. Вскоре из-за поворота стремглав вынырнет швейцарская скоростная электричка, которая меньше чем за час домчится до белорусской столицы…

А пока, словно из дымки времени, словно из огромной черной дыры, появляются очертания важно пыхтящего всеми парами тяжелого поезда. Его силуэт желтым светом озаряет колеблющийся на ветру, исхлестанный дождями старинный станционный фонарь. Оттуда, с польской стороны, слышен протяжный гудок. Железнодорожный колокол пронзительно оповещает о прибытии трудяги-паровика, как о явлении загадочного странника из далекого и чуждого мира.

В 1927 году Анастасия Цветаева, будучи среди пассажиров такого экспресса, писала: «В Варшаве у билетной кассы я получила удивленный отказ: билет до Москвы? Билет выдается только до Столбцов, от Столбцов берешь билет до Негорелого, в Негорелом уже в русской кассе получаешь билет до Москвы. Эти последние минуты я еще во власти Запада. Еще мой паспорт — иностранен. Еще я — пани (должно быть, совсем безумная, в эту страшную неведомую страну!). В молчании со мной кондуктора — что-то стеклянное. Стоя у окна, я стараюсь за его плечом различить, что за окном. Слева замигали огни. Негорелое».

После того как прозвучали долгожданные оповестительные сигналы, на перроне среди встречающих дрожащей волной пробежало оживление. Подоспел и духовой оркестр, который даже в сумерках заблистал медью начищенных труб (кстати, таковой имелся в 11-м железнодорожном батальоне.) Парадность встрече придали алеющими на груди галстуками и развевающимися флагами пионеры.

Атмосферу подобного торжества передает в статье «Две встречи с Горьким» писатель Раевский: «Откуда-то взялась легкая переносная трибунка — и начался митинг. Речи перемежались громом оркестра… В заключение выступил он сам (Максим Горький. — *Авт.*), говорил о счастье быть дома, среди своих, о великой миссии, которую доблестно выполняет наш народ, о чувстве благодарности за оказанную ему «небывалую и незаслуженную честь».

М. Горький четыре раза пересекал границу через станцию Негорелое, имел здесь дружеские встречи с белорусскими писателями.

В мае 1928 года группа белорусских писателей приветствовала в Негорелом М. Горького, когда тот после долгого пребывания за границей возвращался на Родину. Платон Головач, принимавший участие в той встрече, позже вспоминал о том, как на перроне большой толпой стояли делегации из Минска, возле них толпились крестьяне близлежащих деревень, красноармейцы-пограничники, рабочие-железнодорожники. «Ждали Горького с необычным волнением. И когда в вечерних сумерках пришел поезд, в котором ехал Алексей Максимович, все бежали навстречу поезду, чтобы быстрее увидеть писателя, взять его на руки и нести к советскому поезду. Пели «Интернационал». Это было наивысшей степенью проявления любви к пролетарскому писателю».

В 1929 году М. Горький ехал в поезде, шедшем из Берлина в Москву.

Я. Купала, сев в вагон на станции Негорелое, общался с Алексеем Максимовичем, пока они ехали до Минска.

Белорусский поэт Андрей Александрович встречал М. Горького дважды — в 1928 и 1931 годах. И он тоже был глубоко тронут увиденным: «На перегоне Негорелое—Минск, в салоне-вагоне Горького находилась делегация трудящихся белорусской столицы. В сопровождении Федора Гладкова, Всеволода Иванова и Леонида Леонова Алексей Максимович вошел в гущу взволнованного народа. Любимого писателя обступили пограничники, попросили рассказать о жизни трудящихся в Европе».

Как правило, в каждом поезде следовала фигура «высокого полета», как в прямом, так и в переносном смысле. Например, Негорелое приветствовало летчика полярной авиации Героя Советского Союза В. С. Молокова, принимавшего участие в спасении челюскинцев. Почести оказывались летчикам В. П. Чкалову, Г. В. Байдукову, А. В. Белякову, а также М. М. Громову, А. Б. Юмашеву, С. А. Данилину, когда они возвращались из США после беспересадочного перелета через Северный полюс.

Среди почетных пассажиров был отмечен «ледовый комиссар», «советский Колумб» академик Отто Юльевич Шмидт, который поправлял здоровье в Америке после окончания героической эпопеи на пароходе «Челюскин». Памятными здесь остались имена норвежского океанографа, исследователя Арктики, общественного деятеля Фритьофа Нансена, французского скульптора Аронсона, пианиста-виртуоза, профессора Берлинской консерватории Эгона Петри, экс-чемпиона мира по шахматам Эмануила Ласкера.

4 июня 1934 года станция Негорелое аплодировала известному американскому певцу, негритянскому общественному деятелю Полю Робсону, который оказался здесь проездом в СССР.

В разные годы через Негорелое проезжали зарубежные писатели Анри Барбюс, Иоганнес Бехер, Бертольд Брехт, Дьюла Ийеш, Мария Пуйманова, Ромен Роллан, Герберт Уэллс, Лион Фейхтвангер, Юлиус Фучик. А также здесь были русские и советские писатели Федор Гладков, Всеволод Иванов, Леонид Леонов, Александр Серафимович, Михаил Шолохов, Всеволод Вишневский, Галактион Табидзе, Алексей Толстой, Александр Фадеев, Илья Эренбург.

Противостояние двух миров

Дамы в самых модных на то время шляпках-«колоколах», важные господа в пенсне, едва спустившись на перрон, присоединяются ко всеобщему ликованию. Пронзительный взгляд таможенного служащего выделяет их из толпы. Станция живет своей обычной пограничной, празднично-деловой и в то же время чуткой жизнью — контрабандисты здесь, увы, не редкость.

Рядом с советской погранзаставой короной властвующей царицы над путями возвышалась деревянная арка. Для многих пассажиров именно она была главным свидетельством прибытия в СССР. Арку украшали неизменные атрибуты советской символики — красный флаг и звезда. Тех, кто возвращался в Советский Союз из Европы, встречал лозунг: «Привет трудящимся Запада!», а тех, кто выезжал за пределы СССР, сопровождало напутствие убежденного большевика: «Коммунизм сметет все границы!»

Для возвращающегося в мае 1937 года после долгих лет жизни за границей Александра Куприна остановка в Негорелом явилась первым прикосновением к Родине. Судя по тому, что писала его дочь К. А. Куприна, эта встреча его приятно обрадовала: «Вопреки ожиданиям, отец перенес дорогу очень легко, но устал, конечно, от больших волнений. Как только приехали в Негорелое, сразу иная атмосфера — русский язык, много внимания и ласки увидели от советских служащих».

Для советского человека после поездки за границу эта пядь белорусской земли казалась самой дорогой

на свете. Улыбчивые лица выдавали настроение души: прижаться бы к белеющей неподалеку березке, одарить ее той нерастраченной любовью, которая накопилась за время пребывания на чужбине.

Встречаясь в марте 1927 года с белорусскими писателями, Владимир Маяковский делился собственным восприятием приграничья: «Приходилось мне не только приезжать в Минск, — но и проезжать мимо Минска. За границу ездил, в Польшу. Эх, думаю, хорошо было бы заглянуть к минчанам, встречают гостеприимно. Но нельзя… Паспорт просрочишь. А к границе подъехал, сначала к Негорелому, потом к Колосову — пограничники узнали. Прекрасные парни. Приглашают меня в гости. Меня, откровенно говоря, самого давно пограничная тема привлекает и волнует. Как же не написать на такую тему. И остался бы на несколько дней у пограничников, но снова же этот паспорт… Окончился срок — не пустят. Панам только предлог дай… Пожелал пограничникам успеха и поехал!..»

Иностранцы не торопятся выражать свои чувства: они сдержанны, осмотрительны, внимательно оценивают все вокруг.

Граница служила своеобразным индикатором противостояния идеологии двух миров, ареной негласной борьбы между двумя системами, желающими настроить людей на восприятие якобы ужасающей действительности по обе стороны пограничья.

Австрийский писатель Стефан Цвейг в книге «Поездка в Россию» открыто признавался в этом: «Русская земля начинается в Негорелом. Мы подъехали очень поздно, уже в темноте, так что нам не удалось как следует увидеть знаменитый красный вокзал с надписью: «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» Никак не удалось мне разглядеть в этих живописных дьяволо свирепых, вооруженных до зубов красноармейцев, которых описывали мои романтические предшественники по поездке. Я вижу только несколько красноармейцев с умными лицами, одетых в совсем не пугающую форму, без винтовок и без всякого сверкающего оружия».

Стефан Цвейг откровенен в том, что в реальности все далеко не так, как изначально представлялось ему: «Зал пограничной станции выглядит совершенно обычно, только вместо портретов высокопоставленных особ со стен смотрят фотографии Ленина, Маркса, Энгельса и некоторых других вождей. Осмотр делается тщательно и быстро, со всей мыслимой вежливостью. Сделав только первый шаг на советской земле, видишь уже, сколько еще нужно бороться с ложью и преувеличениями. Ничто не носит здесь характера большой строгости, жестокости, более ярко выраженного военного оттенка, чем на других границах. Без всякого резкого перехода внезапно оказываешься в новом мире».

В описанной Францем Карлом Вайскопфом дорожной ситуации кроется большой идеологический подтекст, когда заложниками мифов и устрашений становились обычные граждане. Во время досмотра у американца в чемодане обнаружили голубые баночки. «…Девушка в красном платочке уже громко хохочет: она разгадала содержимое этих подозрительных баночек! Сгущенное молоко! Он тащит с собой сгущенное молоко, он думает, что у большевиков ему есть не дадут или отравят его… Смех заразителен. Тем, кто не понимает по-русски, переводят, в чем дело, и они хохочут тоже. Один лишь американец не понимает, что происходит, и лицо у него — полуобиженное, полубеспомощное.

Потом, когда русский поезд подан и мы уже стоим на платформе, профессор-немец говорит жене:

— Знаешь, я собственно могу представить, что думал американец, упаковывая сгущенное молоко… Ведь едешь в совершенно чуждый мир; кто его знает, что в этом мире происходит, даже вагоны не похожи на наши…

Чем же разнились стальные магистрали, в которых пассажиры также видели какой-то скрытый враждеб-



ный умысел? На перегоне Негорелое—Столбцы польской железной дороги были два пути: один — союзной колеи, другой — западноевропейской. Один из поездов формировался в Париже, по дороге к нему присоединялись вагоны с пассажирами, которые двигались на Дальний Восток. Прибытия поезда из Парижа в Негорелом ждал курьерский поезд, который направлялся до станции Маньчжурия. Вагоны союзной колеи и западноевропейской отличались своей шириной (советские были шире), а потому переставлялись на оси, соответствующие направлению движения: на Запад или в СССР.

Все — напоказ!

Работники станции нередко шутили, что в Негорелом они видят всю Европу и Америку. Как бы там ни было, а среди пассажиров преобладала интеллигенция, определенным образом олицетворявшая собой образцы новой моды, которую диктовал, по мнению одной стороны, — дикий Запад, по мнению другой — красная Россия. Взаимопроникновение модных тенденций, выраженное в желании людей одеваться более престижно и современно, никакими границами остановить было невозможно. Таможенники в первую очередь определяли соответствие документам внешнего вида пассажира. Как он одет, невольно бросалось в глаза. И проверка багажа была важна не только соответствием его содержимого требованию правил, но и самим контролерам невольно хотелось взглянуть на то, что за «шарм везут господа из Парижа».

Первая мировая война, в России — революция, внесли самые большие изменения в одежде. Нужны были более функциональные вещи: исчезли корсеты, укоротились юбки, и даже появились женщины в брюках! Женской прической 20-го века считалась короткая стрижка «паж». В одежде был очень моден белый цвет. К особой роскоши относились туфли-лодочки с застежкой-перепонкой. В мужской моде было популярным использование фраков на Западе и френчей в России. Все больше становилось заметным, как женщины заимствуют одежду из мужского гардероба.

Содержимое чемоданов, баулов, корзин — требовалось все предъявить.



В статье «Пересадка… в XXI век!» Франц Карл Вайскопф рассказывает о собственных наблюдениях по досмотру багажа: «Служащие таможни — среди них есть и комсомолка в красном платочке — работают быстро, но основательно.

— У вас тут шелк, вы куда едете?.. В Москву? Тогда придется пошлину платить! Шелк, видите ли, не принадлежит к предметам первой необходимости, — обращается к нам комсомолка, нашедшая шелковый отрез в чемодане моей соседки. И она уже роется в огромном чемодане белобрысого американского журналиста».

Все остается позади: и захватывающее дух волнение от неизвестности встречи с чужой границей, и процедура выполнения всех требований пограничного контроля, и просто станция, как реликт из прошлого столетия…

Разве думал тогда известный чешский писатель Юлиус Фучик, называя свою статью «До свидания, СССР!», что слова его окажутся пророческими, что страна СССР перестанет существовать. На то время он вложил в них смысл, который отражал восприятие увиденного всего лишь отъезжающим пассажиром: «И вот мы уже на пограничной станции Негорелое. Мы обменялись рукопожатием с товарищем пограничником, крепким рукопожатием, — и поезд отходит. Мы стоим на площадке последнего вагона, рельсы бегут к последней советской станции, последний советский часовой поворачивает голову вслед уходящему поезду, над головой у нас мелькает арка с девизом пролетарской страны и исчезает вдали…»

* * *

1 сентября 1939 года началась Вторая мировая война. Гитлеровская Германия захватила Польшу. 17 сентября Красная Армия начала освободительный поход в Западную Беларусь. Пограничное Негорелое стало обычной станцией, о былой славе которой свидетельствует только мемориальная доска, установленная 28 марта 1968 года в связи со 100-летием великого пролетарского писателя Максима Горького.

Оказывается, вовсе не нужно быть Древней Атлантидой, чтобы затеряться в пути следования по рельсам истории.

В новом тысячелетии никто и не вспомнит о точке на карте, где, по мнению тогдашних пассажиров, делалась уникальная пересадка в XXI век. Мировая известность Негорелого кажется такой же призрачной, как и сказания о далекой Атлантиде…

Елена СТЕЛЬМАХ

Книгосфера

«Счастливый Вяземский, завидую тебе…»

(Беседа с Вячеславом Бондаренко, автором книги «Вяземский» (М.: Молодая гвардия, 2014, — 678 с. ил. — (Жизнь замечательных людей: Сер. биогр.; вып. 884).



Нина Коленчикова: *Вячеслав Васильевич, как вы оцениваете место Вяземского в русской литературе?*

Вячеслав Бондаренко: Вяземский Петр Андреевич (1792—1878) — друг Карамзина и Жуковского, Пушкина и Мицкевича, Тютчева и Стендаля. Один из крупнейших русских поэтов золотого века, прозаик, публицист, переводчик, основатель жанра литературной биографии, редактор первой русской конституции, общественный и государственный деятель, издатель, мемуарист… Важное место в истории русской литературы Вяземский занимает именно благодаря этой многогранности и разносторонности.

Н. К.: *Какова была Ваша основная цель в жизнеописании Вяземского?*

В. Б.: Моя книга — это первое полное жизнеописание поэта, основанное на материалах Остафьевского архива. Моей целью было заглянуть в «Записные книжки» Вяземского и по достоинству оценить уникальность его талантов.

Н. К.: *Читая книгу, я обратила внимание на строку: «Остафьево прекрасно всегда». Вы бывали там в разные поры года?*

В. Б.: Да, бывал… Дело в том, что эта тема волнует меня со студенческих лет. В 2000 году в Минске в издательстве «Экономпресс» вышел первый вариант книги «Князь Вяземский. Жизнеописание» (187 стр.). Эта книга все время дорабатывалась. Понимая, что Остафьевский архив очень важен в жизнеописании Вяземского, я в 2013 году уволился с работы и на целый год поселился в Остафьево для работы в архивах. Так что Остафьево я видел в разные поры года.

Надо отметить, что с легкой руки Пушкина Остафьево называли «русским Парнасом». Все яркие лиитераторы того времени там гостили, да и само поместье — один из шедевров русской усадебной архитектуры.

Н. К.: *Какие основные особенности творчества Вяземского вы могли бы отметить?*

В. Б.: Поэзия Вяземского далека от автобиографичности, несладкозвучна, зачастую тяжела для восприятия, пестрит… прозаическими строками — но вся искрится умом и иронией. Это поэзия мощная, остроумная, дерзкая, но суховатая…

Самые удачные его стихи — язвительные сатиры, колкие эпиграммы, элегии-рассуждения. И всюду — блеск отточенного ума! Именно эпиграммы создали Вяземскому репутацию остроумнейшего русского писателя.

Кроме того, Вяземский — основоположник критики! Все его программные критические работы — о вечных авторах: Державине, Жуковском, Пушкине, Мицкевиче, Гоголе…

Н. К.: *«Книги имеют свою судьбу». За год до смерти Вяземский написал эти слова. «Ко всем его книгам применим эпитет «несчастливая!» — пишете вы. Почему?*

В. Б.: Поэтический путь Вяземского длился 70 лет. Таким творческим долголетием никто из русских поэтов не может похвастать. Но… первая и единственная прижизненная книга стихов вышла только в 70 лет! Первая русская биография писателя (книга Вяземского «Фон-Визин»), которую одобрили Пушкин («едва ли не самая замечательная с тех пор, как пишут у нас книги»), Гоголь, Плетнев и Тютчев, пролежала в столе 18 лет. К тому же, Вяземский не дожил несколько недель до выхода первого тома Полного собрания сочинений. (Двенадцать томов Полного собрания сочинений вышло уже после его смерти — в конце XIX века.)

Находясь в самом центре литературной жизни, он наблюдал за ней как бы сбоку, не делая литературу своей профессией.

Н. К.: *Для Пушкина литература была и призванием, и ремеслом, от которого он кормился. Он, как говорится, жил на 32 буквы русского алфавита. Вяземскому, в отличие от Пушкина, не приходилось жить с гонораров. И поэтому у него просто не было мотивации для издания своих книг…*

В. Б.: Возможно…

Н. К.: *Коснемся политических взглядов Вяземского. Хотя его ода «Негодование» (в которой он воспевает свободу и обличает вельмож, попирающих закон), как и «Вольность» Пушкина, «Гражданин» Рылеева, расходилась по России в многочисленных списках, вы пишете, что «революционность» Вяземского — это его независимость.*

В. Б.: Ни декабристом, ни противником власти Вяземский не мог быть и не был. Он был живым воплощением независимой, мыслящей, просвещенной русской аристократии. Сторонником сильного монархического правления. В сущности, вся политическая деятельность Вяземского заключалась в попытках законным путем получить в руки власть. Волею судеб этот путь был неоправданно долгим.

Н. К.: *Поговорим об этом подробнее. Есть такой печальный афоризм: «История царствований есть история преступлений». Он вполне мог родиться в царствование Николая I. На его совести не только кровь декабристов, но и утонченная травля Пушкина, закончившаяся смертью поэта. А был ли поединок у князя Вяземского с царем Николаем I?*

В. Б.: Вяземский написал «Исповедь» — политический автопортрет. Это умный, обстоятельный и горький укор государству, объявившему войну лучшим своим гражданам. Предлагая царю сотрудничество, Вяземский был прав: все качества государственного человека в нем были. И цель была благородная — Благо Отечества.

«Исповедь» — это не покаянное письмо, а разговор на равных. За всю историю русской литературы только один человек — Вяземский П. А. — имел право на такой разговор с государем. Вяземский был знатнее Николая I. Род Романовых восходит своими корнями к XVI веку, а род Вяземских — к Ярославу Мудрому и Владимиру Мономаху (XII век!!!).

Нет никакого сомнения, что Николай I не простил Вяземскому этого разговора на равных. Он не простил ему родовой гордости Рюриковича, самоуважения, просто масштаба его личности. И поэтому Вяземский был зачислен в Министерство финансов… чиновником особых поручений. Насмешка… Ответное письмо Николаю I — письмо раздавленного человека.

Величайшей драмой Вяземского-политика, драмой всей его жизни было его «несовпадение» сначала с Александром I, а затем с Николаем I, которые не распознали в князе умного помощника, союзника, единомышленника… Не допущенный в коридоры власти, он сделал политику своим домашним делом. Об этом его «Записные книжки»…

После смерти Николая I (1855) пришел к власти Александр II, и Вяземский превратился в видного государственного деятеля, желанного гостя при дворе, но было поздно — самому Вяземскому уже не очень интересна была государственная деятельность.

Н. К.: *Петр Андреевич и его жена Вера Федоровна прожили в браке 67 лет. И это было счастье. Но почему вы отмечаете, что биография Вяземского оказалась лишена настоящей любви, которая «положена» русскому поэту?*

В. Б.: В интимной лирике князя отпечатывается его характер. Это не пушкинское упоение любовью и не тютчевская всеразрушающая страсть. Вотчина Вяземского — флирт, изысканная любовная игра (на фоне семьи). Если дело доходило до серьезного романа — он шел на разрыв. В общем, ему нужен был флирт, будоражащий воображение. Экспромт Анне Олениной от 7 мая 1828 г. — лишь подтверждение этому:

Любви я рад всегда кокетство
предпочесть:
Любовь — обязанность и может
надоесть.

Кокетство — чувства блеск и опыт
поединка,
Где вызов — нежный взор, оружие —
слова,
Где сердце — секундант, а в деле
голова.



Любовная лирика Вяземского — словно одно большое стихотворное сожаление о том, что могло бы быть и чего никогда не будет. Таких скомканных, неполноценных любовей в жизни Вяземского было немало.

Н. К.: *Перейдем к самой желанной для меня теме: Вяземский и Пушкин. Глава «Пушкин» имеет хронологическое начало с 1835 года. Почему?*

В. Б.: Во-первых, к 1835 году все крупнейшие писатели (Жуковский, Дельвиг, Рылеев, Бестужев, Баратынский, Вяземский) признали Пушкина своим вождем. Вяземский так и писал: «Поэтической дружины смелый вождь и исполин». Во-вторых, последние два года жизни Пушкина — самые тревожные и трагические. Хотелось сконцентрировать внимание на них.

Н. К.: *В пушкинском окружении — несколько сотен имен. И целое созвездие друзей-единомышленников: Жуковский, Вяземский, Дельвиг, Кюхельбекер, Чаадаев, Давыдов, Плетнев, Пущин… Но почему Вы обратились к личности Вяземского?*

В. Б.: Их дружба длилась два десятка лет, охватила собою всю пушкинскую жизнь в поэзии, нерасторжимо переплела их биографии… Сегодня в массовом сознании Вяземский существует именно в качестве друга Пушкина, он своего рода апостол Петр при Христе; дружба с Пушкиным стала, в сущности, его профессией, была закреплена в анекдотах, в многочисленных биографических романах, в стихах (например, у Геннадия Шпаликова: «Здесь когда-то Пушкин жил, // Пушкин с Вяземским дружил…»). Вяземский мне интересен только в связи с Пушкиным.

Н. К.: *Общеизвестно, что В. А. Жуковский (1783—1852), который был старше Пушкина на шестнадцать лет, в числе первых увидел и оценил Пушкина; бескорыстно, гордясь поэтом, «отдал» ему поэтическое первенство и взял на себя миссию опекать и пестовать молодое дарование, в котором увидел славу отечественной словесности; поддерживал гениального собрата добротой, отеческим советом и заступничеством в горькие и запутанные минуты его судьбы.*

Петр Андреевич Вяземский (1792—1878), который был старше Пушкина только на семь лет, наряду с Жуковским тоже может считаться пестуном и сопроводителем его таланта. Их встреча состоялась в Лицее. Пушкин сразу понравился Вяземскому. Когда он прочел пушкинские строки о Батюшкове: «Читает повесть древних лет! // Он духом там — в дыму столетий», то восторженно воскликнул: «В дыму столетий…» Это выражение — город: я все отдал бы за него, движимое и недвижимое…»

Больше всего в их ранних отношениях меня поражает этот восторг Вяземского, который готов отдать «все движимое и недвижимое», т. е. все материальное, ибо оно ничто в сравнении с осознанием поэтического таланта, который стремительно ворвался в русскую литературу.

Но дальнейшие отношения Пушкина и Вяземского уложить в простую формулу невозможно — это был верный союз литературных единомышленников, но не дружба сердец. А на то душевное бескорыстие, которым отличался, например, Жуковский, Вяземский по своему острому и весьма ироничному характеру не был способен.

А что высвечивают дневники Вяземского?

В. Б.: Дневники высвечивают следы ранней ревности Вяземского к пушкинской славе. Ревность эта несомненно была… Полушутливая, полусерьезная, впоследствии тщательно скрываемая…

И хотя Вяземский был честолюбив и тщеславен необычайно, но вскоре он понял, что его талант не может сравниться с дарованием Пушкина. Он смог смирить гордыню, искренне полюбил Пушкина, начал его опекать…

Забота о Пушкине — это была забота старшего, умудренного жизнью брата о младшем — и нет сомнения, что Пушкину эта роль Вяземского была не особенно приятна. Если Жуковский имел полное право на учительскую миссию, как в силу возраста, так и в силу гения и мудрого миролюбия, то Вяземский с его нравоучениями и частыми приступами душевной глухоты не мог не раздражать Пушкина. Роль друга-наставника Вяземский сохранял примерно до 1828 года, после чего тон отношений снова меняется — Пушкин уже «вырос», и Вяземский для него теперь коллега и единомышленник.

Н. К.: *Какие этапы во взаимоотношениях Вяземского и Пушкина вы выделили бы?*

В. Б.: Их *очная* дружба началась в Москве после окончания ссылки Пушкина. Они не виделись семь с половиной лет. До этого — в сущности, только несколько личных встреч (25 марта 1815-го; май 1817-го; январь 1819-го). Потом переписка, жаркая с обеих сторон (1822—1826), и к слову сказать, золотое время их отношений, потому что на бумаге поссориться хоть и возможно, но все же сложнее, чем в жизни…

Н. К.: *Поговорим об этом золотом времени в их отношениях — о переписке, об общении в письмах. Для начала*

XIX века это очень актуальная тема. Ведь жанр письма из бытового жанра на рубеже веков стал превращаться в «факт литературы». В пушкинскую эпоху над письмами работали как над литературными произведениями.

Если говорить о важности отзывчивой писательской среды для Пушкина, то, конечно же, мы понимаем, что в ссылке (и на юге, и в Михайловском) поэт был невероятно одинок на своем поэтическом уровне. Кто же был самым частым и желанным собеседником поэта?

В. Б.: Из Михайловского, например, до нас дошло 118 писем Пушкина. Четверть из них адресована Вяземскому. Вяземский для Пушкина — доверенное лицо в творческом плане. Именно ему он делает откровенное признание о начале работы над «Борисом Годуновым»: «Покамест, душа моя, я предпринял такой литературный подвиг, за который ты меня расцелуешь: романтическую трагедию. Смотри — молчи же. Об этом знают очень немногие…»

Об окончании «Бориса Годунова» он извещает тоже Вяземского (в ноябре 1825 г.): «Поздравляю тебя, моя радость… Трагедия моя кончена. Я перечел ее вслух один и бил в ладоши и кричал: ай да Пушкин, ай да сукин сын…»

Н. К.: *«Перечел ее вслух один…» Нет рядом творцов-союзников, он в одиночестве… Изливает всю радость другу-единомышленнику в письме… Как же он этим дорожил!.. Но почему же вы делаете вывод, что Вяземский по отношению к Пушкину — безусловная, часто восхищенная* ***приязнь****, но вряд ли дружба (кстати, приязнь — устаревшее слово* ***дружба****).*

В. Б.: Вяземский ценил дарование Пушкина, неизменно отзывался о пушкинском творчестве очень одобрительно: «Стихи чертенка-племянника чудесно хороши»; «Стихосложение в «Кавказском пленнике» отличное»; «Пушкин кончил шестую песнь Онегина. Есть прелести образцовые. Уездный деревенский бал уморительно хорош»; «Убитого Ленского сравнивает он с домом опустевшим… Как это все сказано, как просто и сильно, с каким чувством»; «Не только читал Пушкина, но с ума сошел от его стихов. Что за шельма!»…

Эти похвалы, конечно же, звучат от всей души. Но все-таки отделаться от чувства, что во всех похвалах князя сквозит холод его ума, невозможно. Вяземский любил Пушкина как поэта. Но, скажем, любовь Жуковского к Пушкину была совершенно иной — теплой, доверчивой, восхищенной, радостной, — такова любовь матери к шалуну-сыну. Любовь Вяземского к Пушкину на этом фоне выглядит любовью критика, искренне расположенного к молодому быстрорастущему таланту…

Н. К.: *Нуждался ли Пушкин в Вяземском, в его дружбе и творчестве? Вопрос непростой… И вы его скрупулезно анализируете.*

В. Б.: Да, действительно… в интеллектуальном плане Пушкин не только нуждался в Вяземском, но и в буквальном смысле слова заваливал его роскошными подарками — эпиграфами к своим произведениям («Евгений Онегин», «Станционный смотритель»), скрытыми и явными цитатами из Вяземского, восторженными отзывами о нем, наконец, приглашением в качестве действующего лица в роман «Евгений Онегин». Кто еще из друзей Пушкина был так щедро им одарен?.. Кому из своих друзей Пушкин писал так много и часто? Сохранилось 74 письма Пушкина к Вяземскому — больше он писал только жене!.. Можно даже подумать, что Пушкин нарочно привязывал Вяземского к себе. Не льстил, но при каждом удобном случае давал понять, что творчество и дружба князя ему дороги.

В каком-то смысле, наверное, действительно привязывал. Пушкин понимал, что таких многогранных друзей, стоящих на одном с ним интеллектуальном уровне, к тому же почти ровесников, у него больше нет.

Н. К.: *Известны ли скептические отзывы Пушкина о Вяземском?*

В. Б.: Да. По этим отзывам довольно точно можно определить душевные качества князя, вызывающие недовольство

Пушкина, — неуступчивость, отсутствие гибкости, педантизм, сухость, наставительная насмешливость…

Это была нервная, самолюбивая дружба. Пушкин — миролюбец, гасит ненужные споры. Вяземский настроен более победительно.

Н. К.: *Поэтому у вас закрались сомнения. Вы пишете: «Безоговорочный союз, творческий и личный; планы, ожидания, сокровенные мысли... Оба, кажется, счастливы. Но почему «кажется»?*

В. Б.: Вот именно — «кажется». Дружба их никогда не была безоблачной. Достаточно беглого знакомства с мемуарными заметками князя о Пушкине, с их перепиской, чтобы понять: благостной дружбой двух добряков-единомышленников тут и не пахло. Их дружба — резкое, полное мгновенных пульсаций, интеллектуальное, умственное, головное, но никак не сердечное отталкивание-притяжение двух очень разных, очень самостоятельных и очень умных людей, волею судеб оказавшихся рядом в жизни и литературе.

Н. К.: *Какие высказывания Вяземского о Пушкине не тиражируются, ибо не поддерживают легенду об их дружбе?*

В. Б.: Например, вот как Вяземский реагирует в 1851 году на чье-то утверждение, что Жуковский относится к пушкинской эпохе: «Правильнее сказать, что Пушкин принадлежит к периоду Жуковского»… Считал ли Вяземский Пушкина гением?.. В одной из поздних заметок князь долго рассуждает на тему русских гениев и приходит к выводу, что таковых было трое — в первую очередь Петр I, затем Ломоносов и Суворов. Пушкин же — «высокое, оригинальное дарование», не более.

И, наконец, последний, достаточно красноречивый факт, на который почему-то до сих пор никто не обращал внимания. Пушкин создал несколько чудесных стихотворений о Вяземском, в том числе великолепную надпись к его портрету. Вяземский, охотно писавший послания кому угодно, почтил Пушкина стихами только после его смерти, в которых просто констатируется факт: «Что навсегда умолк любимый наш поэт, // Что скорбь настигла нас, что Пушкина уж нет».

Н. К.: *Да, согласна. Стихотворение «На память» очень похоже на альбомную горестную запись — и только. Оно не сравнимо ни с гекзаметрами Жуковского, ни тем более со знаменитым лермонтовским «Смерть поэта». Не много бывало в истории таких блистательных эстафет, когда на смену одному гению был послан другой гений...*

Так что же, по мысли Вяземского, погубило Пушкина?

В. Б.: Официально-светская атмосфера в России была такова, что Пушкин задыхался, а Геккерны процветали. По словам Вяземского, «анонимные письма лежали горячей отравой на сердце Пушкина». В феврале 1837 г. Вяземский писал о том же Смирновой: «Да, конечно, светское общество его погубило. Проклятые письма, проклятые сплетни приходили к нему со всех сторон».

Н. К.: *За что просит прощения Вяземский у памяти Пушкина (после его смерти) и как это его характеризует?*

В. Б.: Вяземский был взволнован открытием, которое принесли ему последние часы Пушкина. И он пишет великому князю Михаилу Павловичу: «Смерть обнаружила в характере Пушкина все, что было в нем доброго и прекрасного. Она надлежащим образом осветила всю его жизнь. <…> **Пушкин был не понят при жизни не только равнодушными к нему людьми, но и его друзьями. Признаюсь, и прошу в том прощения у его памяти»**.

На такое мужественное признание своей вины не отважился больше никто!

Н. К.: *Каков Вяземский в 40-е гг. XIX века — после гибели Пушкина?*

В. Б.: В конце 1830-х — начале 1840-х годов Вяземский участвует в издании «Современника», который стал редактировать П. А. Плетнев, в подго-

товке посмертного собрания сочинений Пушкина, осуществленного В. А. Жуковским, а также пропагандирует его творчество за рубежом, где, кстати, он часто бывал.

Пушкин был невыездной, а Вяземский за свою жизнь много путешествовал: Польша, Германия, Италия, Франция, Англия, Австрия… с 1873 по 1878 год лечился в Германии. Там и умер в Баден-Бадене на 87-м году жизни. Похоронен в Санкт-Петербурге.

Н. К.: *В качестве итога дружеских отношений Вяземского с Пушкиным хочется добавить, что все же у них было самое главное — творческое взаимопонимание. Никто из современников, кроме Вяземского, не дал такую проницательную и точную характеристику роману, сказав, что «Онегин» хорош Пушкиным» (П. А. Вяземский — А. И. Тургеневу, 1828), имея в виду лирические отступления, в которых Пушкин «презентовал» человека (его эмоции, чувства, переживания). «Презентовал» через себя и свой духовный мир. Сюжет романа оживлен именно личностью автора. Мы оказываемся в мире несравненно более широком и глубоком, нежели тот, в котором протекает быт романа. Поэтому-то роман «хорош Пушкиным»!!!*

И еще. Вяземский за годы дружбы глубоко проник в творческую лабораторию поэта и оставил самые ценные наблюдения о Пушкине как личности и писателе. В статье «Взгляд на литературу нашу в десятилетие после смерти Пушкина» (1847) он писал: «Но при нем, но в нем глубоко таилась охранительная и спасительная нравственная сила <...>. Эта сила была любовь к труду, потребность труда, неодолимая потребность творчески выразить, вытеснить из себя ощущения, образы, чувства, которые из груди его просились на свет Божий и облекались в звуки, краски, в глаголы, очаровательные и поучительные. Труд был для него святыня, купель, в которой исцелялись язвы, обретали бодрость и свежесть немощь уныния, восстанавливались расслабленные силы…»

В. Б.: Согласен с Вами.

Н. К.: *Пушкин написал несколько стихотворений, обращенных к Вяземскому. Вспомним два из них, в которых повторяется слово счастливый («счастливый Вяземский» и «счастливый баловень»). Эти слова лейтмотивом проходят через всю вашу книгу: то абзацем, то уточнением, то эпиграфом — и завершают жизнеописание Вяземского.*

Язвительный поэт, остряк замысловатый,
И блеском колких слов, и шутками богатый
Счастливый Вяземский, завидую тебе…

(1821 г.)

Судьба свои дары явить желала в нем,
В счастливом баловне соединив ошибкой
Богатство, знатный род — с возвышенным умом
И простодушие с язвительной улыбкой.

«К портрету Вяземского» (1820—1824 гг.)

Какая проницательность и глубина! Какая меткость и точность!

Вяземскому действительно от природы было слишком много дано. Если об А. Меншикове, сподвижнике Петра, Пушкин пишет «счастья баловень ***безродный»,*** *то у «счастливого баловня» Вяземского было все: и знатный род, и богатство, и возвышенный ум, и даже по ошибке в нем природа соединила несоединимое: наивную доверчивость (т. е. простодушие) со злобной насмешливостью (т. е. язвительной улыбкой).*

Так кто же он — баловень или не баловень судьбы. Ваше мнение?

В. Б.: Вы говорите о стихах начала 20-х годов. Тогда Вяземский был в полном блеске популярности и успеха. Кажется, что все, что только можно пожелать, ему было дано от рождения, от природы. И надо только суметь с толком распорядиться дарами судьбы, которую пока не омрачает ни одно трагическое облако.

Позже Вяземский пережил то, что иному и за жизнь не под силу: потерю

детей (из восьмерых своих детей Петр Андреевич похоронил семерых), гибель друзей (Пушкина, Жуковского, Гоголя), утрату политических иллюзий, крушение жизненных планов — он, скорее всего, уже не «баловень судьбы», а страдалец!

Н. К.: *Почему вы в конце книги приводите слова Н. В. Гоголя о П. А. Вяземском?*

В. Б.: Точнее всех о талантах-способностях Вяземского, о его «дарах судьбы» и их нереализованности сказал Гоголь. Он писал: «…Отсутствие большого и полного труда есть болезнь князя Вяземского, и это слышится в самих его стихотворениях. В них заметно отсутствие внутреннего гармонического согласования в частях, слышен разлад, <…> слышна несобранность в себя, неполная жизнь своими силами; слышится на дне всего что-то придавленное и угнетенное. **Участь человека, одаренного способностями разнообразными и очутившегося без такого дела, которое бы заняло все до единой его способности, тяжелее участи последнего бедняка**».

Из дневников Вяземского предстает человек, с размахом наделенный многими талантами, да не сумевший с расчетливостью и пользою распорядиться ни одним из них. О разбросанности своей, о неумении сосредоточиться на твердо поставленной цели и т. д. он говорил и в 25, и в 50, и в 75 лет. А в 1858 г. (в 65 лет!) он записал: «Мы часто жалуемся на судьбу, не замечая, что во многом мы сами своя судьба».

Н. К.: *И все же вы заканчиваете книгу словами Пушкина «Счастливый Вяземский», как бы подтверждая и утверждая пушкинское наблюдение…*

В. Б.: Конечно, не следует понимать эпитет слишком буквально. Его век был скорее горестным, чем радостным. Болезни, смерть детей и друзей, постылое долголетие… Но все же — он родился в России, в Москве; он был дружен с Пушкиным, был любим многими, видел многое, изведал все оттенки человеческих страстей. Им написаны «Первый снег» и «Цветок». «Фон Визин» и «Записные книжки». Он занимает разговором Татьяну в «Евгении Онегине». Это ли не *счастье*? Счастливый Вяземский…

Н. К.: *Благодарю за беседу.*

Беседовала Нина КОЛЕНЧИКОВА



Имена

Сподвижник Достоевского

Без идеалов, то есть без определенных хоть сколько-нибудь желаний лучшего, никогда не может получиться никакой хорошей действительности.

Федор ДОСТОЕВСКИЙ

Иван Ястржембский, молодой преподаватель политической экономики и статистики Петербургского технологического института, готовясь к очередным занятиям, много думал о роли знаний в жизни человека. Какие они нужны и для чего? Люди неясно представляют себе соотношения знаний и ума, ложных и истинных. Ястржембский, в то время увлеченный мыслями французских утопистов-социалистов, был согласен с тем, что только истинное знание ведет не к самоуспокоению, а к пробуждению духа и разумному действию. Прослышав об обществе разночинной петербургской молодежи, созданном Михаилом Петрашевским, он решил вступить в него. Руководитель намекнул Ивану, что изучение социальных систем, в особенности идеи французских экономистов, он выбрал средством к ниспровержению существующего государственного устройства. Петрашевский стремился возбудить у юношества антиправительственные настроения посредством лекций, которые будут читать преподаватели. Иван хотел лучшего обустройства общества, поэтому согласился стать пропагандистом и слушать выступления других.

Одна из первых встреч «по пятницам» в квартире Михаила Петрашевского произвела на Ивана сильное впечатление. Пришли молодые, образованные, талантливые люди, свыше десяти. Поэты Сергей Дуров, Алексей Плещеев, литературные критики Аполлон Григорьев, Николай Данилевский, экономист В. А. Милютин, писатели Федор Достоевский, Михаил Салтыков-Щедрин, студент Александр Ханыков и другие. В мае 1848 года преподаватель Ястржембский прочел доклад о статистике как науке — наилучшем инструменте социального управления. Он раскрывал ее общественный характер и роль в анализе экономики и материального благосостояния общества. По его словам, он «прежде всего заботился о том, чтобы передать научные факты истинно, не делать от себя никаких заключений, а надо выводить их логически самим ученикам».

В январе-феврале 1849 года Ястржембский на шести «пятницах» читал лекции о началах политической экономики. Его внимательно слушали, записывали, задавали вопросы. И самое любопытное: писатель Федор Достоевский дважды присутствовал на этих лекциях. Иван знал его первую повесть «Бедные люди». Позже, когда Федору Михайловичу пришлось давать показания по делу петрашевцев, писатель в пределах допустимого пояснял: «Что же касается до Ястржембского, то я имел случай узнать образ экономических идей его, когда два раза удалось мне его слышать. Он, сколько мне кажется, экономист последней школы и допускает социализм настолько, насколько его допускают самые строгие профес-

сора науки. Ибо социализм, в свою очередь, сделал много научной пользы критической разработкой и статистическим отделом своим. Одним словом, я полагаю, что Ястржембский далеко не фурьерист и что ему нечего учиться у Петрашевского». Чувствуется, что Достоевский очень тонко стремится защитить Ивана Ястржембского, тонко отвести от него беду. И в этой глумливо-унизительной ситуации он возвышает человека, его самоотверженность и способности просветителя.

И правда: слушатели отмечали, что среди преподавателей-петрашевцев были весьма талантливые педагоги, и в первую очередь называли Ивана Львовича Ястржембского. Много раз слышавший, как он «читал статистику», Михаил Венюков, историк и статистик, описал потом свои впечатления. Ему нравилось, что у лектора были прочные знания и что он умел ими великолепно пользоваться, чтобы возбудить у слушателей чувство глубокого негодования на общественные порядки ввиду их несправедливости. Венюкову запомнились вопросы, возникшие в ходе хорошо продуманной лекции И. Л. Ястржембского: «Откуда неравенство условий жизни для людей и зачем оно? На каком основании богатый дурак и мерзавец счастливее бедного гения и честного труженика? В силу чего сын законно наследует отцу во владении имуществом, то есть частью общечеловеческого достояния, которая при этом бывает нажита не благородным трудом, а либо грубым насилием, либо плутнями, прижимками и всякими иными бесчестными и безнравственными путями?» Вопросов, как мы видим, возникало немало, и надо было всеми силами пробивать путь к идеалам, к истинным знаниям, которые возбудят человеческий ум и, возможно, подскажут, что делать, а чего непродуманного и поспешного следует опасаться.

Лекторы менялись, каждый приходил со своей темой и своими проблемами, как предполагалось, интересными для слушателей. В очередную «пятницу», 15 апреля 1849 года, на квартиру поэта Сергея Дурова пришло более двадцати человек. Михаил Петрашевский предоставил слово уже известному писателю Федору Достоевскому. Молодой, с приятным лицом оратор начал читать знаменитое письмо В. Белинского Н. Гоголю, изредка комментируя отдельные мысли. Иван Ястржембский внимательно слушал рассуждения Белинского о том, в чем нуждается Россия для своего спасения: в успехах цивилизации, просвещения, гуманизма, пробуждения в народе чувства человеческого достоинства. Душа его трепетала. Как и другие, он был в восторге и нередко вскрикивал:

— Отто так! Отто так! Згодзен…

Всякое рациональное слово, вселяющее веру в развитие жизни, будущее народа, подсказывающее идеал, вызывало в душе Ястржембского радость. Ему хотелось еще больше работать над собой, изучать труды русских и зарубежных мыслителей.

Многим Ястржембский был известен в городе, и кто-то, возможно, преувеличивал его влияние на других. «В нашей маленькой среде, — отмечал М. И. Венюков, — он производил почти то же действие, что на обширном поприще Герцен». Кроме Технологического института он преподавал в Дворянском полку и Институте инженеров путей сообщения. Получал жалование и вознаграждения за лекции. Был холост, на свое положение не жаловался. Опасаться было нечего. И вдруг — такое и в страшном сне не приснится…

Спустя неделю после выступления Достоевского, 23 апреля он возвратился в свою квартиру в третьем часу ночи. Едва успел задремать, как в комнату ворвался жандармский полковник. Подал какую-то бумагу и объяснил:

— Арестовываю тебя по воле Императора.

Явились помощники жандарма, собрали бумаги Ивана и отвезли его в карете в Третье отделение. Потом он вспоминал: «Как все мои знакомые молодые люди, так и я, — все мы были так заняты начавшимся тогда в Европе социально-экономическим движением (политикой в собственном

смысле мы не занимались), что почти не обращали внимания на то, что делалось в России и в Петербурге. Поэтому неудивительно, что я не догадался, по какому случаю меня арестовали, и все надеялся, что сейчас после объяснения в Третьем отделении меня отпустят». Однако, иллюзии быстро рассеялись. В зале отделения Ястржембский увидел всех, с кем встречался «по пятницам»: Петрашевского, Достоевского, Дурова, Момбелли, Плещеева, Филиппова и других. Грозно припомнили ему о вечерах у Петрашевского, о «преступных рассуждениях о правительстве и об изменении некоторых госучреждений», его «дерзкие выражения» о высших сановниках, о его лекции, «написанной во вредном духе».

Стало ясно: от сумы и от тюрьмы не зарекайся. После предварительных расспросов в кабинете управляющего Третьим отделением Леонтия Дубельта, генерала Владимира Набокова полковник передал его двум солдатам, которые отвели его в каземат Алексеевского равелина Петропавловской крепости. И тяжелая, окованная железом дверь захлопнулась. Человека надо было морить в одиночке, чтобы он раскаялся и, возможно, «выдал других».

То, куда неожиданно попал Иван Ястржембский, поразило его воображение. В одиночке полумрак, сыро и холодно. Стены покрыты серой плесенью. Деревянная кровать и табурет, прикованный к стене. И мертвая тишина. «В равелине я просидел с 23 апреля по 23 декабря 1849 года, и если бы мне пришлось посидеть еще неделю, я, вероятно, не вышел бы из него живым… Убивающее влияние на меня оказало одиночное заключение. При одной мысли, что я нахожусь «au secret», уже через две недели заключения со мною стали случаться нервные припадки, обмороки и биение сердца», — спустя годы писал Иван Ястржембский. Кроме этого изматывали нервы долгие утомительные допросы, вытягивание признаний, а заключенный все отрицал. Надеяться было не на что, но он не собирался сдаваться. И дожил до чудовищной трагикомедии на Семеновском плацу при огромном стечении народа.

22 декабря 1849 года. В восьмом часу утра приехала черная карета — привезли узников Петропавловской крепости. Они сразу же увидели эшафот, чернеющий на заснеженной поляне холодного плаца. Много их высыпало, бледных и измученных, только что вырванных из опостылевших одиночных камер. Повели строем. Кто знает, как могло не разорваться трепетное сердце Достоевского, когда он поднялся на угрожающий эшафот, где уже собирались заключенные. По сторонам стояли петрашевцы, привезенные на казнь, молчаливые, угрюмые. Рядом с ними стоял, тоже приговоренный к смертной казни, молодой преподаватель политэкономии Иван Ястржембский. А позже Достоевский вспоминал: «Вся жизнь пронеслась в уме, как в калейдоскопе, быстро, как молния». Человек — целый мир размышлений, а если он приготовился к смерти, говорить не о чем.

26-летний петрашевец Дмитрий Ахшамуров вспоминал эту нелепую казнь: «Момент был поистине ужасен. Видеть приготовление к расстрелянию, и притом людей, близких по товарищеским отношениям, видеть уже наставленные на них почти в упор ружейные стволы и ожидать — вот-вот прольется кровь и они упадут мертвыми, было ужасно отвратительно, страшно… Сердце замерло в ожидании, и страшный момент этот продолжался с полминуты. При этом не было мысли о том, что и мне предстоит то же самое, но все внимание было поглощено наступающей кровавой картиной. Возмущенное состояние мое возросло еще более, когда я услышал барабанный бой, значение которого я тогда, как не служивший в военной службе, не понимал. «Вот конец всему». Но вслед за тем увидел я, что ружья, прицеленные, вдруг все были подняты стволами вверх. От сердца отлегло сразу, как бы свалился сдавивший его камень». Эту убийственную инсценировку казни пережили Федор Достоевский, Михаил Петрашевский, Иван Ястржембский и

все остальные петрашевцы, приговоренные к смертной казни.

Тут же появился флигель-адъютант с закрытым пакетом. Зачитывается приговор, по плацу звучат имена:

— Отставного инженер-поручика Федора Достоевского… в каторжную работу в крепостях на четыре года…

— Преподавателю Ивану Ястржембскому… смертная казнь заменена шестью годами каторги.

«Помилованных» снова отвезли в Петропавловскую крепость. Достоевского на несколько минут навестил старший брат Михаил. Младший Федор уже из Сибири писал ему: «Только что ты оставил меня, нас повели, троих: Дурова, Ястржембского и меня, заковывать. Ровно в 12 часов, то есть ровно в Рождество, я первый раз надел кандалы. В них было фунтов 10, и ходить чрезвычайно неудобно. Затем нас посадили в открытые сани, каждого особо, с жандармом, и на четырех санях, фельдъегерь впереди, мы отправились из Петербурга. У меня было тяжело на сердце и как-то смутно, неопределенно от многих разнообразных ощущений. Сердце жило какой-то суетой и поэтому ныло и тосковало глухо».

Ночью 24 декабря 1849 года русская тройка взяла старт от зимней Невы и помчалась в сторону Западной Сибири. Начался конный путь в далекое суровое изгнание. Преодолевая заснеженные дороги девяти губерний, пургу, на одной из стоянок встретили Новый год. Позже расстроенный Достоевский писал брату, как по дороге в Сибирь «Ястржембскому виделись какие-то необыкновенные страхи в будущем». Как ни мучительно и холодно было, все-таки выдержали. На шестнадцатый день политссыльные прибыли уже в старый городок Тобольск Тюменской области. Их обыскали, забрали деньги, потом разместили в узкую, грязную, промерзлую камеру. Сквозь дощатую стенку слышались ругань и дикие крики, от которых потемнело в душе и стало страшно. Неужели погребены заживо?

Гордый и независимый Иван Ястржембский затаился в своем темном углу и подозрительно завозился: решил раз и навсегда покончить со всем. Федор Достоевский, как истинный знаток человеческой души, мгновенно все понял и вроде незаметно создал реальную ситуацию, отводящую друга по несчастью от непоправимой беды. Писатель тотчас же разыскал в своем мешке коробку дорогих сигар, которые брат Михаил передал ему перед отъездом из Петербурга. Упросил жандарма принести в камеру сальную свечку и чай. Задушевно угощал Ивана, Сергея Дурова и говорил, говорил, подыскивая наиболее подходящие нежные слова, — приятные и согревающие сердце. Доброта, чистота духа оказались сильнее предполагаемого зла. «В дружеской беседе мы провели большую часть ночи, — вспоминал потом благодарный Ястржембский. — Симпатичный, милый голос Достоевского, его нежность и мягкость чувства, даже несколько его капризных вспышек, совершенно женских, подействовали на меня успокоительно. Я отказался от всякого крайнего решения». Этот тяжелый эпизод еще больше сблизил Ястржембского с Федором Достоевским, который, правда, еще как подсудимый показывал следствию, что три раза слушал лекции у Петрашевского, но «как человека» не знает и «с ним не вступал в разговор». Теперь вот наговорились, узнали друг друга, и хотелось больше знать. А губернатор предписал: Достоевского и Дурова доставить на каторгу в Омск, Ястржембского — в город Тару, на винокуренный завод. Теперь они находились на небольшом расстоянии друг от друга на одной водной линии Иртыша. Исполнял обязанности чернорабочего, чувствовал себя одиноким. Ему не хватало глубоко мыслящего собеседника: с Достоевским было интересно и легко, даже в этих жутких условиях. Он знал, что для человека важно, и говорил о том, что ему было нужно. Его задушевное слово, озаренное «светом истины», было наполнено чувством любви к людям и правде. Иван Ястржембский гордился тем, что судьба свела его с Достоевским, что каторжные перипе-

тии помогли им близко сойтись, узнать друг друга и по возможности поддерживать. Не только в мелочах, но и в существенном.

Иван писал письма родным, его тянуло на любимую Гомельщину, памятью возвращался в детство и юность, о которых почти ничего не знал Федор Достоевский. Все помнилось, стояло перед глазами.

Иван Львович Ястржембский родился в 1814 году в Речицком уезде Минской губернии, теперь Речицкий район Гомельской области. Происходил из обедневшей дворянской семьи. В детские годы получил домашнее образование, много читал. В 1841 году окончил экономический факультет Харьковского университета, где увлекся социальными утопиями Адама Смита, Роберта Оуэна, Пьера Прудона, Шарля Фурье и других западноевропейских мыслителей. Оказавшись в Петербурге на преподавательской работе, Ястржембский продолжал углубленно изучать их и в своих первых статьях критиковал их экономические взгляды. Лучшее, что познал в научной мысли, передавал в кружке петрашевцев, который раскрыла полиция…

Как ни мучительно было в захолустном городке Тара, время шло. В августе 1856 года Ястржембского выпустили на поселение, а через год ему возвратили дворянство. А еще через год Ивану разрешили вернуться на родину, в Речицкий уезд. Какой трогательной была встреча с исстрадавшимися родными и близкими! Не верилось, что мытарствам и каторге конец. Но еще 15 лет Иван находился под негласным надзором полиции и несколько лет, в качестве инженера, работал на строительстве шоссе Москва—Варшава на территории Могилевской губернии (теперь это — в Оршанском и Толочинском районах). В феврале 1874 года ему было разрешено жить в столицах, а где жил, к сожалению, неизвестно. Похоже, не в Петербурге.

Мне попался кусочек из воспоминаний И. Л. Ястржембского о Достоевском, в котором есть трогательные строки: «Мы расстались с Достоевским и Дуровым в тобольском остроге, поплакали, обнялись и больше уже не виделись». Написаны они в январе 1883 года, спустя ровно два года после неожиданной смерти Федора Достоевского, сподвижника и друга нашего земляка. Если бы Иван Ястржембский последние годы жил в Петербурге, он непременно встретился бы с замечательным писателем и человеком, с которым здесь познакомился и подружился.

Какова дальнейшая судьба революционера-петрашевца, автора воспоминаний? Как отмечает «Белорусская энциклопедия» (т. 18, с. 312), Иван Ястржембский умер «после 1883 года». А где умер и где похоронен, пока неизвестно.

Эдуард КОРНИЛОВИЧ

Литература:

1. Минувшие годы. 1908, №1. С. 34.

2. Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч., т. 18. Л., 1978. С. 132.

3. Семевский В. И. Пропаганда петрашевцев в учебных заведениях. // Голос минувшего. 1917. № 2. С. 139.

4. Есаков В. А. Михаил Иванович Венюков. М. 2002. С. 12.

5. Ястржембский И. Мемуар петрашевца. // Минувшие годы. 1908. № 1. С. 21.

6. Там же. С. 22.

7. Басшарева Л. И., Сидорова В. И. Петропавловская крепость. Л., 1980. С. 38.

8. Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч., т. 28, кн. 1. Л. 1978. С. 167.

9. Селезнев Ю. Федор Достоевский. М., 1997. С. 144.

10. Белов С. В. Энциклопедический словарь: Ф. М. Достоевский и его окружение. Т. 2. СПб., 2001. С. 471.

КОЗЛОВ Юрий Вильямович. Родился в 1953 г. в г. Великие Луки (Российская Федерация). Окончил Московский полиграфический институт. Прозаик, публицист, главный редактор журнала «Роман-газета». Лауреат Всероссийской премии «Традиция», премии Московского правительства, Малой литературной премии России «За честность и объективность в творчестве» и многих других. Автор более 30 книг. Живет в Москве.

ПАШКОВ Геннадий Петрович. Родился в 1948 г. в Чашникском районе Витебской области. Окончил факультет журналистики Белорусского государственного университета. Поэт, переводчик, публицист. Автор многих книг. Лауреат Государственной премии Республики Беларусь. Живет в Минске.

ЖДАН-ПУШКИН Олег Алексеевич. Родился в 1938 г. в Смоленске (Российская Федерация). Окончил историко-географический факультет Могилевского педагогического института и Литературный институт им. А. М. Горького. Прозаик, драматург, переводчик. Автор многих книг прозы для детей и взрослых. Живет в Минске.

РЫЖОВ Александр Геннадьевич. Родился в 1980 г. в г. Куйбышев (Российская Федерация). Окончил Брестский государственный университет имени А. С. Пушкина и Белорусский государственный университет. Поэт, переводчик. Печатался в журнале «Нёман». Живет в Бресте.

РАБИНОВИЧ Владимир Борисович. Родился в 1950 г. в Минске. Окончил исторический факультет Минского государственного педагогического института заочно. В 1987 году эмигрировал в США. Автор около четырехсот маленьких рассказов. Живет в г. Статен-Айленд (США).

ЯЦКИВ Анна Андреевна. Родилась в 1993 г. в Пинске. Окончила Полесский государственный университет, учится в аспирантуре Института генетики и цитологии НАН Беларуси. Печаталась в региональных периодических изданиях. В «Нёмане» публикуется впервые. Живет в Минске.

КУЗЬМИЧЕВА Анастасия Сергеевна. Родилась в 1974 г. в Минске. Публиковалась в белорусских и зарубежных периодических изданиях. Автор поэтических сборников «Быть может, меня приютят», «Тишина», «Belarusian whales», а также аудиокниги «Яхидна». Живет в Минске.

СМИЛИНА (Матюшина) Анастасия Михайловна. Родилась в 1975 г. в Чехословакии. Окончила Брестский государственный университет им. А. С. Пушкина. Печаталась в коллективных сборниках, журнале «Метаморфозы», газете «Брестский курьер». Автор сборника стихотворений «Круговорот надежды и мечты». Живет в Бресте.

КУРБЕКО Виктория Леонидовна. Родилась в 1981 г. в Минске. Окончила педагогический колледж при Минском государственном университете им. М. Танка. Печаталась в журналах «Маладосць», «Першацвет», «Пралеска», «Бярозка», «Белая вежа» и др. Автор книг «Тонкий голос синицы» и «Наш мир — это звезды». Живет в Минске.

ВУЛРИЧ Корнелл. Родился в 1903 г. в Нью-Йорке (США). Учился в Колумбийском университете, однако образование не закончил. Известный американский писатель, автор восьми романов и множества рассказов в жанрах детектив, триллер, нуар. По его произведениям было снято больше двадцати фильмов и телесериалов. Умер в 1968 г. в Нью-Йорке.

ХОУТОН Стэнли. Родился в 1881 г. в Манчестере (Великобритания). Окончил Манчестерскую гимназию. Британский драматург, один из ярких представителей Манчестерской школы. Автор многих пьес, поставленных в театре. Умер в 1913 г. в Манчестере.